

Долдин Н.И. Колыхалов Вен. А.



ВАСЮГАНА ДЕТИ

Томск 2018 г.

Долдин Н.И. Колыхалов Вен. А., ВАСЮГАНА ДЕТИ

Издание авторское, 368 стр. Т о м с к 2018 г.

Собрание сочинений, личные воспоминания и достоверные свидетельства о судьбе и жизни семей, родители которых погибли на войне или во времена ссылки в Нарымский край. Дети войны прошли школу воспитания в приютах, детских домах и интернатах. Матери семей без отцов, погибших при защите Родины, вынуждены были растить, воспитывать и обучать детей в условиях разрухи и лишений послевоенного времени.

Авторский коллектив собрания сочинений, личных воспоминаний и достоверных свидетельств выражает искренние слова благодарности за содействие и помощь при издании книги «ВАСЮГАНА ДЕТИ»:

Надежду Васильевну Ломакину – Кокорину, Председателя ревизионной комиссии Союза ВДДИ Томской области,

Валентину Васильевну Ермаченко, Исполнительного директора Томского отделения Российского Фонда Мира,

Галину Петровну Сартакову, Председателя Правления Союза выпускников детских домов и интернатов Томской области.

Нужные книги...

Владимир Высоцкий (1938 – 1980 г.г.)

Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров,
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф.

Детям вечно досаден их возраст и быт,
И дрались мы до ссадин, до смертных обид,
Но одежды латали нам матери в срок,
Мы же книги глотали, пьянея от строк.

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз.
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас.

И пытались постичь мы, не знавшие войн,
За воинственный крик принимавшие вой,
Тайну слова "приказ", назначенье границ,
Смысл атаки и лязг боевых колесниц.

А в кипящих котлах прежних войн и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов,
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.

И злодея следам не давали остыть,
И прекраснейших дам обещали любить,
И друзей успокоив и ближних любя,
Мы на роли героев вводили себя.

Только в грезы нельзя насовсем убежать,
Краткий век у забав, столько боли вокруг.
Постараться ладони у мертвых разжать
И оружие принять из натруженных рук.

Испытай, завладев еще теплым мечом
И доспехи надев, что почем, что почем?!
Испытай, кто ты - трус иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус настоящей борьбы.

И когда рядом рухнет израненный друг,
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг,
Оттого, что убили его, не тебя.

Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал,
По оскалу забрал - это смерти оскал,
Ложь и зло, погляди, как их лица грубы,
И всегда позади воронье и гробы.

Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа, наблюдал свысока,
А в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,
Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.

<http://songspro.ru/3/VISOTsKIY/tekst-pesni-Znachit-nujnye-knigi-ty-v-detstve-chital>

ПРЕДИСЛОВИЕ

Воспоминание юности... Мы смотрим фильм «По главной улице с оркестром», и по ходу действия выясняется, что герои – преподаватель сопромата московского ВУЗа и высокооплачиваемый врач-хирург – воспитанники детдома. Мою маму, которая сама работала воспитателем на группе детей-сирот, этот факт, что называется, «зацепил». Насколько это правдоподобно – выпускникам детдома получить высшее образование?

В те годы даже в очень благополучном Северске выпускники интернатов старались освоить рабочие профессии и начать самостоятельную жизнь. Им не на кого было надеяться в годы обучения в ВУЗах. Да и что говорить: стереотип о детдоме как месте весьма унылом и не способствующем привитию интереса к наукам – он не на голом месте вырос. Мы заспорили, начали приводить примеры из жизни, вспоминать знакомых. Мама, подумав, согласилась, что герои фильма – явно дети военной поры, а то поколение было особенным, «не таким, как нынешнее».

Не буду вдаваться в дискуссию о том, насколько верен стереотип о детдомах более спокойных времен. Тем более что, по-моему, важнее не «выйти в люди», а стать Человеком. Но соглашусь с тем выводом, который относится к сиротам предвоенной и послевоенной поры. Дети особенного и трудного времени, требовавшего от людей большой силы и стойкости, они с честью вынесли все испытания.

То поколение моим сверстникам вообще кажется особенным, крепким и цельным. И авторы собрания воспоминаний - еще одно подтверждение этому мнению. Обратите внимание на то, кто по профессии авторы данной книги.

Собрание воспоминаний это свидетельства и достоверные сведения людей, которых объединяет одно: их жизненный путь авторов личных свидетельств и героев журналистских очерков связан с детскими домами Нарымского края в 1930-е – 1950-е годы.

Разные дороги привели их в детские дома. Большинство воспитанников потеряли родителей в катаклизмах 1930-х – 1940-х годов. Тут и дети жертв массовых репрессий, и сироты военного лихолетья. Есть и те, у кого на это лихое время прихлалась трагедия

потерять родителей по причинам, от которых никто не застрахован: болезнь, несчастный случай... Будучи детьми, герои этой невыдуманной книги повидали такое, что и взрослому человеку зачастую не вытянуть подобные суровые испытания.

Вопрос не о жизни – о выживании – стоял перед ними с пугающей четкостью. Чего стоят хотя бы воспоминания Тамары Никифоровой о том, как умирают от голода... Эти дети выжили благодаря тому, что оказались в детдомах Нарымского края. Но не просто выжили. Они смогли пережить это и жить дальше – вопреки всем трудностям и бедам. Они не утратили ни способности мечтать, ни сил претворять свою мечту в жизнь. Ни умения любить и жалеть, ни великого дара понимать и прощать. И сохранили мужество знать правду.

Это очень правдивая книга. В собрании есть и воспоминания из серии «пишу так, как это было, как помню», и воспоминания, преломленные через призму художественного творчества. Так или иначе, во всех этих текстах нет лжи. Потому особую цену имеет высказанная благодарность тому месту, которое стало их домом не только в годы детства и юности, но и позже. Особенно ценно, что выросшие дети тех лет не ограничивают повествование своей тогдашней точкой зрения и не замыкаются в кругу своих ровесников. Они – возможно поняв задним числом, оценив все трудности с позиций взрослого – многое рассказывают нам о невидимом миру подвиге своих учителей.

Воспоминания педагогов или детей о своих родителях – педагогах детдомов в те нелегкие годы – раскрывают нам жизнь детдомов со стороны взрослых, наставников. Тех, кто видел и понимал больше, чем дано детям. Тех, кто сделал все, чтобы дети, потерявшие своих родителей, смогли преодолеть боль потерь и жить дальше.

Читая книгу, невольно думаешь, что у ее героев стоит многому научиться для самостоятельной жизни. Потому что все они – не «в люди вышли», они стали хорошими людьми.

Т.Ю.Назаренко, сотрудник Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова, член Союза Писателей РФ.

Первая часть

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

«Все, о чем пишу, - это мое видение прошлого сквозь выщербленную временем призму прожитых лет. В сгущающейся дымке бледнеют краски, расплываются черты дорогих лиц. А может, это не дымка, в которую уходит время, может, глаза мои застилают слезы... Слезы просветляют душу, смывают с сердца накипь. Моя проза грустна, но печаль в ней светла».

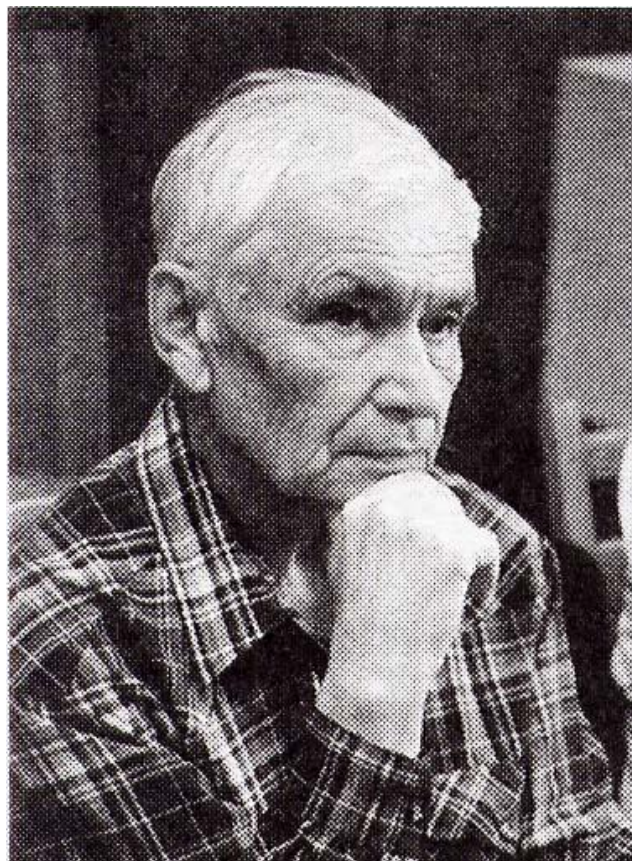
Вадим Николаевич Макшеев

Макшеев В.Н. родился 4 сентября 1926 г. в г. Ленинграде. Разделил судьбу ссыльных поселенцев из Прибалтики. В 1941 году родители его переехали в Эстонию. В июне того года семья была репрессирована. Отец вскоре погиб в концлагере на Северном Урале, мать и четырехлетняя сестренка Светлана умерли от голода в Нарымской ссылке в 1942 году. С 1941 по 1954 годы В.Н. Макшеев состоял на учете в комендатуре Нарымского округа как спецпереселенец. Рано начал трудовой путь. Был учеником счетовода на рыбозаводе, более двадцати лет проработал в колхозе сначала счетоводом, потом бухгалтером. Стал писать рассказы. Первые публикации появились в конце 1960-х годов.

Вся последующая деятельность связана с журналистским и литературным трудом. В 1960-1962 гг. - заведующий отделом газеты "Северная правда", р. п. Каргасок; в 1962-1963 гг. – соб. кор. газеты "Советский север", г.Колпашево; в 1963-1977 гг. - заведующий отделом, спец. кор. газеты "Красное знамя", г. Томск. С 1977 г. - член Союза писателей РСФСР; в 1978-1987 гг. - ответственный секретарь Томской областной организации Союза писателей РСФСР; с 1987 г. - творческая работа, г. Томск; член совета Историко-просветительского общества "Мемориал", г. Томск. Автор 12 книг художественной прозы и публицистики, около 70 очерков, повестей и рассказов в сборниках и журналах; лауреат премий Союза журналистов СССР, Союза писателей РСФСР; Заслуженный работник культуры РФ; кавалер ордена "Знак Почета" (дважды), награжден медалями.



1936г. Любовь Самсоновна Овчарова - Средний Васюган, детдом.



Вадим Н. Макшеев - из личного архива.

...То ли из школы меня в воспитатели рекомендовали, то ли еще кто... Я-то сразу после семилетки заявление в Барнаульский сельхозтехникум послала, не знала больше никакого адреса, мне и вызов оттуда пришел, да ведь я на учете спецкомендатуры состояла, без справки никуда не поедешь...

Васюганский район — сам знаешь какой был — ссыльный район. Перемерло тогда много народу, которые бежали... А ребятишек в детские дома собирали — сирот и тех, у кого родители в бегах. Ну вот, меня да еще двух моих однолесток девочек и определили в воспитательницы. В тридцать пятом году, летом. Сказали: «Три года отработаете — будете дальше учиться». Дали мне дошкольную группу, а через несколько месяцев — мальчишек - старшеклассников. Старшие классы тогда какие? Шестой, седьмой — десятилетки у нас не было. А тех маленьких увезли в Новосельцево, там для таких специальный детский дом открыли. И все равно у нас переполнено — новеньких все везут и везут...

Бывает — станет кто-нибудь рассказывать о давнем из своей жизни, и так тебе это понятно, близко...

Прошел и я, как те воспитанники Любви Самсоновны Овчаровой, через сиротство, разлуки, боль утрат. Иначе, по-своему, но тоже прошел.

И хотя в скрытом сегодня далекими туманами начале тридцатых годов находился я далеко от тех мест и детство мое было еще светлым, оказался потом тоже в Нарымском округе. Жил в деревне, которой сегодня нет, и была та прилепившаяся на крутояре убогая деревенька в сорока километрах от Среднего Васюгана, где и **поныне стоит детский дом, в котором работала Любовь Самсоновна.**

Впрочем, сорок километров было по зимнику. Летом, когда превращались в непроходимые хляби болота и рямы, существовал от деревни до деревни один путь — по извилистому Васюгану, и был этот путь вдвое длинней. Высылали на Васюган и в тридцатых, и сороковых, и пятидесятых годах, да еще и в начале шестидесятых. Первыми высадили с барж на заросшие тайгой крутояры раскулаченных крестьян-лишенцев с Прииртышья, Алтая, из Красноярского края, в начале шестидесятых годов привезли на

перевоспитание туда, уже на обжитое место, алкоголиков и тунеядцев, в основном из столицы. Всяких людей повидала здешняя земля...

Еще кое-где не посохли, не упали в реку подмытые стрежью пихты и ели на крутоярах, с которых более полувека назад кричали плывшим мимо на переполненных баржах мужикам и бабам уже срубившие первые бараки спецпереселенцы: «Чьи вы? С какого рай-о-о-на?» И откликались с реки разногласо: «Большереченского... Муромцевского... Славгородского...» Таял над отражавшей унылые берега рекою дым тянувшего баржу колесного пароходика, вновь возникал и катился над плесами тоскливый крик: «Чьи вы? Чьи?»

Поредели васюганские поселки в войну, сложили головы вдали от своих деревенок сотни здешних парней, которых увезли по реке те же колесные пароходишки, что доставили их сюда на баржах в начале тридцатых. Поредели поселки после войны, когда сняли со спецучета тех, кого ссылали сюда обживать этот угрюмый край. Потянулись люди — кто обратно в родные, но изгнавшие их когда-то свои деревни, кто в города. Уехали и те, кого высылали сюда из Прибалтики, Молдавии, с Кавказа. Последние поселки стерли с лица земли укрупнения хозяйств, в конце пятидесятых не стало и самого Васюганского района, и уже немного тех, кто помнит, что и как было тут в далеких тридцатых.

Голос у Любви Самсоновны чуть надтреснутый и в то же время певучий:

— Привезли раз в детдом трех братиков, то ли с Огнева Яра, то ли с другого верховского поселка, забыла теперь уже, откуда. Испитых, немощных... На берег высадили, а ихнюю мать на этой же барже дальше увозят — в дом инвалидов. Мать им с кормы что-то мычит: во рту у нее тряпочка — язык во время припадка себе откусила. Они к ней в реку забредают, не понимают, что такое детдом, видят — мать от них увозят. До баржи все дальше, а она все что-то сказать силится, тряпица во рту, глаза мученические... Мы, воспитательницы, за ребят уцепились, не пускаем их, стоим по колено в воде, оцепенелые. Стоим, плачем... Ох, не могу рассказывать...

Любовь Самсоновна замолкает, а я замечаю, как сильно она стала походить на свою покойную матушку, Наталью Антоновну. Говором, обличьем... Во время коллективизации была их большая семья выслана на Васюган с хлебного Алтая, а когда через шесть лет не стало у Любы отца, осталось у Антоновны на руках семеро и была изо всех Люба старшая. После, когда вернулся с фронта Любин брат Петр, перевез он всех в райцентр — Новый Васюган. Помню — второй послевоенной весной прислали его уполномоченным по посевной в наш колхоз. Приехал бравый, в военном кителе, грудь в орденах. Определил его председатель постоянльцем к Евгении Анисимовне Седельниковой, у которой квартировал в ту пору и я. Был Петр старше меня, прошел войну, работал землеустроителем в райзо, а я — колхозный счетовод, спецпереселенец из «нового контингента». Однако он не смотрел на меня свысока, мы сдружились, и после, когда доводилось мне ездить с колхозным отчетом в Новый Васюган, частенько останавливался у Овчаровых. Антоновна водилась с внуками, всех детей своих, несмотря на выпавшие на ее долю великие тяготы, сумела сберечь, да и сами они, как во всякой большой семье, поддерживали друг дружку, старшие помогали младшим. У всех давно свои семьи, только Люба замуж не вышла, мало у кого из ее сверстниц были мужья, прибрала война их ровню. Росточком невысокая, миловидная, улыбалась часто, хоть и не удалась судьба. И был у нее сынишка — надежда на старость лет.

В те послевоенные годы, приеду я в райцентр — у меня свои дела, у нее свои — работала она в детском садике. Бывало, забежит к брату, перекинемся с ней несколькими словами, и все. Потом незачем мне стало ездить в Новый Васюган, уехал я из тех мест в Томск, третий десяток доживаю в городе. А в прошлом году в кои веки собрался.

Прилетел на маленьком, укачавшем меня самолете в Новый Васюган, поселился в гостинице, ходил к старому заброшенному погосту на краю села, потом долго сидел на обрывистом берегу уходящей за поворот реки.

Глядел на знакомое и уже незнакомое. И такая тоска... Поговорить бы с кем-то, отвести душу. И вдруг подумалось — а ведь Люба, Любовь Самсоновна, здесь. Петр, брат ее, давно отсюда уехал,

Антоновна померла, а Люба тут, в Новом Васюгане. Сын ее, Сережа, здесь схоронен, куда она отсюда?

Нашел ее дом с цветами у калитки и на подоконнике. Встретила она меня, как своего близкого. Постарела, но те же глаза, тот же певучий голос, только трещинка в нем стала заметней... Никогда прежде о своей юности мне не рассказывала, а тут разговорилась про детский дом, про то, что было. Полвека минуло, война прошла, сколько после всего сбылось и не сбылось, сколько надежд в нашем возрасте уже перечеркнуто, но то далекое помнится. Возилась у плиты, а сама все рассказывала, рассказывала...

— Сам понимаешь, детский дом — спасение, хоть и питание скудное, и хлеба до тридцать шестого года — паек, а все-таки свое подсобное хозяйство было — коровенки, лошади, без лошадей тогда никуда. Работать, конечно, много приходилось — весной с детишками дрова на зиму готовим, летом — сено. Пошлют с нами на покос повариху и рабочего — глухого Ганьку Денисова, живем там неделю, в субботу — в баню, назавтра опять на покос.

Вспомнила сейчас — в предбаннике стригли мальчишек наголо — одна машинка для стрижки на весь детский дом, так кого ей, кого ножницами... К концу покоса привозил завхоз две порожних бочки под смородину; рядом Люля — приток Васюгана, так черной смородины по берегам страсть сколько. С сеном управимся, а там вскоре картошку копать. Знаешь, теперь все то с каким-то особым чувством вспоминается, наверное, потому что юность. Что-то забылось, конечно, но многое так отчетливо-отчетливо...

Зимними вечерами читали вслух, ребята могли слушать бесконечно. Недавно вот по телевизору кино показывали, про детский дом уже теперешний — дети замкнутые, жестокие. А у нас тогда, даром что повидали ребяташки то, чего нынешним не дай Бог пережить, не были они озлобленными. Само по себе, у каждого свой характер, но умели радоваться малому и, как бы это лучше сказать... Жизнедеятельными были. Да-да... Конечно, у нынешних свое, жизнь порой по-своему корежит, в основном, наверное, городская. А те дети крестьянские, настоящие крестьянские.

Одаренных много было. Захар Дорошенко пел прекрасно, Петя Милованов рисовал хорошо, была бы возможность по-настоящему учиться, наверное, большим художником мог стать. Саша Востриков — какой затейник! Шурик Корюхов, способный был мальчик, лошадей страшно любил, прямо-таки готов был спать в конюшне. Жеребеночек Казбек рос при детдоме, так он все свободное время с ним, хлеб ему свой носил, холил... Красавец конь вырос — статный, горячий. В сорок первом начали запрягать, и сразу дальняя дорога выпала — везти в военкомат призывников. Запрягли лошадей, из детдома Казбека взяли — лучший конь впереди обоза. А морозы страшные в ту зиму были... Меня тоже в район вызвали на двухнедельные курсы, поехала с теми ребятами. Между Катальгой и Черемшанкой спуск на Васюган, может, помнишь? Крутой-крутой. Там тогда с осени березовый топляк в лед вмерз, кто-то, видно, хотел его срубить, да только стесал топором. Казбек с горы махом, а внизу, надо же, споткнулся и головой об эту острую топырчину. Захрипел, и конец... Господи, чего я это сейчас о нем вспомнила? Так это же все связано... Ребятишек на войну забирали. Погибли многие: Митя Гирин, Тимоша Агеев, Игнаша Тихонов...

Слышь, а я тебе не рассказывала, как детишек по родственникам развозила? Нет? До войны еще, в тридцать седьмом году... Детей стало расселять некуда, ну и разрешили некоторых отдавать родным. Для этого всего справка требовалась, что они обязуются ребенка воспитать. У некоторых и родители были, только в бегах, так просили родню, чтобы те от себя справки посылали. Ну вот, дали мне адреса, и должна я по ним детей развезти. Тридцать четыре ребенка.

Шестого июня, даже число запомнила — пришла с верховья баржа, погрузились в трюм — мальчики, девочки... Старшим по пятнадцать лет, самой младшей девчужке шесть годочков. Почти вся ее маленькая жизнь в детском доме прожита... День солнечный, ясный, ребятишки детдомовские нам с берега машут. Вроде так недавно это было... Тебе же тоже так доводилось ездить, помнишь — в трюме просмоленными досками пахнет, за бортом вода плещется, катер стучит? Примус я взяла — воду кипятить, боялась, как бы от сырой воды с детьми чего не приключилось, ведь заболел кто-нибудь в дороге — беда. На этом примусе и кашу им варила. Корзинка у нас была бельевая, прежде плели из прутьев такие круглые корзинки с

крышками, в нее на детей документы положила, туда же и деньги — две тысячи рублей. «Ребята, — говорю, — тут все наше достояние, если потеряем — погибнем». Где на пристани надо отлучиться, сажаю на корзину ту младшенькую, и она с нее никуда. Ручонки на коленках сложит, сидит, как воробушек.

В Каргаске взяла всем билеты на пароход «Карл Маркс», по Оби уже плыть веселей — простор, плесы широкие, не то что Васюган. Забота, конечно, у меня была большая, сама-то до того никуда не ездила, помню только, как нашу семью везли, и все. А тут во какой путь, да еще с детьми. Добро бы куда-то в одно место, а то всю стайку надо возить по Новосибирской области. Красноярскому краю, под Иркутск... Поездом, на машинах, где снова по реке. Всяко... Отдашь ребенка, и легче, но с каждым разом расставаться трудней.

Первого, Леню Савицкого, сестре в Староюгино отдала, второго мальчика в Томск — дяде, помню еще, он где-то возле туберкулезного санатория жил, насилу нашла. Затем поездом до Боготола поехали уже в Красноярский край, там оставила у тетки двух братьев и сестру Семьянских. Отца у них не было, мать за какую-то мелкую кражу осудили... В Ужуре оставила еще двоих, дальше попутной машиной доехали до пристани Даурской на Енисее. На берегу холодно, ветер с реки... В пристанское здание вошли, там две девки размалеванные, видать, — оторви да брось... В сторонке мужчина на лавке сидит понурый, сразу-то его не заметила, а тут Нина Анашкина как закричит: «Тятя! Тятя!» И к нему. Мороз по коже... Отца узнала. Он-то и понятия не имел, что Нину везут, мать ее уже больше года как померла, на другой женился, собрался с ней куда-то, а тут на пристани с дочерью повстречался. Пять лет не виделись. Обнял, заплакал. А жена его новая — за стенкой, в другой комнате. Повел к ней дочь знакомить. После, когда я уже домой вернулась, получаю от Нины письмо. Пишет — отца через месяц забрали, остались вдвоем с незнакомой мачехой. Может, не надо было случиться этой встрече? Я же и не к отцу ее везла, а вот судьба... Наверное, тяжелей ему было снова разлучаться. Или лучше, что напоследок дочь повидал? Как думаешь?

Тятя, тятя... Так эта Даурская и осталась в памяти.

Троих ребятишек еще надо было оттуда доставить в леспромхоз. Недалеко, за семнадцать километров от Даурской, а дороги туда никакой — болото, лишь верхом на лошадях с трудом можно. И телефонной связи с поселком нет. Кто-то сказал — наутро вербованные туда отправляются. Нашла их в бараке, наказала про детей. Через день прибыли двое, леспромхозовских лошадей в поводу привели. Усадили ребятишек, поехали они по той ужасной дороге. Все оглядываются, оглядываются... До того, знаешь, когда прощалась, не плакала, а тут...

Сколько еще проводов было... На Артемовский рудник ездила, в Хакасию одного мальчика возила, потом в какую-то воинскую часть — там у Макара Сергеева в стройбате брат служил... Лизу и Фасею Беляевых в деревню увезла, забыла теперь уже, как она называлась, за станцией Ададым. Старинная деревня, и уклад жизни такой же. Девочки наши там прямо городскими выглядели, старухи даже щупали их платишки — из какой такой материи?

Последние у меня две сестренки остались, Таня и Гаша Терешковы. Дед их в паровозном депо работал, в Красноярске. Семьдесят четыре года, а по виду не дашь — бодрый такой, крепкий в кости, стахановцем был. Привела ему внучек в депо. Оказалось — у них и родители неподалеку от Красноярска в деревне. Вестей о себе не подавали, боялись, как бы их обратно на Васюган не сослали. Понятное дело... Дед и прислал от себя бумагу. Внучек увидел, спрашивает меня: «Пошто парнишечку не привезла?» А у них еще братик был, Миша. Когда родители сбежали, оставили детей с бабушкой, со второй, тоже сосланной, бабушка та померла, их всех и взяли в детдом. Мише тогда три годика было. «Так, — говорю ему, — на девочек запрос был». — «Яхни тебя, раз тако дело, сызнова писать надо... Ладно пойдём ко мне, отдохнешь с дороги, може, погостишь денек?» Привел к себе, дом большой, просторный. Бабки нет, ушла куда-то. Дед из печи щи достал, наваристые такие щи. Накормил нас, еще и спирту мне налил маленько. А я сроду не пивала, захмелела, да и усталость свое взяла. «Умаялась, — говорит, — яхни тебя, ложись отдохни». Уснула сразу, постель мягкая, подушки взбиты... Пробудилась от женского голоса, вроде плачет кто-то. А это бабка пришла, услышала от деда, что внучек из Нарыма привезли, кинулась ко мне с причитаньем. Старик ей: «Да не наша это, сопровождающая

ихняя». Я же всего на четыре года старше тех девочек была... Назавтра их родители приехали. Ох, да разве ж все расскажешь?

Несчастливых тогда было много. Господи... По дороге домой узнала, что, пока ездил, отца арестовали. Это страшный год был — тридцать седьмой. В Каргаске мне сказали. Такая беда... Из комсомола меня, конечно, исключили, а еще парнишка один со мной дружил, так он...

Навалилось страшное. Недавно в журнале стихи были напечатаны, читал, наверное? Поэма Твардовского. Слова там, что сын за отца не отвечает. Это потом уже, потом, а тогда были в ответе. И сыновья, и дочери. Все. Грозилась с работы уволить: какая я воспитательница, если отец — враг народа?

Директора детского дома тоже тогда забрали, жену его, Елену Юльевну, тут же уволили, она математику преподавала, прекрасная была учительница... А меня, видно, заменить нечем. Через две недели новый директор к себе вызвал: «Собирайся в командировку, Овчарова, опять детей повезешь». Не вмещал детдом ребятишек, все добавлялось их. Через месяц шуга по Васюгану пойдет, надо успеть, пока река не стала. А поездка на этот раз сложнее — у половины группы вызовов от родственников не было, только адреса.

Тридцать два ребенка, все почти из Красноярского края. Поехала... Сам понимаешь, настроение какое... Днями думать некогда, а вот ночами, ночами... Прибыли в Новосибирск, оставила ребятишек на вокзале под присмотром старших девочек, повела Толю Шишкина к сестре. Мальчику одиннадцать лет, шустрый, озорной... Сестру его разыскала, а она Толю брать не соглашается — недавно замуж вышла, ребенка ждет, живут в бараке, условия ужасные... Все-таки уговорила, сама не знаю, как уговорила. Больше никто не отказывался, жалели, брали. И того парнишечку — Мишу Терешкова в тот раз увезла деду. Родителей он не помнил, по дороге все спрашивал: «Ты к кому меня везешь?» К дедушке, мол, и к бабушке. А когда привезла, родители явились. Он ни их, ни деда никак не признает, уцепился за меня, ни на шаг не отпускает. Вечером все боялся заснуть, чувствовал, видно, что я его оставляю, только на минутку задремлет, тут же глаза вскинет — здесь ли я? Поздно уже, за полночь уснул, а я. крадучись, ушла на вокзал.

В Новосибирске успела на последний пароход, а от Колпашева уже на барже ехала. Народу много: демобилизованные с Дальнего Востока, несколько уполномоченных по подготовке первых выборов, две женщины к мужьям откуда-то издалика... На палубу выйдешь — Обь пустынная, серая, ветер студёный, снежинки пролетают... В Каргаске причалили — забереги, крыши белые, а по Васюгану уже шуга. Пришлось ждать, покуда река станет. Через неделю зима легла. Купила я санки, привязала веревкой чемоданишко, в нем одежонка, гостинцы, да еще фотоматериалы для Миши Гирина. Я тебе о нем говорила — о Мише, его за отличную учебу фотоаппаратом премировали, а ни пленки, ни проявителя не было — купила ему в Красноярске на свои деньги. Ну вот, подалась с санками — где по увалу, где рекой, лед уже держит, только на середине кое-где полыньи. Плес пройдешь, за поворотом следующий, кажется, конца-края нет... А одежонка какая? Фуфайка стеженная, на голове платок полусуконный. Щеку ознобила, палец на ноге. До Наунака дошла, там свою одноклассницу встретила — Раю Скрылеву. Она замуж туда вышла, муж на восемь лет старше ее. Говорит мне: «Дальше не пойдешь, живи у нас, покамест дорога не наладится». До Среднего Васюгана еще больше двухсот километров, а морозы уже сильные. Послушалась. Через полторы недели муж Раин меня на почтовых лошадях отправил. Помнишь, как почту возили? Две упряжки, колокольцы под дугой, снег под полозьями скрипит... В поселках возчики меняются, пока коней перепрягают, сопровождающие горячего чаю попьют, тулупы на себя, и дальше. Домой добралась двадцать первого ноября, зашла домой, мама печь топит, меня увидела, конечно, в слезы... А на работе выговор, что задержалась и не сообщала о себе. Думали — сбежала... Куда ж я от дома? А дед тот в Красноярске советовал: «Оставайся, места у нас хватит, работать на железную дорогу тебя устрою...» — «Не могу, дедушка, — говорю. — Я в семье старшая, кроме меня, у мамы еще шестеро, а отца у нас нет». — «Ну раз так дело, езжай, девка, домой, езжай...»

Задумавшись, Любовь Самсоновна опять надолго замолкает. Громко стучат в тишине часы, прошла по улице машина, стих удалившийся гул, но поднятая колесами мелкая пыль еще долго оседает на дорогу, траву по обочинам, на листья одиноко сгорбившейся под окном черемухи. Прежде отсюда было видно длинное, как барак, здание

райисполкома, поодаль маячила тесовая крыша спецкомендатуры с крутыми ступенями высокого крыльца, теперь этих построек нет, на открывшейся глазу чистине среди тонких березок светлеет стенка с именами погибших воинов, за ней под обрывистым берегом невидимый из окна тот же Васюган.

Сквозь оконное стекло лучи солнца освещают цветы на подоконнике, этажерку с тесно прижатыми корешками книг, старые фотографии на стене. Смотрит из рамочки совсем еще молоденькая девушка, губы тронула легкая улыбка, из-под беретки выбились светлые волосы, белеет отложной воротничок... что-то неуловимое, характерное для тех, вобравших в себя наше детство и юность, наши надежды и боль, предгрозовых тридцатых годов.

Опять прогромыхла чем-то тяжелым в кузове грузовая машина, и долго-долго висит за окном взметенная пыль. Уходит мимо бревенчатых домов и огородов, мимо невидимого отсюда усыпанного сухой сосновой хвоей бугра с повалившимися крестами на окраине поселка песчаная дорога. До боли знакомая, исхоженная, изъезженная мною дорога.

Как-то в конце марта, когда днями уже подолгу задерживалось на небе солнце, но по утрам еще крепко морозило и студено искрился затвердевший ночью наст, возвращался я отсюда с курсов в свой колхоз. Два дня шел за сползающими в раскаты, заламывавшими оглобли розвальнями последнего зимнего обоза, от Черемшанки пошел один. По замерзшему Васюгану, по сограм с корявым низкорослым карагайником, по проступавшемуся зимнику прошагал за день больше сорока километров, вечером уже еле брел по долгому чвору на маячивший огонек постоянного; прохудившиеся пимы отяжелели от наледи, перед глазами на тусклом снегу расплывались багряные круги... На постоялом дворе в желтом свете керосиновой лампы вповалку лежали на нарах возвращающиеся с лесозаготовок сезонники, ожидающие задержавшуюся где-то почту возчики, добравшиеся в колхозы уполномоченные. Стоял спертый дух портянок, мокрой сбруи, застарелого самосадного дыма. Подложив под голову котомку, не раздеваясь, прилег на краешек нар, ночью несколько раз просыпался от тянувшего с порога холода, снова ненадолго засыпал, видел во сне бесконечную санную колею,

косогоры в накатанных полозьями раскатах, белые-белые плесы... До света поднялся и пошел дальше. Не согревала выношенная телогрейка, мерзли высовывавшиеся из обрямканных рукавов кисти рук, отворачивая лицо от лютого сиверка, шел по слепящей глаза ливе, а рядом с дорогой, совсем близко от меня, на стылых тальниках, словно комья снега, неподвижно сидели белые куропатки, и перья их розовели от медленно вздымавшегося над кромкой дальнего урмана холодного солнца.

В свою Красноярку пришел за полночь. Под вызвездившимся небом увидел крыши темных изб, дворы, слабый свет керосинового фонаря в хомутарке, где коротал ночь конюх, — и обессиленный сел на снег... Было это в марте сорок седьмого, еще голодного, без вольного хлеба года, был я один, как перст, но все дальше уходила война и с нею все тяжелое, страшное. Был я молод, жил надеждой, и так немного, казалось тогда, нужно для счастья. Болезни, старость, страх за своих детей и внуков, страх за саму землю — все было еще за таким далеким, далеким перевалом...

— Ты о чем задумался? — спрашивает меня Любовь Самсоновна.

— Так... Былое вспомнил. Вроде недавно, а так давно...

Она вздыхает:

— Я тоже часто вспоминаю. Ребят из детдома и все, все... Рада за них, что они в люди вышли. Я тебе о Семьянских рассказывала, так у них тут сестра живет — Надя. Приезжали к ней все трое: Таня, Толя, Гоша. Тетка из Боготола, которая тогда их приняла, после опять по детдомам распихала, дорогу в жизни им уже самим пришлось пробивать. Таня теперь живет в Башкирии, семья у нее хорошая, Толя — радист в Борзе, Гоша — там же. Все трое на войне побывали. Когда приезжали к Наде, приходили меня проведать. Вспоминали вместе многое... Сашу Вострикова — я тебе о нем говорила — первый затейник, тоже встречала. Его жизнь трагично сложилась — на войне был несколько раз ранен, раненый попал в плен, а когда вернулся, еще в своем лагере срок отбывал. У него тут тоже родня, два раза приезжал, оба раза ко мне заходил. Здоровье уже совсем подорвано было... Некоторые ребята иногда шлют мне поздравительные открытки к праздникам... Все они на доброту отзывчивы.

Недоставало им ее в том детстве. Что ни говори, детский дом — не свой родной. Всяко ведь бывало, и разлучали — брат в одном детдоме, сестренка в другом, особенно если большая разница в возрасте. От нас многих малолеток увозили, да и вообще часто тогда переводили из одного детдома в другой. Теряли друг друга, потом начинали искать, помнили — был братишка, сестренка была... А я часто думаю, скольких детишек детдом спас. Память и хорошее хранит. Наверное, хорошее даже крепче, чем плохое.

Знаешь, прошлым летом была я в Среднем Васюгане. Сходила к детскому дому, где начиналась моя трудовая жизнь, увидела домишко, в котором жила пятьдесят лет назад. Господи, уже пятьдесят... Зброшен, нижние бревна погнили, но еще цел, теперь в нем какой-то склад. Тогда он казался больше, в одной половине жили мы — воспитательницы, в другой — директор, которого забрали в тридцать седьмом. Семья у него была большая, а зайдешь к ним — всем места хватало. Прежних, детдомовских, построек почти не осталось, новые стоят, но как-то все неуютно, неухожено. За детским домом, на косогоре, где с краю росли высокие сосны и кедрач, была поляна, помню, какая там трава зеленая-зеленая, шелковистая...

А сейчас понастроили орсовские склады, какие-то погреба, все изрыто тракторами, завалено железным хламом... Больно смотреть. Тогда сюда и взрослые отдохнуть приходили, а ребятишки особенно любили это место. Гигантские шаги стояли, немудреная карусель, пионерские сборы здесь проводили. Ночь, костер, детские голоса... Рядом в темноте вековые сосны, внизу река, темная, ночная, тоже, кажется, вечная...

Долго стояла там, вспоминала молодость, те костры. Медвежонка, которого кто-то подарил детскому дому, почему-то вспомнила. Многое пришло на память — и светлое, и тяжелое. Как мама с нами, с семерыми, на руках осталась... Она была сильная, очень сильная духом. Когда уже через много лет получила документ, и знаешь — всего несколько слов, что «за отсутствием состава преступления» дело на моего отца прекращено, то по этой реабилитации имела право на какие-то деньги, она отказалась: «Этими рублями мне его не вернуть». Потом я уже без ее ведома оформила ей пенсию — 23

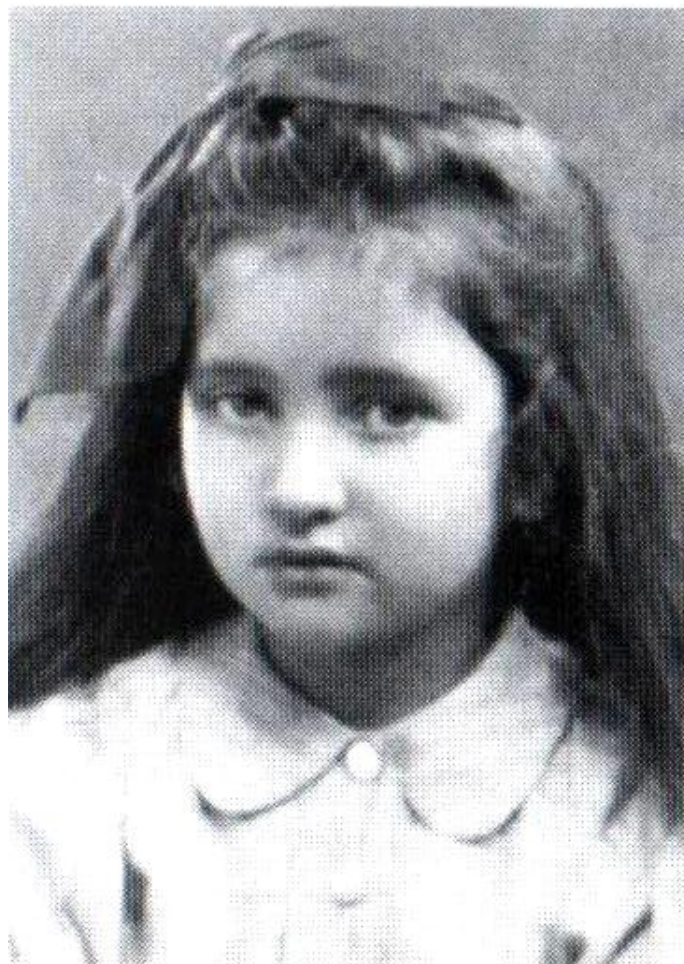
рубля в месяц. Она свою жизнь прожила правильно, могла поделиться последним, была добрая... Господи, зачем беречь душу? А я прожила, как и все, кто в наше время рос, кому больше горя выпало, кому меньше... Может быть, можно было и иначе, лучше, но теперь не вернешь.

Лучи закатного солнца освещают корешки книг, дарят прощальный свет цветам на подоконнике, и все так же смотрит со старой фотографии, на которую уже упала тень, девчонка из тех тридцатых годов.

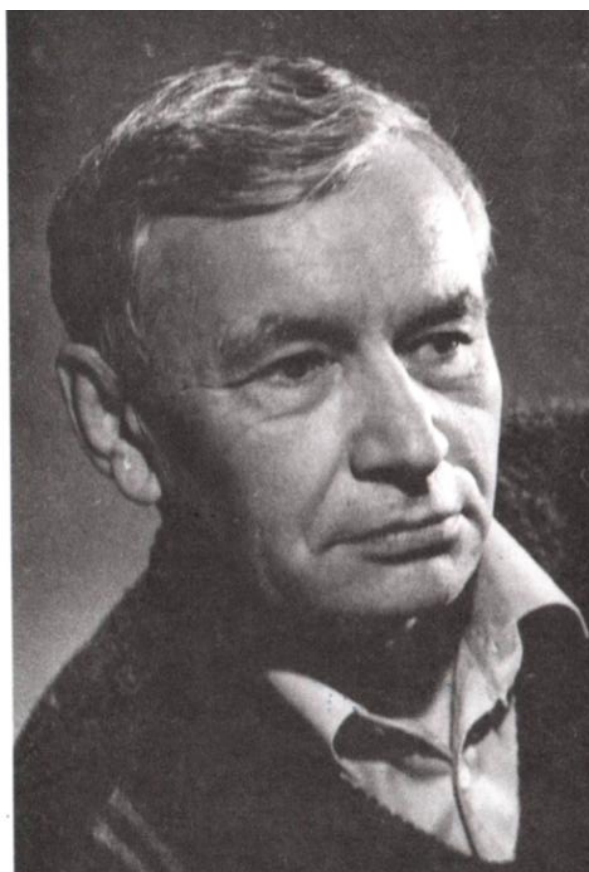
Мерно стучат часы. Стучат, словно бьется чье-то сердце. Стучат, отсчитывая уходящее, нет — уже ушедшее время...

г.Томск, 1989 год...





Моя сестренка Светлана, 1938 год ...





Отец моей мамы – генерал, профессор Николаевской
военной академии Федор Андреевич Макшеев.



Мой дед по отцу – статский советник
Александр Николаевич Макшеев.



Я с родителями в г.Тарту, конец 1920-х годов.



Баржа на Оби

Уважаемый,
Вашим Антонович!
послала в Ваш музей
свою книгу «Баржа на Оби»
давко это было задумано,
но по разным причинам от-
кладывалась. В книге со стр.
163 содержится мнч лич-
ные воспоминания о том вре-
мени (1941-1946) когда находи-
лась на спецпереселении в
бассейнах р.р. Васьган и Обь
недавно. проис труд
писателя В.Н. Макшеева - «Спець»

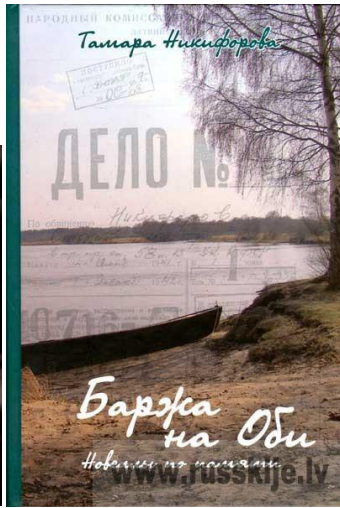
работа произвела огромное впечатление, я вспоминаю многое, ведь мы какое-то время были в одних и тех же местах и в сходных условиях.

Первоначально я задумала свои "воспоминания" только для близких и родных, но интерес к работе оказался шире и вышла книга.

Ваша Ю.С. Луца

Мой адрес: LV 2010 Fūzmalā
Bzīvi vaš 92, dz 1, Nīkifozova

18.04.2012 Рига.



Тамара Стахиевна Никифорова (12 авг. 1928г, Рига - 24 окт. 2015г,)

ЭШЕЛОН

*Мысли с рыданьями ветра сплетаются, С шумом колес
однотонным сливаются, И безнадежно звучит и стучит это: Ти-
та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...*

Максимилиан Волошин. «В вагоне»

... Первое время поезд шел как-то неуверенно, часто и иногда надолго останавливался. Потом, как человек, вставший после долгого сидения и, наконец, размявший ноги, пошел побойчее. Товарный вагон, в котором мы ехали, конечно, ни рессор, ни амортизаторов, обычных на вагонах пассажирских, не имел, и поэтому его бросало из стороны в сторону, он подпрыгивал, шатался, скрипел и грохотал. Привыкнуть к такому дискомфорту было трудно. Но мое «спальное» местечко находилось как раз возле окошка, и через его решетку я могла видеть многое — железнодорожные станции, переезды, хутора и поселки, поля и леса. И людей, которые занимались своими повседневными делами, оставаясь свободными. И много военных. Тогда я еще не могла знать, что вот-вот сюда, на эти мирные поля, в эти тихие поселки придет война. Вот проскочили станции — Огре, Плявиняс... На повороте увидела, что тянули нас аж два паровоза, а вагонов я насчитала около пятидесяти. Значит, прикинула я, в них около полутора тысяч человек.

К вечеру эшелон подошел к Даугавпилсу (Двинску). Была остановка и долгое маневрирование, возможно, что к составу прицепляли еще несколько вагонов. Все «пассажиры» нашего вагона за двое бессонных суток, да еще без питья и еды, так обессилели, что когда поезд отошел от Двинска, молча улеглись по нарам и под стук и грохот колес забылись в тревожном полусне. Ночью состав пересек бывшую границу Латвии и СССР и на рассвете остановился на станции Полоцк. Проснулись мы от визга открываемой двери и громкого выкрика конвоира: «Двое выходи за едой!» Коля Казацкий и еще кто-то из мужчин быстро собрались, спустились на платформу и в сопровождении вооруженного охранника отправились за едой и водой. В вагоне все уже проснулись. Я выглянула в окошко. В сумерках за дорогой виднелись почерневшие от времени двухэтажные дома, они показались мне очень мрачными. Своими мыслями я поделилась с мамой, она ответила, что в городах провинциальной России все жилые постройки такие.

Прошло более часа, когда, наконец, Коля и его спутник вернулись, нагруженные четырьмя ведрами и мешком с хлебом. Одно ведро оказалось наполненным супом с вермишелью, другое на одну треть содержало в себе все ту же вермишель, а поверх нее лежали две огромные котлеты. В третьем и четвертом ведрах была вода — кипяченая и холодная. Хлеб был только черный, в виде непривычных для рижан кирпичей. Кушать пришлось около пяти часов утра, пока еда не остыла. По всеобщему согласию, решено было отдать котлеты детям. Мама достала нашу единственную алюминиевую мисочку, наполнила ее супом и заставила нас с Ириной его съесть. «Надо, — жестко сказала она, — хоть через силу, а ешьте, неизвестно, когда еще еду принесут...» Когда суп нами с трудом (кто же ест в пять часов утра!), но все же съеден, мама положила нам «второе»: вареную вермишель, на которую положила кусочек котлеты. Пробую — никаких вкусовых ощущений — сплошная соль. Такое есть трудно даже после двухсуточного голодания. Впрочем, и эти котлеты оказались последними — за всю дорогу, которая длилась для нас более месяца, нам больше ни разу не давали ничего мясного. После окончания коллективной «трапезы» уже ставший незаменимым Коля Казацкий собрал пустые ведра, оставив лишь одно — с водой, и в сопровождении того же охранника отнес их в вокзальную столовую.

В Полоцке эшелон стоял долго. Хмурое утро сменилось таким же неприветливым днем. Я снова забралась на нары и попыталась уснуть, но в голову лезли тревожные мысли: куда нас везут, что будет с нами дальше. Увы, ответа я не находила. Прошло еще какое-то время, состав задергался и тронулся, постепенно набирая скорость. От Полоцка нас повезли на север, мимо станции Дретунь к Невелю, и уже в середине дня мы остановились в Великих Луках. О городе и вокзале никаких воспоминаний не осталось, запомнился лишь привокзальный рыночек под навесом. Точно не помню, но кажется, что женщинам, торговавшим на рынке, разрешили подойти к вагонам с молоком и вареным картофелем — в вагонах было много детей, даже совсем маленьких.

У Коли Казацкого оказалась с собой географическая карта, и начиная с Великих Лук мы начали отслеживать маршрут нашего поезда. От мысли, что будем проезжать Москву, где можно было бы броситься в поиски правды, пришлось отказаться, столица осталась южнее. Под стук и грохот колес наш путь шел в направлении на восток, все дальше унося нас от родного дома. За окном мелькали станции, на некоторых были недолгие остановки для заполнения водой паровозных котлов — Торопец, Андринополь, Охват, Осташков, Фирово, Куженкино, Бологое, Мста, Удемля, Малышево, Бежецк, Сонково и так далее...

Как-то вечером, кажется, это было 20 июня, поезд остановился на станции Волга. Эти места были хорошо знакомы нашей маме — В Первую мировую войну, во время немецкого наступления на Ригу, она находилась в эвакуации в Кашине. Наш вагон оказался у главной платформы вокзала, на которой собралась большая группа женщин, все почему-то в красных косынках. Они с любопытством и участием смотрели на нас и потихоньку, с оглядкой, отвечали на наши вопросы. От них мы узнали, что наш эшелон за этот день уже четвертый. «И куда же это вас всех везут? Боже, Боже, что ж это делается!?» — воскликнула с ужасом одна из них. Мама спросила, почему они все в одинаковых красных косынках. Оказывается, что в их магазине «выбросили» красный ситец, из которого все, кому удалось его «достать», пошили себе косынки. Одежда на всех женщинах очень скромная, в основном ситец, но чистая и аккуратная.

Поезд трогается и направляется к Рыбинску, городу, в котором мама тоже бывала в молодости.

Каждому вагону нашего эшелона энкаведешники присвоили номер, и дальнейшее обращение к нам осуществлялось только по номеру, например, на остановках раздавалось: «Номер такой-то, получать еду, воду!» и т. п. А еды с каждым днем давали все меньше и меньше, да и реже. Кормили один раз в сутки, и всегда ночью или на рассвете. Уже на весь вагон приносили лишь четверть ведра вермишелева варева и чего-то еще непонятного чуть-чуть. Пока хватало лишь черного хлеба в виде липких серых кирпичей да воды в ведрах. Хлеб этот вызывал изжогу, но и ему приходилось радоваться — другого ничего не было. Даже мой молодой желудок не хотел принимать эту пищу, а что говорить о стариках или совсем маленьких детях? В вагоне стояла жуткая жара, дышать было нечем, из отхожего места шли тяжелые запахи, убрать грязь из вагона было непросто. Вагон мотало во все стороны, страшно трясло, тело покрылось синяками от ушибов. Постепенно наваливалось какое-то всеобщее отупение, равнодушие, люди начали терять чувство реальности, многим становилось безразлично, что с ними стало и что будет в дальнейшем. А люди в вагоне оказались очень разные и по-своему достаточно интересные. Попробую вспомнить некоторых из них.

Прямо подо мной на нижних нарах, рядом с нашей бабушкой расположились Нина Николаевна Казацкая (1894—1945) с сыном Николаем (1916—1942). Нина Николаевна была давней знакомой моей мамы. Вместе с мужем Мойшей Давыдовичем (1886—?) она содержала в Риге мануфактурный магазин. Их сын Николай учился живописи у известного художника С. А. Виноградова¹ и подавал большие надежды, неоднократно и успешно представляя свои работы на выставках. На всем протяжении нашего нелегкого пути Коля добровольно взял на себя обязанности опекать всех, ходил за едой и водой, узнавал и сообщал последние новости с воли. Справа от нас на верхних нарах расположилась семья Симанис: мама Наталья (1903—1942), которую неоднократно мучили сердечные приступы, и ее дочери — Эдите (1928), Айя (1936—1942) и Сильвия (1938 г. р.). Наталья и Айя уже в ссылке, в тяжелую зиму 1942 года не выдержали страшного голода и погибли. Эдите и Сильвия после

смерти мамы и сестры оказались вместе с нами в детском доме поселка Айполово и летом 1946 года вернулись в Ригу.

Примечательна судьба нашей попутчицы Александры Милгравис (урожд. Скворцова, 1909—1979). Она оказалась единственной из взрослых, ехавших в нашем вагоне, кому удалось вернуться на родину. Это случилось 20 мая 1955 года. В теплушке Александра познакомилась со своей ровесницей, певицей из Польши, которая бежала в 1939 году из горящей Варшавы, оккупированной немцами, да вот волей недоброй к ней судьбы оказалась среди нас.

Эти молодые женщины держались всегда вместе, что впоследствии спасло их от голодной смерти. Помню, как певица не раз находила в себе силы и пела для нас. Это очень помогало нам оставаться людьми в тех диких условиях. Посреди вагона, в проходе, на собственной раскладушке времен Первой мировой войны расположилась очень колоритная, оригинальная, прекрасно воспитанная и хорошо образованная мадам Штольцер — так нам она себя отрекомендовала. Держалась она с достоинством, охотно разговаривала с попутчиками, но иногда вдруг наглухо замыкалась в себе. Она рассказала, что ее муж — русский полковник. Личных вещей с нею почти не было, все они остались у мужа, когда ее ночью вывели из вагона, в котором они сначала оказались перед выездом из Риги.

Хорошо помню семью Левенсон — пожилую разговорчивую маму и ее взрослых детей — наивного и доброжелательного Леву и строгую и серьезную Еву. На нарах, через проход напротив нас, расположились три члена семьи Мендельсон. Люди они были очень состоятельные, но взять с собой вещи они или сами не догадались, или их, как и многих других, ввели в заблуждение в момент ареста. Единственным свидетельством достатка мадам Мендельсон были две роскошные серебристые лисицы, которые она все время нашего «путешествия» накидывала на плечи. В дальнейшем эту семью поселили в соседней с нами деревне Огнев Яр, где, как показывают документы, уже четвертого декабря 1941 года в страшных муках от голода скончался Янис Мендельсон. Луция (1896—1942) продержалась до 16 октября 1942 года. Вернуться в Ригу удалось лишь их дочери Эрике, но об этом ниже. Хорошо держались и

старались не падать духом Фрида Кремер и ее дочка Фаня, моя ровесница. Это помогло Фане вернуться в Ригу в 1947 году. В дальнейшем я расскажу и про других, с кем тогда свела меня безжалостная судьба.

А пока два паровоза, натужно пыхтя и изредка, как бы для отдыха, останавливаясь, увозили нас все дальше и дальше на восток. Двадцатого (или двадцать первого?) июня, днем, наш эшелон по окружной дороге обошел Ярославль. Издали были видны белые стены кремля и купола церквей. Паровозы взяли курс на Кострому. Этот участок дороги запомнился мне плохо, видно и у меня появились симптомы привыкания к однообразной и удручающей действительности, в которой мы находились. Впрочем, вполне возможно, что причиной такого моего состояния стало нервное напряжение, вызванное событиями 14 июня. Следствием стресса стал спазм в брюшной области, очень долго не проходивший. Желудок не принимал пищу, только иногда, скорее, по привычке, чем по необходимости, я жевала черный хлеб, запивая его водой. Около 20 июня мое состояние ухудшилось, во рту стояла горечь, тошнило. Я, разбитая, физически ослабленная, лежала на отведенном мне папой местечке на верхних нарах и ни на что не реагировала. Мама, все еще находившаяся в отчаянии от происшедшего, серьезного значения моему недомоганию не придавала.

В ночь с 21 на 22 июня эшелон подошел к станции Вятка (г. Киров). Поманеврировав немного, поезд остановился. Охрана приоткрыла в вагонах двери, так как стояла невероятная духота. Впрочем, так поступали на всех длительных остановках, особенно если надо было идти за водой и едой. А в эту роковую для всей огромной страны ночь, я не могла уснуть, прислушивалась ко всему, что происходило снаружи. Там было необычно шумно. Маневрировали эшелоны, охрана громко переговаривалась. Выглянула в оконце и вдруг увидела: прямо напротив нас стоял военный эшелон, составленный из открытых платформ, груженных военной техникой. Он медленно продвигался в ту сторону, откуда приехали мы.

А мне становилось все хуже и хуже. Почувствовала острый приступ боли и тошноты, спустилась с нар, пришлось потревожить маму. И только успела просунуть голову в приоткрытую дверь вагона, как

началась страшная рвота желто-зеленой желчью. Я напугала всех, а сама еле держалась на ногах. Через охрану вызвали врача. И вот я вижу, как, подпрыгивая, бежит к нашему вагону мужчина, одетый необычно (уже привыкли, что вокруг лишь люди в военной форме) — в серый поношенный плащ, на голове — изрядно помятая шляпа. «Куда?» Ему показали на наш вагон. Войдя, мужчина представился, сказав, что он — врач. Потом внимательно меня осмотрел, выслушал, порылся в своем чемоданчике, достал из него глауберову соль, развел ее в кружке и заставил меня выпить эту пакость.

К счастью, лекарство помогло, и к вечеру я оправилась, изрядно напугав маму: стула не было девять суток. Закончив возиться со мной, врач вежливо спросил, нет ли жалоб у других «пассажиров», но при этом ни в какие разговоры не вступал, а на посыпавшиеся на него вопросы коротко отвечал «Не знаю...» Затем раскланялся и ушел. Скорый приход врача вызвал у всех обитателей нашего вагона недоумение: везут непонятно кого в неизвестном направлении, а тут оказывают девочке скорую помощь... У всех один вопрос: этот врач едет вместе с нами в эшелоне или его пригласили с вокзала? Эшелон продолжал стоять. Из нашего вагона просматривалось здание вокзала, на котором огромными буквами было написано: ВЯТКА. Дело в том, что с 1934 года город этот назывался Киров, но название железнодорожной станции было оставлено прежнее. Заговорили о том, что этот край известен как место ссылки еще со времен царской России, что сюда был сослан А. И. Герцен и еще много хороших людей.

Необычно долгая остановка и ночные военные эшелоны, ушедшие на запад, начали вызывать недоумение: что случилось? Пытались спрашивать у конвоиров, но они отвечали молчанием и отходили от вагонов подальше. Пополудни к вокзалу подошел пассажирский поезд, впервые мною увиденный за всю нашу дорогу. Он тоже надолго остановился, из ближайшего к нам вагона была слышна польская речь. Наша спутница — варшавская певица тут же подошла к приоткрытой двери и, воспользовавшись тем, что в тот момент рядом не было конвоира, быстро заговорила с польскими пассажирами. Но тут появился охранник и с громким окриком «Прекратить разговоры!» шумно захлопнул дверь вагона. Но наша актриса все-таки успела кое-что узнать: «Сегодня на рассвете немцы

напали на СССР. Война!» Сразу стало понятно и длительное стояние эшелона, и растерянность энкаведешников, и частота прохождения воинских составов.

Так мы узнали, что на рассвете 22 июня 1941 года фашистские орды перешли границу СССР, вторглись в мирно спящую страну. Как отреагировали на это сообщение находившиеся уже девятые сутки в замкнутом пространстве вагона-телятника, страдающие от скудной еды, постоянного недостатка питьевой воды, изнывающие от жары и тяжелых запахов люди — этого я не помню, но думаю, что у каждого были свои мысли. Только поздним вечером наш состав вздрогнул, зашевелился и, прогибая рельсы тяжестью нашего горя, двинулся дальше на восток.

К вечеру 23 июня, медленно, и как будто сетуя на усталость, эшелон подошел к большой станции. Это был город Молотов, по-старому Пермь, когда-то главный город Урала. «Пермяк — солёны уши» — это от «соли камской», от пермских соляных шахт знаменитого рода братьев Строгановых и несметного числа их потомков. У вокзала, на многочисленных путях маневрировали или стояли несколько эшелонов. Вдруг одна из наших женщин через оконную решетку в вагоне, который проходил рядом, увидела лицо своего мужа. Она громко закричала, замахала, все бросились к окошкам, пытаюсь что-нибудь разглядеть, но поезд медленно прошел мимо и когда я, наконец, протиснулась к оконному отверстию, он был уже далеко. Я долго не могла придти в себя, понимая, что в этом вагоне мог находиться и мой отец. Через много лет я узнала, что, действительно, отца тогда везли в Усольлаг, это недалеко от Соликамска, севернее Перми. Значит, до места той памятной «встречи» нас везли след в след, и именно здесь наши пути разошлись навсегда.

(Когда я в 1946 году вернулась в Ригу, тетя рассказала, что якобы «кто-то» в промежутке между 1942 и 1944 годами передал моим родственникам маленький пузырек из-под лекарства, в котором находилась свернутая в трубочку записка, написанная рукой моего отца. В ней он очень кратко сообщал, где находится, что очень страдает от болей в ногах и спине и не перестает думать о том, что стало с его детьми и где они. Как этот стеклянный флакончик с

письмом через линию фронта попал в Ригу, неизвестно. Мне его увидеть не пришлось.)

Тогда же в мельтешении маневрирующих составов, мама обратила внимание на эшелон, из окон которого выглядывали женщины и дети южного типа, одетые очень скромно, по-крестьянски. Маме удалось с ними переговорить. Оказалось, что они из Молдавии, крестьяне, и не могут понять, за что их насильно изгнали из родных мест и куда везут. Мама была изумлена, так как эти женщины внешне никак не подходили под категорию «буржуи», и своими мыслями поделилась со мной. Но, увы, ни мама, ни тем более я, тогда не понимали, что стали свидетелями страшной затяжной войны против собственного народа, независимо от его сословной и национальной принадлежности. Не знали и не знаем по сей день, что погибших в Великую Отечественную войну, может быть, даже меньше, чем число убитых или заморенных голодом и болезнями за все годы, начиная с 1917-го.

Ночью после утомительного (в первую очередь — для нас) маневрирования, с грохотом и дребезгом, то набирая, то убавляя скорость, наш эшелон потянулся дальше на восток. Утром сквозь посеревшее небо и сетку редкого дождя открылась величественная панорама седого Урала. К небу ступенчато воздымались огромные темно-зеленые ели, а между ними примостились аккуратные темно-серые бревенчатые домики, украшенные голубыми ставнями. Местами из-за деревьев как бы напоздали отвесные серые скалы, иногда отражаясь в светлых жизнерадостных речках и речушках.

Неожиданно наступила полная темнота, густо запахло паровозным дымом, но через короткое время так же неожиданно вдруг стало светло. Эшелон проскочил первый туннель. Не успели вдохнуть свежего воздуха — снова туннель, и так несколько раз. К полудню промелькнул знаменитый столб на границе Европы и Азии. Состав пошел спокойнее. Потрясающая красота Урала осталась позади, но прекрасное всегда поднимает настроение, затеплилась вдруг фантастическая надежда, что все уладится. Ночью остановились в Свердловске. Коля Казацкий с кем-то помчался за хлебовом, принесли полведра чего-то макаронного, но есть не хотелось.

После Свердловска поезд вышел на великий Транссиб и через Камышлов и Тюмень — дальше, в необъятную Сибирь, где дороги долго-долго не кончаются. Ландшафт резко изменился, замелькали березовые рощи, потом их сменила степь. На одном из степных участков по настойчивому требованию матерей, поезд остановился на тридцать минут, и нам разрешили выйти из вагонов и прогуляться по степи. Кругом ковыль, тишина, а в небе — птицы, множество птиц. Но вот снова гудок — по местам! Я успела собрать пучок ковыля, от него шел незнакомый терпкий запах.

Миновали Тюмень, Ишим. Поезд пошел значительно быстрее, делая короткие остановки. Июнь подходил к концу. Особое впечатление произвели на меня знаменитые солончаковые степи. Равнина с редкими озерами, покрытая, как волдырями, отдельными кочками, между которыми белеет выпаренная солнцем соль. Хилая растительность, блеклая травка. Людей почти не видно — пустыня! Вдруг у появившегося неожиданно большого озера показалась деревенька. Эшелон зачем-то остановился, и я разглядела поселок — жалкий, низкий, чем-то жуткий. От него шло несколько человек, похожих на нищих. Они предложили купить у них жареных карасей из местных озер. Мы очень удивились — конвой был не против, но наша мама, экономя остатки денег, не решилась на эту покупку.

Следующей нашей большой остановкой был Омск. Подъехали мы к нему рано утром, короткая передышка от вагонной тряски, и вот паровозы снова подцеплены, и наш эшелон тянется дальше, на восток — но куда? Как долго? За окошком по-прежнему мелькали станции, но поезд шел ходко и не всегда я успевала прочесть их название. Вот остановка Татарск, городок, напоминающий, что здесь еще во времена Ивана Грозного казак Ермак со своей ватагой сражался с Синею Ордой. Да и сегодня татар в этих краях достаточно много. Потом был Барабинск — «столица» знаменитого степного края. А поезд все шел и шел... Утомление двухнедельной дорогой сказывалось, под монотонный стук колес я забылась крепким сном и не слышала, как маневрируя на путях, поезд осторожно подобрался к речному порту Новосибирска. Разбудил меня мамин взволнованный голос: «Просыпайтесь, вставайте, надо выгружаться!..» В вагоне все уже все были на ногах, люди возбужденно переговаривались, пытаюсь предугадать дальнейшие события...

Новосибирск — Каргасок.

Конец июня 1941 года. На западе идет жестокая война, но что там происходит — для сосланных из Риги тайна. Мы полностью лишены какой-либо информации. Нет ни газет, ни радио. Охранники молчат.

К речному порту города Новосибирска по железнодорожной ветке, упирающейся в могучую Обь, один за другим прибыли три эшелона со ссыльными из Латвии и Эстонии. Лязг отодвигаемых железных засовов и выкрики охраны: «Выходи с вещами!». Рассвет, прохладно. Я открываю глаза и не могу сразу понять, что происходит. За две недели пути в наглухо закрытом, темном, вонючем вагоне я уже отвыкла от света и свежего воздуха. Но вот двери открыты настежь, светло, все вокруг суетливо собирают узлы, мешки, редкие чемоданы. Я помогаю одеться и собраться бабушке, она лежит на нижних нарах. Подтаскиваем вещи к выходу, осматриваемся.

Перед нами великолепная панорама гигантской реки на рассвете — это сибирская Обь. Для выноса багажа из вагонов и переноса его на дебаркадер присланы грузчики. Мама хлопчет о бабушке, ее надо выносить, а мы с Ирой сами по себе. Наконец, выбираемся из вагона и направляемся к берегу, где складывают наш багаж. Мама просит не отходить от вещей и внимательно за ними следить. Но, видимо, что-то отвлекло наше внимание, в результате мы не досчитались кожаного портфеля, набитого моими вещами. Мама тут же сообщила о происшествии кому-то из руководителей эшелона. Немедленно был составлен «Акт о пропаже вещей». И это в обстановке общей сумятицы и хаоса! (Самое удивительное, что в сентябре того же года, когда мы уже жили на поселении в деревне Ершовке, нам неожиданно вернули украденный портфель. Он был, увы, пуст, но нам пообещали, что за пропавшие вещи мы получим денежную компенсацию, чего, однако, не случилось. А вор, как нам сообщили, «изобличен и отбывает наказание»).

Эшелон постепенно пустеет. Снизу, от берега реки открытые двери вагонов смотрятся жутковато. Всех переводят на дебаркадер. Говорят, что будем ждать «водный транспорт». Еды никакой, кроме ржавых кирпичей кислого черного хлеба. Но можно «достать» кипяток. Довольно жарко, грязно. Мухи и тоска. Ждем. Ждем долго:

что же дальше? Толпа в три тысячи человек сидит на своих вещах. Местные жители к нам не подходят, видимо это им запрещено. Смотрю на реку: вода мутная, буровато-коричневая, что-то в ней видится грозное и жестокое. На противоположном берегу вижу силуэты зданий — это Новосибирск. Информации никакой, люди стоят и сидят молча в ожидании неведомого. Но все же кое-что узнаем: кто-то обрывок газеты нашел и прочел, кто-то перекинуться несколькими словами с кем-то успел. Теперь уже почти все знают, что на западе началась война. Красная Армия отступает. По толпе шелест возбужденного вздоха: вдруг немцы придут и спасут! Мама молчит, она хорошо помнит и большевиков, и германцев времен Первой мировой...

Так проходит несколько часов. Вдруг вижу: к дебаркадеру подходит белый колесный пароход, из него выходят пассажиры, видимо, местные жители, с узлами, мешками, в каких-то ватниках, — серая унылая толпа. Нас просят потесниться и пропустить их. Пароход опустел, но продолжает стоять у пристани. Заметно поубавилось охраны: бежать ведь некуда, кругом Сибирь-тайга! Наконец, появился какой-то мужчина в полувоенном френче со списком в руках. Он называет ряд номеров вагонов из эшелонов и объясняет, что прибывшим в них следует группами перебираться на пароход. Наш вагон почему-то не назван. Снова толчея и суматоха. Коля Казацкий ушел в надежде разузнать, что будет дальше. Вернувшись, сообщает, что стоящая несколько в стороне баржа — следующий транспорт, предназначенный уже для нас, и скоро ожидается посадка.

И вот отчаянно дымящий буксир медленно, как будто нехотя, подтаскивает к дебаркадеру гигантскую баржу. Опять суматоха, суэта, выкрики и погрузка. Каждому вагону заранее определено место. Долго ожидаем своей очереди к спуску в трюм. Когда, наконец, она подошла и мы спустились по крутому трапу, я ахнула от ужаса: теснота жуткая, на наш вагон, в котором ехало 28 человек выделили не более семи квадратных метров, чтобы сложить багаж и «расположиться» на нем самим.

Погрузка продолжалась до позднего вечера, так как в баржу поместили три эшелона: два из Эстонии и один — наш, из Риги. В

общей сложности не менее двух с половиной тысяч человек. Кругом царил сумрак, стоял бесконечный гул. От людской тесноты ступить было некуда. Нашему вагону повезло с местом: его разместили недалеко от трапа, выходящего на палубу, поэтому досталось чуть больше света и воздуха, чем остальным. Несколько позднее, когда поднялась на палубу, я обнаружила — в трюм вело два входа, окон, естественно, нет. На корме примостился туалет, единственный на всю баржу, на одного человека. Очень быстро у него собралась очередь длиною часа на полтора, многие не выдерживали и пристраивались рядом, о стеснительности стали забывать, люди поневоле превращались в животных. Но вот погрузка, наконец, завершена. На буксире отдали концы, и баржа двинулась за ним вниз по Оби, реки широкой, как море. Берегов не видно. Спокойно, ветра нет, дождя тоже. Только облака туманной пеленой прикрывают солнце.

Первую ночь я провела вместе с мамой на палубе, прикорнув на лестнице, спускавшейся в трюм. Измученные теснотой и недосыпанием, а главное — голодом, две с лишним недели не видевшие нормальной пищи, люди молча наблюдали за происходящим. Днем выползали из тесного вонючего трюма, пытаясь получить хоть немного энергии и бодрости от скудного северного солнышка. Преодолевая унылое однообразие, люди пытались заняться чем-то, что могло их развлечь. Пожилая дама по фамилии Кузнецова (кажется, из знаменитой семьи фабрикантов фарфора) собрала вокруг себя некое подобие дамского клуба и темпераментно рассказывала о чем-то окружающим. Я страдала от отсутствия своих любимых книг и слонялась по палубе из одного конца баржи в другой, заняв заблаговременно очередь в туалет.

В центре палубы располагалась кухня. Около нее стояли огромные бочки с прошлогодней квашеной капустой, из нее готовили варево — пустые щи. Дневной рацион состоял из кипятка, поварешки пустых кислых щей и ржавого хлеба (пока вдоволь). От нездоровой пищи и длительного недоедания у многих начинали отекать ноги. Взгляд становился тупым, люди все больше лежали, дремали. У мамы тоже стали сильно опухать ноги, она выбиралась на палубу, прислонялась к какому-нибудь бревну или стенке и часами отчужденно смотрела вдаль. День, ночь, снова день... Я теряла счет этим дням.

Однажды я, слоняясь по палубе, решила подойти к «дамскому клубу», в надежде услышать что-нибудь интересное. И вот что я услышала. Мадам Кузнецова на сей раз высказывала мнение, что всех нас вместе с баржей хотят потопить, для чего и везут куда подальше. Свои доводы мадам Кузнецова основывала на том, что в годы Гражданской войны на Волге бывали случаи, когда загружали баржу «буржуями», офицерами, монашками, выводили ее на середину реки, прорубали дно или открывали люки, и топили вместе со всеми кто на ней был. Обо всем этом рассказала одна женщина, которая, выплыв, спаслась. Я тогда об этом услышала впервые, а теперь многие знают, что подобный, сравнительно простой способ уничтожения людей применялся широко и в Гражданскую и много позднее. Фантазия моя после услышанного разыгралась. А если?.. И как спастись?.. Я подошла к нашему люку, ведущему в трюм. Да, наш вагон расположен рядом с лестницей, если что случится, надо быстро подняться по ней и прыгать в воду, а до берега-то я уж, конечно, доплыву. Немного успокоенная этим я решила никому ничего не говорить. Рассказов, домыслов, страхов и без того было предостаточно.

Не помню, на который день плаванья, к вечеру, наша баржа приблизилась к городу Колпашево, но остановки не последовало, мы плыли дальше. В памяти остался высокий желтовато-оранжевый яр, на котором выстроились бревенчатые домики с синими резными наличниками и ставнями. Множество береговых ласточек вились вдоль кручи, сплошь усеянной круглыми отверстиями — входами в гнезда этих пичужек. Я тогда еще не знала, что с этим городом будет связано пятнадцать месяцев моей ссылки. Пока же наша баржа миновала его и держала курс дальше, на Север. А что же стало с тем пароходом, в который посадили часть ссыльных еще в Новосибирске? Тогда он ушел вперед, однако периодически возвращался, сближался с баржей, команды о чем-то переговаривались. Затем на пароход начали переводить группы людей, вызывая их опять по номерам вагонов. Выяснилось, что все это делалось для высадки на берег части ссыльных: белый пароход был маневреннее неуклюжей громадины-баржи и ему легче было пристать к берегу.

Особая суета началась с приближением к Нарыму. Вспомнили, что это место ссылки И. Сталина, и что он, видимо вспомнив прелести этих мест, переселяет сюда тысячи ни в чем не повинных людей. Не знаю, что в это время думал Сталин, он тогда только начал выходить из оцепенения, вызванного фактом начавшейся войны, но вот его прихвостни из НКВД хорошо знали, куда нас везут.

Эти места Западной Сибири (Порабель, Нарым, Каргасок и т. д.) хорошо были известны своими морозами и нескончаемыми таежными болотами, безлюдьем. А белый пароход все чаще и чаще подходил к барже и на него вызывали вагон за вагоном. Люди быстро собирали свои пожитки и перебирались на его палубу. Пароход отвозил их к берегу и вновь возвращался. Баржа постепенно пустела, на ней становилось свободнее. Неугомонный Коля Казацкий все ходил и собирал новости, но без видимого успеха.

Хочется вспомнить необычный случай. Пока белый пароход бегал к барже и обратно — к берегу Оби, высаживая ссыльных, выяснилось, что на нем находилась Валентина Ивановна Афанасьева, урожденная Бурлова, а на барже оказался ее супруг Владимир Михайлович Афанасьев (как он из мужского этапа оказался здесь — непонятно). Супругов арестовывали отдельно, он, видимо, не отозвался в вагоне на выкрик «Кто глава семьи?!», так как был один. Они ехали из Риги в одном эшелоне, но в разных вагонах, в Новосибирске встретиться было почти невозможно — слишком много нас было, а вот когда с баржи пересаживали на пароход, супруги нашли друг друга. Их высадили вместе в Каргасоке.

Каргасок... Остановка... Бревенчатая пристань, вернее — плот. Вдали видны унылые, серые постройки, все серо, пустынно и очень мрачно. Какая-то девочка, тоже в чем-то серо-черном, стояла на пристани и продавала розовые леденцы в кульке. Ах, как мне их захотелось, но у мамы осталось совсем мало денег... Тогда бывшая пока еще при деньгах Нина Николаевна купила эти леденцы и угостила меня. До сих пор помню их необычный, ненатуральный привкус. Это были последние леденцы на долгие годы моей жизни.

В Каргасоке белый пароход расстался с последними своими пассажирами и ушел на юг. Больше мы его не видели, а я вновь

встретилась с ним уже в 1944 году, когда из детского дома была «трудоустроена» и направлена в зооветеринарное училище в город Колпашево. Нашу баржу здесь тоже значительно «разгрузили» и мы поплыли дальше в неизвестность.

Нарымский урман — Васюганье.

А дорога моя, как в сказке, Сквозь дремучий лежит урман.

Авраменко. «Туман»

Снова дни сменяют ночи, а мы все плывем, путь кажется нескончаемым, но ландшафт постепенно меняется. Команда на барже оказалась приветливой, матросы объяснили мне, что мы идем уже не по Оби, а по ее притоку, который называется Васюган: «Видите — вода другая, коричневая и фарватер сужается...». Только тогда я обратила внимание, что идем против течения, что цвет у воды ржаво-коричневый, а берега сблизились настолько, что видна тайга. Сердце тревожно сжалось: так куда же нас везут, на какой еще край света? А плыла баржа, оказывается, аж в самый центр Васюганских болот, самых обширных в мире, по площади равных двум третям всей Европы. Здесь когда-то плескались волны четвертичного моря, сформировавшегося после таяния ледников. Потом море ушло, оставив, как память о себе, нескончаемые болота, изредка прерываемые гривами и озерами.

Давайте взглянем на карту: на сплошном зеленом фоне мы видим штрихованные обозначения многочисленных и обширных болот и голубые пятна больших и маленьких озер, которые дают начало многим—многим речкам и рекам. А сам Васюган берет начало в южных болотах Западной Сибири, но затем поворачивает на северо—восток и с медлительной степенностью несет свои воды в могучую Обь. В верхнем и среднем течении река неширока и очень извилиста. Окружает Васюган мшистая темнохвойная тайга, которую здесь называют таинственным словом «урман». Местами урман обрывается крутыми ярами. Условия жизни в этих краях таковы, что прокормиться и выжить здесь могли только очень умелые, выносливые и сильные люди. До тридцатых годов двадцатого века

край был почти безлюден, жили здесь селькупы¹, ханты, реже эвенки, пришедшие в восточного берега Енисея, да, еще со старинных времен, русские промысловые люди — охотники, чаще староверы.

В царские времена в Нарым, Каргасок, Порабель ссылались политические, бывал в Нарыме и будущий «отец народов» И. Сталин. В советское время, во времена «раскулачивания» крестьянства (30-е гг. XX в.), сюда на Васюган и его притоки согнали огромное количество хлеборобов, в основном с юга Сибири и Алтайского края. Пока они на плотках и баржах добирались до мест своего поселения, наступила ранняя здесь осень. Крестьян насильно высадили на безлюдные таежные и болотистые берега и предложили осваивать дикие земли. Землянки и шалаши сумели они поставить уже в снегу. Лютый холод, голод и болезни сделали своё.

К весне первого года от спецпереселенцев осталась едва пятая часть. Оставшиеся в живых начали рубить леса на гривах, корчевать под посевы земли в тайге, осенью бить кедровый орех, ловить в капканы и в петли дикого зверя. Жизнь кое-как наладилась, и вдоль Васюгана возникло немало деревень, поселков. Некоторые из них стали даже райцентрами: Средний и Новый Васюган, Майск и др. Вновь «великий кормчий» вспомнил забытый Богом край после известного «Пакта Молотова—Риббентропа», по которому СССР присоединила к своим западным областям земли, населенные «ненадежным элементом», который подлежал выселению. Собрав своих прихвостней из НКВД, он ткнул пальцем в карту Сибири и напомнил, что эти просторы пригодны для обживания сотнями тысяч и даже миллионами людей и добавил, что он сам отбывал ссылку в Нарыме и хорошо знает эти места. И пошла новая лавина репрессий. Так судьба занесла в этот урман и меня...

И вот мы плывем в неведомое. Иногда с косогоров выглядывают бедные поселки — три-пять серых изб. Однажды, уже поздним вечером, раздался страшный грохот, еще оглушительней был одновременный вскрик всех находившихся в трюме людей. Они подумали, что дно баржи пробито и она начинает тонуть, но, к счастью, ничего серьезного не случилось. Баржа действительно задела то ли мель, то ли отдельный камень или топляк, но все

обошлось — баржа медленно сдвинулась с препятствия, а матросы нас успокоили, что все обошлось. Постепенно все пришли в себя. Около середины июля рядом со мной у молодой матери на руках скончалась малютка. Мать была бессильна, врача не было, да и что он смог бы сделать в этих условиях! Я впервые воочию увидела смерть и долго не могла придти в себя.

Тем временем баржа подошла к районному центру — поселку Средний Васюган. Высокий серо-желтый косогор, наверху чернеют несколько изб. Баржа остановилась, высадили на берег не то два, не то три вагона, т. е. 60—80 человек. С косогора поглазеть сбежала стая мальчишек. На вопрос чьи они, все дружно ответили: «Детдомовские!» — слово для нас тогда совсем еще непонятное. Все мы, приплывшие на барже, думали, что здесь в поселке, где наверняка есть погост, похороним умершего младенца. Мать его тоже на это надеялась, но... Баржа вдруг отошла от берега, прошла далее по реке не более километра и за излучиной остановилась. На противоположный от селения берег спустили трап, по которому сошла мать с завернутым в простыню мертвым младенцем, его бабушка, еще два или три человека из ссыльных, возможно близкие, и несколько человек из команды баржи. Все скрылись в чаще, откуда вышли минут через двадцать с окаменевшими лицами. Оставшиеся на барже тоже молчали. Да и что можно было сказать, когда ребенка зарыли, как сдохшую собачонку!

После Среднего Васюгана реку все чаще перегораживали коряги, в воде было много сучьев, топляка, плыть становилось все опаснее, однако баржа протянула еще около двухсот километров и дошла до старинного остяцкого селения Айполово. Остяки, ханты, манси — таежные охотники, но советская власть поселила вдоль Оби, Васюгана и других рек русских раскулаченных крестьян, и теперь здесь все население смешалось. В Айполове среди привычных изб мы увидели бревенчатый, черный от времени двухэтажный дом. На фоне однообразного пейзажа он казался огромным. Опять на берегу крутятся мальчишки и опять «детдомовцы». Но теперь мы знаем, что «Детдом» — это детский дом, старинное его название — приют. Зачем здесь, в дремучей глуши, эти приюты, было непонятно. Пока мы жили в Латвии, нам было мало известно о порядках в СССР, а большевики умело скрывали все свои преступления. В те годы в

России под руководством гениального палача Дзержинского и его соратника Менжинского, с благодушного согласия сначала Ленина, а позднее — его последователя Сталина, были уничтожены миллионы, десятки миллионов людей. Только в период раскулачивания погибло, по непроверенным данным, более десяти миллионов крестьян. Часть их детей выжила, их-то и разместили в детских домах. А сейчас организация детских домов приписывается Дзержинскому, как его великое благодеяние.

В Айполове высадили на берег еще несколько «вагонов», в основном, эстонцев. Река здесь совсем обмелела, фарватер сузился до десяти метров, и наша большая баржа стала с трудом разворачиваться в обратный путь. А нам объявили, что переведут на две баржи поменьше и повезут дальше — в Новый Васюган. Это, рассказывали нам, хороший, совсем новый поселок. Измученные дорожными переживаниями люди обрадовались скорому окончанию пути. Перенос багажа, перемещение в новые баржи проходили опять мучительно долго из-за нашей истощенности и усталости. Тем более, что никакой еды, кроме ржавого черного хлеба, уже не оставалось. Сейчас я не могу понять, как мы тогда выжили...

Когда маленькую баржу загрузили, в трюме оказалось так тесно, что можно было лишь стоять. Бабушку нашу кое-как, полусидя, пристроили на наш багаж. Стал накрапывать дождик. Темнело. Буксирчик отвалил от Айполовского берега и пошел во тьму. Тропинкой по тайге до Нового Васюгана оставалось всего лишь километров двадцать, но нас везли по извилистой реке, и путь утраивался. Дождь усиливался, но спрятаться от него было некуда. Никаких навесов над палубой не было. Опять, как в первую ночь на той, большой, барже, тесно прижавшись к маме, пристроилась я на ступеньке лестницы, ведущей в трюм. Так мы с ней продремали до рассвета, а там и дождик кончился, стало проглядывать неласковое здесь солнышко. Обе баржи шли очень медленно, часто путь преграждали коряги, упавшие деревья, топляк. Буксир не раз останавливался, матрос спускался на берег и топором освобождал фарватер от завалов. Было что-то таинственное, будто заколдованное в этой таежной реке, пробивающейся через лесную чащу и тишину.

Но вдруг как будто посветлело, впереди на берегу просматривались новые светлые домики, их становилось все больше. Вот и райцентр Новый Васюган. Строили его все те же спецпереселенцы, крестьяне, согнанные в эти места в тридцатые годы. Нас довольно быстро выгрузили и перевезли в совсем новое и показавшееся нам таким уютным здание. Во всех комнатах были устроены нары. Позднее выяснилось, что в Новом Васюгане проходила какая-то, местного значения, конференция, и в этом доме располагались командированные. Нам выдали талоны на питание в ближайшей столовой: борщ и каша — какое это было счастье! Всюду успевающий Коля Казацкий, придя с улицы, сообщил, что в поселке есть кинотеатр и вечером можно пойти посмотреть кино. Сейчас не помню, что мы тогда смотрели, лента часто рвалась, фильм прерывался, но это уже была пусть хоть маленькая, но цивилизация.

На следующий день, не сказав никому, я отправилась знакомиться с окрестностями поселка. Меня интересовала ТАЙГА. Местные жители рассказали, что вон там, за избами (а это «там» было совсем рядом) начинается настоящая чаща. Осмотревшись в поселке, ознакомившись с его улицами, что было сделать нетрудно в виду их малочисленности и непродолжительности, я храбро направилась в сторону леса. Граница между обжитой площадью и тайгой была резко обозначена самой природой: переступив через нее и сделав всего несколько шагов, я остановилась: густой мох, заросли, высокие кочки и между ними — вода. Невысокий хвойный лес, но настолько густой, что солнце сюда не заглядывало. На уровне моих коленок — сплошная комариная завеса, и такой гул и шум шел от них, что в первый момент я оцепенела от ужаса, а во второй — стремительно выскочила из леса под открытое небо поселка. Мои голые ноги были сплошь покрыты комарами (именно сплошь!), пришлось хорошо помахать руками и попрыгать, чтобы избавиться от них. Искусали же меня эти крылатые твари за недолгое время порядочно...

Райцентр Новый Васюган оказался всего лишь временным прибежищем, но зато мы получили возможность отдохнуть после долгого и страшного пути. Прошла неделя или чуть больше, и поступило новое распоряжение — снова готовиться в путь. Вечером следующего дня нас погрузили на небольшой открытый катер. На нем поплыли не все «пассажиры» нашего вагона, кое-кто, в частности

семья Менгельсон, сказавшись больными, остались. Они вышли на берег проводить нас. Я хорошо запомнила госпожу Менгельсон, которая была в своем роскошном платье, поверх которого были наброшены две серебристые лисицы — это было всё, что она в суматохе отъезда успела взять с собой.

Опять холодная бессонная ночь, почти у самой поверхности воды. Катер то и дело натывается на коряги, над рекой нависают деревья, по берегам тянется темная непроходимая тайга. Плыли ровно сутки. К вечеру следующего дня катер остановился у крутого косогора, сложенного кирпично-красными песчано-суглинистыми породами. Наверху виднелись избы поселка Огнев Яр. Матрос объявил, что катер дальше не пойдет, и нам предстоит высадка.

Подошел чекист, ответственный за ссыльных со списком и перечислил тех, кто распределен на «постоянное жительство» в Огнев Яр. Сообщил, что для них приготовлена избы и они сразу должны в них вселяться. Остальным, в том числе и нашей семье, предстоит ночевать в местной школе, чтобы с утра пешком по таежной дороге, отправиться в расположенный выше по Васюгану поселок Ершовка, до которого сухопутным путем около пяти километров, а рекой — все двадцать. А сейчас следует поторопиться, поднять свои вещи по обрыву и отнести их в школу.

Начал накрапывать дождь, стало сумрачнее. Помощников для переноса вещей здесь не дали. Помогали все те же: неугомонный Николай Казацкий, Лева Левинсон и четырнадцатилетний осиротевший еврейский мальчик Яша, о котором я рассказывала в главе «14 июня». Добираться до школы оказалось нелегко, а мне несколько раз пришлось подниматься и спускаться по крутому обрыву, перетаскивая наш багаж. Когда, наконец, я перетащила последний узел, было уже почти темно...

¹ *В быту, в разговорной речи, в учетных документах того времени они называются остяками. Численность селькупов-остяков около 3000 человек. Язык относится к самодийской группе, куда входят также языки ненцев, энцев, нганасан. Однако, остяки Васюгана говорят в основном по-русски, ибо среди них нередки смешанные с русскими браки. Основное занятие — охота и рыболовство.*

Огнев Яр

... Итак, нас разместили на ночевку в один из классов Огневской школы. Расположились на полу. Поужинали полусырым кирпичом ржаного хлеба с водой. Вокруг копошились, суетились усталые люди, пытаюсь устроиться на ночь поудобнее. Слышалась разноязыкая речь — русская, латышская, эстонская, еврейская, польская. Я пыталась уснуть, но сна не было — мною овладело какое-то сомнамбулическое состояние, когда все давно уже стало безразлично от усталости и многих переживаний. Под утро все же уснула. Проснулась довольно поздно от маминого прикосновения: «Вставай быстрее, все уже разошлись».

Утро, сумрачное небо все в тучах, накрапывает дождь — уже август. Класс, в котором мы ночевали, опустел. Все ушли по своему назначению. Нам и еще одной группе из вагона, в котором нас везли до Новосибирска, предстояло пешком пройти около пяти километров до поселка Ершовка. Мама торопит меня, так как за нами пришел возчик, чтобы взять багаж и помочь его вынести. Встала, огляделась, вечером в темноте ничего не было видно. Обычный школьный класс с партами, большими окнами, какими-то плакатами на стенах. Только все чужое. Торопливо собираем свои мешки, чемоданы. Поднимаем бабушку, помогаем ей одеться и выносим с помощью возчика к подводе, стараясь устроить поудобнее. Она ко всему безучастна, больше молчит, понимая, что все кончено. Мужик, который нас сопровождал в Ершовку, оказался вежливым и расторопным, он ловко подхватил наш скарб, разложил его в телеге, поудобнее устроил в ней бабушку. Мне, сестре и маме предстояло идти пешком. Вышли, опять не позавтракав, и не потому что проспали, а потому, что завтракать было нечем. Но, странно, в первые месяцы ссылки мы еще не ощущали по-настоящему голод. Это будет потом.

И вот мы уже на окраине Огнева Яра и выходим на таежную дорогу. Вокруг невысокий, очень густой смешанный лес, дремучие заросли, ни человеческой души, ни зверя, ни птиц — тишина. Телега едет впереди, на ней бабушка и наш багаж, рядом шагает возчик, погоняя лошадь, мы идем следом. Начал было накрапывать дождик, но скоро перестал и сквозь тучи выглянуло нежаркое солнышко, в кустарнике заблестел ручеек и рядом, на кочках, — о, чудо! — белые калы,

маленькие, нежные. Такие же, только намного крупнее, дарят в Риге невестам в день свадьбы. Мамины любимые цветы. Как могли они вырасти здесь, среди болотной чащи? Такие беззащитные и одинокие... Совсем как напоминание о недалеком прошлом, таком светлом и безмятежном... Сорвать эти цветочки рука не поднялась, и мы побрели дальше — в неизвестное и страшное будущее.

Дорога до Ершовки показалась нам длинной. Наконец впереди, на пригорке, мы увидели новое барачного типа строение, рядом еще два небольших бревенчатых домика, как оказалось — это еще не достроенные больница, приемная врача и его дом. Прошли по дощатому мостику через речку-ручей Ершовку и скоро оказались на окраине деревни. Возле почерневшей от времени захудалой избы наш возчик остановился. Совсем рядом сквозь прибрежный кустарник виден уже так хорошо знакомый Васюган.

Из избы вышла бедно и неопрятно одетая краснолицая баба, открыла дверь в избу и показала куда нам перенести вещи. Заранее, еще до нашего прибытия в эту деревушку, местным жителям было объявлено, что придут новые поселенцы — «фашисты», и что они должны их разместить у себя. Так каждой семье ссыльных была определена изба и ее хозяйка. Увы, наша хозяйка Некрасова оказалась не из самых симпатичных. Но делать было нечего, кроме как подчиниться чьей-то злой воле и последовавшим событиям.

Возчик внес в избу наш скарб, сложил в углу около входной двери, распрощался, сел в телегу и уехал в свою Огневку. А мы остались здесь, в Ершовке. Как нам объяснили — жить. Но как! Казалось, что это невозможно! Тогда, стоя посреди мрачной черной избы с тремя подслеповатыми оконцами, мы еще не могли себе представить, какие испытания нас ожидают, но уже осознавали, что судьба из двадцатого века одним ударом откинула нас в век — какой? — пятнадцатый? четырнадцатый?? Или еще глубже!? Мама в оцепенении: надо обустроиваться, но — как? Очнувшись после первого шока, она вместе с нами выходит из избы, чтобы осмотреться. От дома к реке через густые кусты ивы и дикой красной смородины спускается тропинка. Прямо с берегового камушка можно зачерпнуть буроватую васюганскую воду. Ширина реки здесь не более двадцати метров. На противоположном берегу прямо от воды

вздывается густой черный лес — урман. Оказалось, что нас поселили в некотором отдалении от основного поселка — колхоза, за главными воротами деревни. Рядом, на пригорке, в другой избе, разместили две семьи из нашего же вагона: Левенсон и Кремер. Придя к ним, мы застали их в энергичном обустройстве. Госпожа Левенсон умело разделила простынями помещение на отдельные «участки», Лева ей помогал, а Соня разбирала узлы. Кто-то из местных сколачивал топчаны.

Встретили нас приветливо, подбодрили совсем было упавшую духом маму, но длинные разговоры вести всем было некогда, солнце клонилось к закату и вот-вот было готово упасть за тайгу. Мы попрощались и заторопились к себе заниматься тем же. Застали всех Некрасовых в сборе: старший сын Колька — худой мальчик с огромными, уходящими куда-то вглубь глазами, было ему где-то 14—15 лет, средний брат Васек, ему на вид было годков 12—13, черноглазый, коренастый, довольно шустрый и похожий на цыганенка, и младший Вовка лет десяти-одиннадцати. Вовка в противоположность среднему брату был голубоглазым, тоже очень худым, более флегматичным, но с хитринкой в глазах. Самой младшей в семье оказалась трехлетняя сестренка Настя, ее каждый день по утрам братья отводили в колхозные ясли. Вечером вместе с сестренкой они приносили поллитра молока — дневной белково-жировой рацион для всей семьи. В тот вечер хозяйка Надежда предложила нам отведать своей похлебки. Из черного чугунка налила в старую-престарую темно-зеленую миску болтушки из ржаной муки. Помню, ели из одной миски. Несмотря на уже начавшееся хроническое голодание, я съела несколько ложек, больше не смогла.

Подступали сумерки первой ночи в Ершовке. Устроились на ночлег мы на полу в углу избы, поближе к входной двери. И уже привычно тесно сбившись в кучку, забылись тяжелым сном. Утром по договоренности с хозяйкой ее сыновья соорудили нам из каких-то досок топчан, один на всех. Ширина нашего общего ложа едва достигала 130—140 сантиметров, а нас ведь было четверо. Всем вместе расположиться на нем было весьма проблематично, но изба была очень мала и другого места, к сожалению, не было. К счастью, мы довели из Риги несколько одеял и подушек. Часть одеял ушла на

подстилку, вещи свои мы сложили под топчан, а что-то из носимого развесили над ним на гвоздях. А сами со всем нашим «богатством» все же кое-как поместились на топчане, на котором нам предстояло прожить, как это выяснилось позднее, около трех с половиной месяцев. Бабушке определили место у бревенчатой стены, рядом устроилась я, затем валетом ко мне Ира, а на самом краю — мама. В такой тесноте невозможно было даже повернуться во сне и на следующий день я постелила себе на полу, где и проспала до самых лютых холодов, и лишь тогда, когда, сильно простудившись, покрылась нарывами и чирьями, поднялась на нары. Но это было потом, а пока еще было лето и относительно тепло.

Жизнь в Ершовке

На следующий день продолжаем знакомиться со всем тем, что теперь нас окружало. Перво-наперво осмотрелись в жилище Некрасовой. Это была однокомнатная рубленая русская изба, крытая березовой корой, общей площадью около 20 квадратных метров, с одной дверью, из которой уже осенью отчаянно дуло, тремя оконцами, смотрящими на реку. Бревенчатые стены изнутри были обмазаны бурой глиной. Комната прямоугольная, с одной ее стороны, той что поближе к входной двери, теперь высился наш топчан, на противоположной — громоздилась на четверть объема избы русская печь, которую я тогда увидела впервые. На печи была устроена лежанка, где спала сама хозяйка Надежда вместе с дочуркой. Взбирались они туда по грубо сколоченной деревянной лесенке в три ступеньки. По диагонали от сооруженного для нас ложа, у другой стены стоял похожий на наш топчан, на котором в гряде какого-то тряпья спали все три мальчика. В «красном» углу — небольшой прямоугольный стол, сколоченный из очень толстых грубых досок и такие же две скамьи. Все было накрепко приколочено к полу. Посреди избы расположилась железная печурка — главный источник тепла, на которой можно было и приготовить что-то. Украшал жильё пустой кованый сундук — напоминание о некогда более славной жизни. Не могу вспомнить, висела ли в «красном» углу икона. Кажется, ее все-таки не было. Никаких признаков одежды, постельного белья — только ношенные ватники и такие же шапки. Даже поздней осенью мальчики ходили босиком, и потом долго отогревали свои красные, как у гусей, ноги возле железной печурки.

Вся посуда — чугунок, миска, деревянные ложки да пара эмалированных кружек. С улицы над входной дверью — навес, сложенный из неотесанных жердей. Элементарного туалета не было даже во дворе, каждый выбирал себе ближние кусты. Воду носили из реки. Просматривался около избы неухоженный и давно заброшенный огород. И никакой скотины, только вечно голодная собачонка...

С деревней познакомились лишь на следующий день. Свое название она получила от извилистого ручья, впадающего в Васюган ниже по течению, метрах в трехстах от нашего дома. Возможно, когда-то в этой речке водились ерши, но за все время нашего пребывания там я ни разу не видела чтобы в ней ловили какую-нибудь рыбу. Ершовка расположилась на правом берегу Васюгана на второй надпойменной террасе. Избы, числом около двадцати, выстроились вдоль проселочной дороги, глядя окнами на реку. Всю деревню окружала обычная деревянная изгородь, а вход в нее со стороны дороги преграждали бревенчатые ворота. Три избы, в том числе и «наша», находились за пределами собственно деревни, за ее изгородью. Здесь жили «единоличники», то есть те крестьяне, которые не пожелали вступить в колхоз даже после выселения из родных мест. Мне запомнилась среди них старообрядческая семья, состоявшая из трех взрослых сыновей и возглавлявшей хозяйство матери. В колхозе они не работали, а занимались охотой с помощью «петель», капканов и других охотничьих приспособлений. Кроме того, промышляли кедровую шишку, собирали грибы и ягоды — все то, что щедро давал урман. Ружья им советская власть не доверила. Впоследствии это не помешало ей всех троих отправить на фронт, где они героически сложили головы.

Первой постройкой у ворот деревни оказалась изба-читальня, на дверях которой постоянно покоился большой навесной замок. Избы тянулись вдоль дороги лишь с одной ее стороны, по другую — был виден Васюган и мрачный урман за ним. Меня заинтересовала кровля изб: она была берестяная. Кора березы растягивалась на перекладинах и покрывала всю крышу. Случалось, ветер срывал целые куски этой кровли, тогда береста сворачивалась в рулон и моталась под порывами ветра, а на крыше образовывалась прореха, куда обильно поливал дождь или сыпал снег. Но, похоже, это не

очень беспокоило хозяев. Все избы — обычные, в одну горницу, с русской печкой, вход прямо со двора, без крылечка или террасы. Были и пятистенки, но очень мало. Иногда к избе прилеплялось нечто похожее на сарай. Ни деревца, ни кустика — голый, пустой двор, в котором у многих были «стайки», в которых когда-то держали корову, но, увы, сейчас корова была здесь тоже редкостью — попробуй прокорми ее в этих условиях. Добавьте к этому огромный налог по маслу и молоку, оплатить который колхозники, а тем более единоличники, были не в состоянии.

В центре деревни высился новый, еще не посеревший от времени, бревенчатый полтораэтажный дом за крепкой деревянной оградой. Во дворе — добротная конюшня, две лошади. Это был дом коменданта, в котором размещалась и его приемная. Комендант по тогдашним понятиям жил богато и сытно. Еще бы — главное лицо округа. Далее в невысоком, барачного типа здании жили учителя местной школы и фельдшерица. Люди неподневольные, молодые — комсомольцы. Их жизнь очень отличалась от положения спецпереселенцев, они ходили по деревне весело, энергично, одним своим видом показывая свое превосходство и независимость. Еще одним приметным зданием, возвышавшимся над избами оказался магазин. Войдя в него, я была крайне удивлена: все прилавки были абсолютно пусты. В этот магазин мы потом вынуждены были ходить каждый вечер за своей убогой «пайкой» — 500 граммов хлеба маме, если она ходила «на работу» в колхоз, и по 300 граммов — мне, сестре и бабушке.

Обращал на себя внимание колхозный двор — новые крепкие постройки для скота, сарай. При входе у самых ворот — колхозная контора, где восседали председатель и счетовод, и каждое утро собирались колхозники для получения дневных нарядов на работы. В течение года, прожитого мною в Ершовке, успели снять с работы аж двух председателей, якобы за растрату средств нищего, нежизнеспособного колхоза и отправить их в тюрьму. Но что здесь было воровать? Да и выполнить план по госпоставкам тоже было невозможно! Помню, как два чекиста вели в наручниках этих красивых мужиков мимо дома, где мы жили. Одного, через некоторое время — второго. Удрученные, униженные, они покорно

шли впереди своих мучителей, понимая, что ведут их туда, откуда не возвращаются.

За колхозным двором протянулся глухой овраг, круто спускавшийся к реке, на дне его поблескивал ручеек, весной бурно разливавшийся. Ближе к реке его перегораживала плотина водяной мельницы, а мельник, пожалуй, был здесь самым состоятельным человеком. Дом у него был пятистенный, то есть в две горницы. Почти сразу за обрывом деревня заканчивалась, но несколько изб уходило в сторону леса, среди них выделялась новая, сложенная тоже из бревен, школа. В школе учились в две смены, утром с первого по третий классы, а после обеда — с четвертого по шестой. При школе в маленькой каморке, примыкавшей к классам, жила директриса со своим мужем алкоголиком. Строили все эти здания сами колхозники, топорами рубили лес и обтесывали бревна, впрягались вместо лошадей в сани и тащили их к месту строительства. Все как в далеком средневековье... За школой начиналась бесконечная и дремучая, с болотами-омутами, тайга...

За деревней, сразу за избами у колхозников были свои огороды, земли под которые они отвоевали, корчюя тайгу. Но и здесь нас настигло разочарование! Весной—летом 1941 года весь этот край был затоплен наводнением. Хозяйка нашего дома Надежда рассказывала, что воды даже в избе было до метра. Из огородов она отступила только к июлю, тогда и стали сажать картофель, который кое у кого еще сохранился, но до заморозков вырасти он не успел. Голод ожидал не только нас, ссыльных, но и местных жителей. Что касается колхозных полей, то их было очень немного, так как приходилось за каждый квадратный метр земли вести суровую борьбу с тайгой.

Комендант дал маме на обустройство и ознакомление с условиями жизни в деревне два или три дня. Мама, которая имела специальность учителя русской словесности, решила пойти к директору местной школы, надеясь устроиться в нее на работу. Тогда она по наивности не понимала, что мы все четверо: она, бабушка и мы, две девчонки—школьницы, «враги народа». А раз так, то не достойна она учить детей трудящихся. Я тогда всюду следовала за нею, пошла и на этот раз.

Миновав овраг и мельницу, мы свернули к школе. Школа — совсем новое, сложенное из светло-желтых бревен, чистое здание. Рядом располагались три избы, показавшиеся нам вполне солидными. В них поселились несколько высланных эстонских крестьянских семей, которые с нами никогда не общались.

Встретила нас сторожиха—уборщица, крупная, краснолицая, рыжеватая, узкоглазая женщина. Она доложила о нашем приходе директорисе Авдотье Михайловне. Авдотья Михайловна не заставила себя долго ждать и тотчас вышла из своей комнаты, пригласив нас в один из классов. Была она лет пятидесяти, среднего роста, полноватая, волосы закручены в узел на затылке. Представилась, очень внимательно посмотрела на заметно волнующуюся маму. Пригласила ее присесть, и они устроились за учительским столом, а я вышла, решив осмотреть школу и ее окрестность. За окном я увидела просторный, ничем не огороженный школьный двор и большую, аккуратно сложенную поленицу дров. Дальше, как везде — простиралась тайга.

По окончании разговора, когда обе вышли из класса, я по лицу мамы поняла, что она очень подавлена беседой. Простившись с директорисой, мы вышли из негостеприимной школы. На обратном пути мама некоторое время молчала, потом начала рассказывать: «Она меня выслушала и сказала, что им очень подошел бы такой учитель, как я, но принимать на работу учителей из спецпереселенцев не разрешено, их полагается использовать только на черновой колхозной работе». Так печально закончилось наше посещение школы. Мама совсем сникла.

Так моя мама — Александра Ильинична, урожденная Боброва, окончившая знаменитую в Риге частную гимназию Олимпиады Николаевны Лишиной с дополнительным классом «Русская словесность», затем несколько лет преподававшая в этой же гимназии, владевшая французским и немецким языками, пробовавшая себя в поэзии, игравшая на рояле любимые ею сонаты Бетховена, вдруг оказалась «деклассированным элементом», которому нельзя доверить обучение даже крестьянских ребятишек. Удар был велик, последняя надежда получить достойную работу потеряна.

А уже в сумеречное утро следующего дня грубый голос колхозного бригадира призывал маму на работу на колхозном дворе. Молча встав, надев свой зеленый вельветовый плащ, такой же берет и рижские галоши с тремя пуговками, она ушла в туманное августовское утро. Так стало повторяться ежедневно. Возвращалась мама уже в сумерках, и однажды вечером, придя с этой постылой каторги, села и обреченно сказала: «Нет, такого я долго не выдержу!». Да, ей действительно было очень тяжело: худенькая, очень хрупкая, она не могла долго вынести непривычную изнуряющую работу. Но за нее она получала дополнительные 200 граммов хлеба, и тогда наш общий паек представлял уже половину круглой черной буханки. И ради этой полуковриги мама каждое утро вставала по требовательному стуку в дверь, одевалась и уходила на целый день на колхозный двор. А мы, дети, оставаясь дома, выполняли свои нехитрые обязанности, готовили еду.

В августе еще удавалось купить мелкую, величиной с каштан, картошку. Варили из нее на костре похлебку, приспособив для этого взятую из дома единственную кастрюлю. Другой посуды у нас не было, ее в суматохе и неразберихе «отъезда» забыли взять. Жидкая, без жиров, картофельная похлебка с луком и кило двести черного хлеба — вот весь обычный дневной рацион на всех нас, четверых. Иногда мама выменивала у колхозников на наши носильные вещи, простыни или одеяла еще какие-то продукты: то несколько яиц, то поллитра молока. Сначала ей казалось это невозможным, но потом она поняла, что другого выхода, чтобы спасти нас всех, не было. Охотник-старовер, единоличник, с большой охотой отдавал маме за грубые простыни дичь. Приносил то зайца, то пару куропаток, то утку. Это нас спасало. С каждым днем становилось холоднее, по утрам деревню заволакивал холодный туман, вечера наступали все быстрее...

Примерно через две недели после прибытия в Ершовку маму вызвал на собеседование комендант. Я пошла вместе с ней. Она уже плохо себя чувствовала, сильно похудела, казалось, остались у нее на лице одни глаза. Комендатура в этой глуши гляделась роскошным дворцом. Добротный дом за крепкой оградой уже сам по себе внушал мистический ужас. Строение новое, но с большой задумкой на будущее. Мы поднялись по высокому крыльцу и вошли в

приемную. Там уже яблоку некуда было упасть, так как, оказывается, были созваны все вновь прибывшие ссыльные.

А сейчас я попробую рассказать о тех, кого еще поселили в Ершовке. Из нашего рижского вагона здесь оказалось пятнадцать человек. В памяти остались не все, и пусть простят меня те, кого она не сохранила. Начну с нас, т. е. с семьи Никифоровых. Нас было четверо: мама Александра Ильинична, урожденная Боброва, бабушка Мария Иоганновна (Ивановна), урожденная Сидкевич, по материнской линии она происходила из известной в Риге купеческой семьи Окуневых, и мы — дети Тамара и Ирина. Казацкие Нина Николаевна (1894—1945 гг.) и ее сын Николай Михайлович (1916—1942) — тот самый Коля Казацкий, который нам всем очень помог в пути. Николай Михайлович был одним из самых способных молодых художников в «Школе С. А. Виноградова». Сергей Арсеньевич особо выделял этого юношу и его работы были представлены на выставке в мае 1930 года, а было тогда Коле всего 14 лет. Хорошо помню одинокую представительную пожилую даму по фамилии Штольцер. Она отрекомендовалась женой белого офицера. Из Васюганья она не вернулась.

Вспоминаются две молодые женщины. Одна из них — Александра Милгравис (1909—1979 гг.). Шура вернулась домой 23 мая 1955 года, героически выдержав почти пятнадцатилетнюю ссылку. Ее подругой была польская певица, бежавшая в Ригу из оккупированной Польши и оказавшаяся в ссылке вместе с нами. Семья Левенсон из трех человек: мамы и двух взрослых детей — дочери и сына. В Ригу никто из них не вернулся — май 1942 года стал для них последним. Навечно осталась в Васюганских болотах и госпожа Кремер, а ее дочка Фаня, моя ровесница, уже в 1947 году оказалась в Риге. Я уже упоминала четырнадцатилетнего еврейского мальчика Яшу, который остался на попечении вагона без еды, одежды и спальных вещей. В Ершовке он тоже был с нами. Его дальнейшей судьбы я не знаю, но есть основания надеяться, что Яша выжил.

Вообще из пятнадцати рижан, оказавшихся в ссылке в Ершовке, выжило шестеро, то есть смертность среди них составила 60%. Несколько человек из нашего вагона остались в Огнев Яре. Это семья Менгельсон — мама Луция (1892—16.10.1942), сын Янис (1921—

04.12.41) и дочь Эрика, 1927 года рождения (она вернулась в Ригу 14.07.1946 г.); там же, в Огнев Яре поселили семью Симанис — маму Наталию (1903 г. р.) с дочерьми Эдите (1928 г. р.), Айей (1936 г. р.) и Сильвией (1938 г. р.). Всем им удалось вернуться в Ригу.

Жило на поселении в Ершовке еще несколько русских и эстонских семей из Нарвы и три эстонские крестьянские семьи. Их судьбы мало отличались от нашей: Таня Бух и ее мама умерли от голода весной 1942 года, а Танина сестра Галя позднее оказалась в Айполовском детском доме; мой ровесник Женя Мяги, воспитанник детдома, вместе со мной закончил семь классов в Айполове, а его мама скончалась все в том же 1942-м. Трагически сложилась судьба семьи Брюниных — в мае 1942 года они погибли все четверо. Все эти люди и собрались тогда в приемной коменданта. Было тесновато. Кто успел, уселся за большой прямоугольный стол, остальные стояли, прислонившись к стене, и, пока не было «хозяина», довольно шумно переговаривались о наболевшем.

Наконец из апартаментов, где проживал с семьей, вышел комендант. Высокий, широкоплечий, рыжий детина, с грубоватыми чертами лица, изрытого оспой, одетый в форму чекиста. Ему бы сейчас под Москвой или Питером ротой или взводом командовать, а то и с пулеметом на смерть стоять, а он вот отсиживается вместе с семьей в этой глуши и «опекает» несчастных людей, не понимающих зачем и почему их — женщин, детей и старух — насильно сюда привезли. Подобных «патриотов», к сожалению, в России были тысячи. В руках комендант держал список сосланных в Ершовку, провел по нему перекличку и потребовал тут же, прямо сейчас, сдать паспорта. У многих рижан их не оказалось, так как незадолго до высылки документы были отданы для переоформления. Затем комендант объявил, что наша ссылка — на двадцать лет, и что мы не имеем права без его личного разрешения выходить за территорию поселка, даже в соседние поселки Огнев Яр и Медведка. Все взрослые обязаны ежедневно работать в колхозе под руководством председателя, бригадира или звеньевых. При невыходе на работу ссыльный лишался своей пайки хлеба, а кроме него никакой еды не было, да и купить что-либо было невозможно из-за того, что весь урожай в округе на сотни километров, как я уже рассказывала, был уничтожен весенним наводнением. Посыпались вопросы. У

большинства ссыльных не оказалось никакой теплой одежды и обуви, только летние плащи и сандалии. Комендант выслушал нас, сделал какие-то пометки в своем блокноте. Следует сказать, что некоторые из нас, в том числе и Нина Николаевна, получили ватники и стеганные на вате чулки до колен. Маме не дали ничего, а у меня было только поношенное осеннее пальто.

Суровые будни. Кончина мамы и бабушки

Сибирская осень в урмане только начиналась, но холод и особенно голод уже сильно о себе напоминали. Есть хотелось непрерывно. Нас прикрепили к магазину, где вечером, строго по списку, выдавали пайку. На нашу семью в лучшем случае выходило 1400 граммов, это была примерно половина круглой буханки черного хлеба. Но мамины силы таяли, она все чаще оставалась дома, и наш паек сокращался до 900 граммов. Бабушка, чтобы не голодали внуки, почти не прикасалась к своему пайку, но очень просила сахар. Фельдшерица, которую мы вынуждены были пригласить к бабушке, снисходительно выписала 100 граммов сахара, который мама разбила на мелкие кусочки, завернула в тряпочку и положила возле бабушки. Она брала кусочек в рот и запивала его водой или кипятком. Конечно, надолго этих ста граммов хватить не могло, а тут еще внуки, которых так хотелось угостить...

В августе в тайге созрели ягоды — малина, голубика, клюква, черника, на болотах — морошка. На лесных опушках, вырубках, возле пней появились грибы — опенки, вполне съедобные. Но сваренные в воде, без приправы, они были невкусными. Однако, ели — какая-никакая, а все-таки еда! В августе — начале сентября совсем замучил гнус: комары и мошка. Бороться с ними было нечем, помог бы деготь, да где его взять? А изматывал гнус нещадно, нередко на шее, около глаз, на ногах и руках образовывались страшные и очень болезненные синяки, которые к тому же нестерпимо чесались.

И все же в лес, правда ближний, ходили. Сначала несколько раз мы с сестрой пошли за малиной в березняк на болоте. Прыгая с кочки на кочку, цепляясь за ветви низкорослых берез, мы собирали сочную сладкую лесную ягоду. Но сколько мы ее в таком месте могли собрать?.. Однажды ветка, за которую держалась, обломилась, и я

оказалась по пояс в ледяной воде. Дна я не чувствовала, что-то тянуло меня вниз; не знаю, как удалось тогда выбраться... Мокрая, замерзшая, вконец измученная, уже на заходе солнца добралась я до нашей избы. Слава Богу, обошлось... Пару раз, когда маму по колхозному наряду направляли в тайгу за черникой и клюквой для сдачи их на поставки, она брала нас с собой, чтобы мы набрали ягод домой. Мы с сестрой очень старались, но набрали немного — не умели еще, к тому же страшно мучил гнус, да еще под ногами хлюпала ледяная вода, а вся обувь наша — сандалии да летние туфли.

Спасти нас от голода эти ягодные походы не могли, но все же это было хоть что-то съедобное. Купить молоко, яйца у местных крестьян стало почти невозможно, да и денег не было. Какое-то время мама не решалась менять наши носильные вещи и постельное белье на продукты, которые предлагали местные жители, хотя многие из наших товарищей по беде давно же освоили этот способ выживания. Наконец, поняв что другого выхода нет, решила на это и наша мама. Местный охотник-старообрядец (я его уже упоминала) за простыни приносил нам дичь. Однако, этого было тоже мало. Чувство голода все возрастало, я худела с каждым днем. Маме приходилось труднее всех, она изнемогала, но старалась держаться.

В августе в нашей избе случилась трагедия. Николай, старший сын Надежды Некрасовой, стал жаловаться на невыносимые головные боли, он страшно мучился, кричал, порой бился головой о стену или скамью, похудел до невозможности. Спустя несколько дней он окончательно слег, не переставая ни днем ни ночью стонать и кричать, впадая в беспамятство. Видеть и слышать все это было жутко. Наконец в доме появилась врач, из ссыльных эстонцев. Порусски она не говорила и совсем не понятно, как она объяснялась с матерью больного. Осмотрев мальчика, она сообщила, что у него туберкулезный менингит и жить Николаю осталось несколько дней. Так оно и случилось. Сын повторил участь своего отца, который за три года до нашего прибытия в Ершовку также скончался от туберкулезного менингита. Наверное, имела место наследственность да и нечеловеческие условия, в каких жила эта несчастная семья. Надежда Некрасова к смерти сына и его похоронам отнеслась

хладнокровно: ни слез, ни причитаний. Видно, душа ее давно окаменела...

С каждым днем становилось все холоднее, за ночь изба совсем выстывала, но отсутствие дров хозяйку не очень волновало. А изба на зиму совсем не утеплялась, завалинка давно осела, голодные, отупевшие от лишений хозяева оставались ко всему равнодушными. Мы с Ирой, сколько могли, собирали хворост, сучья. Все это мгновенно сгорало в железной печурке, на которой мы теперь готовили варево, именуемое едой. Однако печурка быстро остывала и снова становилось холодно. Я продолжала спать на полу, но это становилось невыносимо: из подпола через огромные щели несло лютым холодом. В результате я очень сильно простудилась, начался фурункулез, огромные, глубоко сидящие нарывы быстро расползлись по всему телу, а когда они созревали, из них выходил желтый гной, перемешанный с кровью. Любое движение причиняло боль. Пришлось перебраться на топчан. Двигаться я почти не могла, день и ночь проводила в одной позе: облокотившись локтями на колени, но долго выдержать это было невозможно. Мама пригласила врача. Пришла та же, уже знакомая эстонка. Помню, что у нее был сильный нервный тик: тряслись руки и голова. Врач объяснила, что помочь практически ничем не может, но дала марганцовку для промывки ранок.

Ко всем прочим несчастьям, мама обнаружила, что пропали некоторые наши вещи. Во время отсутствия Надежды, она решилась заглянуть в ее сундук и... на дне его их нашла. Баба, выходит, была еще и воровата. Потом мама нечаянно уронила свое обручальное кольцо. Сквозь щель в полу оно упало в подпол. Это ее очень взволновало, она увидела в этом — плохую приметку. Васек полез искать, искал долго, но не нашел. Однако, зимой, когда открылся санный путь, он ходил на станцию «Тайга» и там его пытался продать. Мы об этом узнали много позднее.

Еще до того, как на меня навалился фурункулез, я не раз совершала одиночные прогулки по окрестностям. Задолго до происходящего, еще в Риге, меня заинтересовали география и история. Я увлекалась рассказами о Сибири, Севере, открытии Северного и Южного полюсов. Отец очень способствовал моему увлечению, приносил

замечательные книги о путешествиях и путешественниках, брал меня в увлекательные, порой трудные для меня, прогулки в окрестностях озера Бабите. Папа как будто предчувствовал нашу судьбу и как умел закалял меня: я до октября купалась в реке Лиелупе, прекрасно плавала, бегала на лыжах. Он купил мне охотничью лодку, палатку, рюкзак. А в школе мой классный руководитель, зная про мои увлечения, подарил мне по окончании пятого класса (май 1941 года) книгу В. К. Арсеньева «По горам Сихотэ-Алиня». До ареста я успела ее прочесть. Так что мои походы по окрестностям Ершовки были не случайны.

Сходила я на ближайшую речку Ершовку, которая впадала в Васюган. Она оказалась очень живописной. В устье дно и берега ее покрывал желто-серый песок, мерцающий на солнце, и чудились мне в нем золотишки: а вдруг! О золотых россыпях в сибирских реках я была начитана. Пройдя вверх по течению, скоро я оказалась в тайге и болоте. Здесь берега Ершовки поросли кустарником, вода была уже не серебристой, а почти черной, дно илистое. Передо мною вставали дикие пугающие дебри. Пришлось вернуться. А жизнь становилась все сложнее и страшнее. Появились вши. Впервые я их увидела в Ирининой голове. Мы попробовали их вычесать, но паразиты не переставали размножаться и скоро распространились на всех, оккупировав носильные и спальные вещи. В деревне у кромки берега стояла банька. Она всегда пустовала, но мама упростила мальчиков истопить ее. Мы собрались в баню, все, кроме бабушки. На тележке повезли вещи, чтобы их прожарить. Это была первая в моей жизни баня. Мыла не было, но и без него ощущение осталось прекрасное. Однако, от вшей мы, увы, не избавились. У нас все меньше оставалось сил, чтобы побороть полчища этих гадких тварей...

Подходило время начала занятий в школе. Пришла учительница, записала в тетрадь все данные обо мне и сестре и объявила, что посещение школы обязательно. Я попыталась возразить: мол, нет пальто, обуви, да вот еще и чирьи по всему телу... Она ничего не ответила — ее дело предупредить... А голод и холод делали своё. Хлеб, который получали в колхозе, мы уже не ели, как все люди, а делали из него жидкое варево: оно нам казалось сытнее. Но, к сожалению, всего лишь казалось... Миновал сентябрь, затем октябрь, близился день Седьмого ноября, и хотя в школу мы с

сестрой так и не пошли, нас пригласили на «праздник», пообещав «угощение». Выпал первый снежок, мягкий, сырой. В сопровождении мамы мы отправились в школу. Там детям выдали по тарелке пшенной каши и еще что-то. Каша мне показалась очень вкусной. А рядом стояла мама, с которой я хотела поделиться, но, увы, она отказалась: «Это только для детей, мне нельзя...».

Тарелка школьной каши, конечно же, никак не освободила от постоянного чувства голода. Снова потянулись унылые дни... В школу мы так и не пошли, да и каши в будни там не давали. Вскоре я совсем слегла. Каждое утро отмечала, что пальцы становились все тоньше, на месте бедер появились впадины. Фурункулы не давали возможности поднять руку или сделать хотя бы один шаг. Я не плакала, даже на это не оставалось сил: просто как будто отупела от боли и голода. По телу безнаказанно ползали вши, на которых я уже перестала реагировать. Часто стала забываться, и в забытии передо мной возникали чудесные картины — накрытые волшебными скатертями большие столы, на которых была расставлена обильная и невероятно вкусная еда, ну прямо как пир из «Сказки о царе Салтане», и я все это ела, ела, ела — всё подряд: и ароматные окорока, и жареных гусей и что-то еще, еще и еще... И вдруг просыпалась. Вокруг все те же унылые стены, а подо мной внушительная лужа. Организм поедал сам себя. И опять каждое утро отмечала, что стала еще тоньше, вот и ребра уже торчат... И всё болит... И ходить уже совсем не могу... На нарах я лежала рядом с бабушкой: она в самом углу, тесно прижатая к стене, я — рядом. Ближе к краю нар валетом располагались сестра и мама.

Бабушка давно почти ни на что не реагировала и почти ничего не ела. После 6—7-го ноября она уже ничего не говорила, только тихо стонала и бредила. В ночь на одиннадцатое ноября я проснулась от ощущения прикосновения к чему-то холодному. Это была уже остывшая, окоченевшая рука, и я вдруг поняла, что бабушки больше нет. Однако никаких чувств у меня в тот момент не возникло, какое-то жуткое безразличие овладело мною. Я разбудила маму, сказала ей: «Бабушка умерла...», но и маму это существенно не тронуло: мы все давно уже были морально подготовлены к мысли о том, что часы бабушки сочтены. Утром хозяйский мальчик Вася пошел в правление колхоза и сообщил о кончине нашей бабушки. Уже через несколько

часов к нашей избе подъехала колхозная подвода со сколоченным из досок гробом. Не помню, кто поднял и перенес через меня мертвое тело. У меня же сил встать с топчана уже не было. Хоронили бабушку наши ссыльные на кладбище у опушки леса, могилу обложили хвойными ветками, зелеными и душистыми. А я продолжала болеть. И не думаю, что выкарабкалась бы, но однажды в один из ноябрьских дней, уже после бабушкиных похорон, зашел к нам знакомый охотник-старовер, про которого я уже упоминала. Жил он с матерью и двумя братьями, мужиками рослыми и работающими, неподалеку от нас, за пределами колхозного поселка, на берегу Ершовки. В колхоз они не вступили, а промышляли то, что мог дать им урман: грибы, ягоды, целебные травы, кедровые орехи, рыбу и главное — дичь. Изгоям-единоличникам иметь охотничьи ружья не полагалось, но эти молодцы приспособились добывать зверя силками, капканами и всякими другими средствами, с какими издревле выходил на охоту человек.

Так вот, в тот памятный для меня день охотник-старообрядец заглянул к нам и, увидев меня лежащую на нарах почти без признаков жизни, произнес, обращаясь к маме: «Хозяйка, дети не должны умирать, попробую помочь...». И ушел. На следующий день он принес еще теплого, только что пойманного зайца. «Ну вот, — сказал он, — сейчас будет тебе угощение». Положил зайца на стол и охотничьим ножом ловко вспорол ему живот, после чего вылил теплую кровь в зеленую эмалированную кружку. Затем подошел ко мне: «Пей!.. Пей, говорю!» Я пыталась сопротивляться, но затем, преодолевая отвращение, поднесла кружку с теплой алой жидкостью к губам и стала пить. И странное дело — жидкость показалась вкусной, а по всему телу сразу разлилось необъяснимое тепло. Когда я опустошила кружку, тем же охотничьим ножом он вырезал из зайца печень. Нашелся кусочек черного хлеба (нам на поминки по бабушке выдали целую буханку), на него охотник возложил заячью печень и круто ее посолил: «Теперь ешь!». Я уже не сопротивлялась и съела всё. Это стало моим таежным причастием, спасшим меня от казавшегося уже неминуемым конца. Во мне как будто что-то пробудилось. А разделанного зайца он нам тогда тоже оставил, за что мама расплатилась с ним очередной простыней.

Мамины силы таяли с каждым днем, она с трудом поднималась, но каждое сумрачное утро, когда бригадир, постучав в наше оконце вызывал ее на работу: «Эй, Никифорова! Что заспалась, пойдешь сегодня туда-то!..», покорно вставала, надевала свое зеленое демисезонное пальто, резиновые полуботики и, не попив, не поев, уходила, уже понимая, что обречена. Однажды (это был уже конец октября) всех ссыльных отправили на болото собирать клюкву, и мама целый день с мокрыми по колено ногами собирала ягоды в ледяной воде. Что она там тогда собрала, не знаю. До дому, вся мокрая и замерзшая, с горсткой ягод для нас с сестрой, еле дошла. Ночью ее душил страшный кашель, а утром выйти на работу она уже не смогла. На этом и закончились ее колхозные трудовые будни. Пытаясь спасти себя и нас, мама за бесценок обменяла почти новое демисезонное пальто, за которое мы получили горшочек сливочного масла, немного картофеля и два ведра темно-зеленой капусты.

Неожиданно к нам наведальась школьная директриса. Она узнала, что у мамы есть котиковая шуба, и решила, что эта вещь теперь больше подойдет ей. Но расплатиться женщина могла только деньгами, а нам нужна была еда. В конце концов мама согласилась отдать шубу за пятьсот рублей, из которых директриса дала маме 150, мол, остальное — потом, и шубу забрала. Долг тот нам так никогда и не вернули. Уже впоследствии я узнала, что когда мы, ссыльные, погибали от голода, местная «аристократия» — комендант, председатель колхоза, учителя и мельник, который гнал самогон для собутыльников, в число которых входил и муж директрисы, и понятия не имели о недоедании.

В один из таких тяжелых осенних дней нас вдруг навестила Нина Николаевна Казацкая. Весь путь от Риги до Ершовки мы были рядом и сблизились. Но знакомы мы были и раньше — еще в Риге мама навещала Нину Николаевну в ее мануфактурном магазине, где я, пока дамы были заняты беседой, любовалась красивыми тканями. О чем они говорили в тот серый васюганский день, я не знала, догадалась уже позднее. В эти же дни мама подыскала в самой Ершовке более симпатичную, нежели Некрасовы, семью, и мы перебрались в другую избу. Сборы для переселения легли на мои плечи, к тому времени я от болезни оправилась. Уже выпал устойчивый снежок, стало морозно, а одеться было не во что. У меня

было только демисезонное пальто, Ира — в легких ботиночках. Я приспособилась ходить в маминых ботиках. Маму пришлось перевозить на саночках, поддерживая с двух сторон, чтобы не упала. Она была совсем слаба, подняться уже почти не могла и все говорила мне: «Боже, Боже, что с вами будет, когда меня не станет!..». Мне тогда казалось это невероятным.

Итак, мы перебрались на другую «фатеру», к бабке Анне Батьковой. Дом ее находился почти в центре Ершовки. Это была большая изба-пятистенка, одну половину которой занимала многочисленная семья колхозного бригадира, а в другой жили сами Батьковы: бабка Анна и четверо ее взрослых детей: сын Антон, дочери Таня и Нина и сын Николай, самый младший, ему тогда было лет шестнадцать. Взрослые дети дома почти не бывали. Семен все время жил в тайге — то на лесоповале, то на заготовке пихты, из которой выжимали знаменитое пихтовое масло. Татьяна, очень работающая, задорная, веселая, никогда не унывающая, была колхозной звеньевой и ее часто отправляли работать на участки, расположенные далеко от Ершовки. Младшая дочь Нина жила в Новом Васюгане и стала домработницей у бывшего ершовского коменданта, которого перевели туда с повышением. Сын Коля служил продавцом в Огнев Яре. Сама Батьчиха по ночам сторожила колхозный скотный двор и приходила домой только к утру. Даже никаких животных в доме не было, кроме белой курочки, которая устроилась в избе под печкой. Свою единственную корову из-за трудностей с добыванием кормов бабка Анна еще осенью свела в колхоз. Половина избы, в которой жили Батьковы, оказалась еще меньше, чем у Некрасовых, но она светилась оштукатуренными и побеленными стенами и отличалась чистотой. Четверть площади избы занимала печь, которую, впрочем, топили редко, потому что было достаточно тепла, исходящего от примыкавшей к ней добротной плиты с чугунным верхом. Обстановка была небогатая, как и у всех, но казалась веселее. Два окошка, украшенные горшками с геранями, смотрели на реку. Все Батьковы оказались людьми приветливыми, и мы без сожаления покинули вороватую Некрасову. Мама осознавала, что дни ее сочтены, и я думаю, что наше переселение к Батьковым не было случайностью: она понимала, что эти люди в отчаянный момент зла нам не сделают. Так оно и оказалось.

Антон споро соорудил для нас топчан, опять около входной двери. Сами хозяева как-то умещались на одной деревянной кровати, где на простых, почти неоструганных досках лежали поношенные овчинные полушубки, две-три подушки в пестрых ситцевых наволочках и лоскутное одеяло. Между окнами стоял стол без скатерти, в углу — тумбочка под посуду, ведро с водой, скамейка... Вот и вся обстановка. Сразу после переезда мама слегла и больше уже не поднялась. На третий или четвертый день она, узнав что сосед Наливайко повезет свою больную жену в Новый Васюган, собралась ехать вместе с ними. Сидя с поджатыми к груди ногами, она тихим голосом говорила, что ей надо положить в дорогу. Мы с сестрой молча делали все, что она просила — так хотелось, чтобы случилось чудо!

Но судьба распорядилась иначе. Около четырех часов ночи у мамы началась агония, она потеряла сознание, что-то еще пыталась сказать. Так продолжалось два-три часа. Потом она как будто вздрогнула и стихла. Хозяйка Батчиха, которая очень кстати в эту ночь была свободна от работы, помогла мне не сойти с ума от ужаса и отчаяния. Она что-то делала, говорила... Пришли соседки, помогли ей обмыть покойницу. Я же словно окаменела. Бабка Анна послала меня к председателю колхоза Жукову сообщить о маминной кончине. Как я оделась в старое мамино плюшевое пальто (своего не было), как напялила на себя мамины фетровые боты — не помню. Вышла из избы, холод стоял пронзительный, темно... Меня охватило отчаяние, но идти было надо, и я побрела к правлению. Наконец, я у цели, вот входная дверь. Робко открываю, вижу: посередине комнаты за столом сидит сам председатель колхоза Жуков, молодой, широкоплечий парень приятной наружности, а вдоль стен на скамьях устроились колхозники.

Я подошла к столу и пролепетала: «Мама умерла». Председатель не сразу понял, пришлось повторить и было видно, что известие его ошарашило: «Как, не может быть!..» Я молчала, сил произнести еще хотя бы одно слово у меня не осталось. Жуков пришел в себя, что-то говорил мне, потом отдал сидящим на скамьях мужикам какое-то распоряжение... Я уже направилась к двери, когда он остановил меня и подал записку, сказав: «Вот, пойдешь мимо магазина, получи на поминки буханку хлеба». Я его молча поблагодарила и вышла. Уже

светало, из-за синих туч поднималось багровое студеное солнце. В избе хозяйка и ее соседки уже обмыли и прибрали маму. Упокоенная она лежала на нарах, больше положить ее было некуда. Не помню, где и как мы провели день и ночь. Из меня не вылилось ни единой слезинки, я будто оцепенела. По-настоящему я зарыдала только через месяц, ощутив невыразимое одиночество и сверххранную ответственность за себя и сестру, которая была моложе меня на полтора года.

А в тот день в дом входили соседи, пришла и Нина Николаевна Казацкая, кто-то еще из ссыльных... И Нина Николаевна вдруг обратилась ко мне с разговором, думаю — преждевременным. А может быть, она не хотела дать мне опомниться — не знаю. Слов ее точно я не помню, но смысл заключался в том, что якобы наша мама в предчувствии скорой кончины, просила Нину Николаевну взять над нами опеку и сразу после ее похорон забрать нас в дом, где жили Казацкие. Мне стало нехорошо, трудно было представить себе Нину Николаевну в роли попечительницы. И главное — я этого не хотела. Мама на эту тему никогда с нами не говорила... Впрочем, может быть, была еще какая-то, подспудная, причина и дело было совсем в другом... Нина Николаевна с сыном сами находились в бедственном положении. В Риге их взяли на даче, теплых вещей у них с собой не было. Да и никаких других — тоже. Не исключаю, что у них были кое-какие драгоценности, но они здесь не имели соответствующей цены. А у нас были бесценные тогда простыни, одеяла, кое-что из маминых носильных вещей, и вполне возможно, что этими причинами и была обусловлена опека над нами. Наводит на размышления и то обстоятельство, что после нашего отказа перебраться к ней, Нина Николаевна с нами больше не общалась.

Через сутки приехал возчик с гробом, сколоченным из грубых досок. В момент, когда маму уже увозили на кладбище, в доме вдруг появился комендант-чекист и заявил, что в силу того что мы несовершеннолетние, он должен произвести ревизию и перепись наших вещей. На просьбу сделать это после похорон он ничего не ответил и заставил меня находиться с ним рядом, когда он осматривал и переписывал наше добро. В первую очередь он искал драгоценности, и в его глубоком кармане утонули и мамины гагатовые серьги, и медальон с жемчугом, и швейцарские золотые

часы — подарок отца, и еще что-то. Естественно, никакой расписки за все это он не выдал. По окончании этой «операции» я, не разбирая дороги и спотыкаясь на каждом шагу, помчалась на кладбище. Успела. Гроб только что сняли с телеги и поставили возле свежевырытой могилы, рядом с холмиком, под которым покоилась наша бабушка. Все ждали меня. Наконец, после чьей-то очень короткой речи гроб опустили в могилу, мы бросили в нее по горстке чистого васюганского песка, мужики заработали лопатами и вот уже рядом с бабушкиным холмиком вырос второй — мамин. Люди укрыли его хвойными ветками. И — конец. Мы с сестрой теперь сироты. Между первой и второй смертью в нашей семье прошло ровно две недели. Бабушка скончалась 11 ноября 1941 года, а мама — 25 ноября.

Одни

Началась наша самостоятельная жизнь. Вскоре после маминой кончины нас вновь посетила школьная учительница. Ее требования были строги: в случае, если мы будем посещать школу, получим рабочий паек, и наоборот — в случае отсутствия на уроках без уважительной причины — пайка не будет. Пришлось подчиниться, и школа спасла меня от неизвестно каких последствий, но восстановить пропущенное за три месяца было уже трудно, и я вынуждена была пойти вновь в пятый, а Ирина — в третий класс. Главное же было то, что мы ходили в школу, а это уже обязанности. Не помню, были ли у нас учебники, как обстояло дело с тетрадями, а вот чернила из свекольного сока хорошо запомнились. В классах стоял немилосердный холод, так как директриса скупилась на дрова. Одеты же мы были смешно: я стала носить мамино старое плюшевое пальто, Ира бегала в ботиночках. Вместо шапки я носила белый шерстяной платок, оставшийся от бабушки. Хуже было с обувью: остались только мамины фетровые ботинки на каблучках, но они мне были велики. Однако я приспособилась и «прощеголяла» в них всю ту зиму. И считаю, что нам с сестрой еще как-то повезло с одеждой, потому что у многих из наших ссыльных вообще не было ничего, кроме летних плащей, платочков, кофточек и сандалий.

Местные жители имели стеганые ватники, как правило уже сильно поношенные, валенки же были тоже далеко не у всех. Наша хозяйка

ходила в старых мужских ботинках, заправив в них сшитые из овчины носки, это ее спасало от холода. Кое-кому из наших ссыльных тоже выдали ватники и стеганные ватные чулки, но досталась эта роскошь, к сожалению, единицам. Наш хороший знакомый Николай Казацкий всю зиму проходил в плаще, поверх летнего костюма. Был ли на нем свитер — не помню. Шляпу он повязывал шарфом. На ноги поверх сандалий наматывал какие-то тряпки. К жизни в Васюганье Коля приспособиться так и не смог, впал в глубокую депрессию и угас быстрее других. После всего пережитого нам с сестрой нужно было как-то определиться — что нам делать дальше, как жить. От пережитого горя и вдруг возникшей ответственности я впала в депрессию, которая через месяц разразилась истерикой. Наверное, это было началом выздоровления. От голода мы несколько оправились, хотя есть хотелось по-прежнему всегда, везде и очень сильно.

Старожилы-спецпереселенцы 30-х годов и наши ссыльные после похорон мамы не скупилась на советы, как нам жить дальше. Особенно беспокоилась о нас Нина Николаевна Казацкая. Она опять стала настаивать, что готова взять нас под свою опеку, уверяла, что так хотела наша мама, и Нина Николаевна дала ей обещание не оставлять нас. Но я продолжала думать, что тут преобладали ее личные, корыстные интересы. Она почти требовала, чтобы мы перешли жить к ней. Пятистенка, в которой проживали Казацкие, стояла в самом конце поселка. Половину дома занимала семья хозяев, которая состояла из семи человек. Самый младший лежал в подвешенной к потолку люльке и непрерывно плакал. У печи на подстилке лежал теленок, все было мрачно, грязно, воздух тяжелый. Казацкие жили во второй горнице и к ним можно было пройти только через все это. Но главным в наших сомнениях было другое. Мне казалось, что в словах Нины Николаевны не было ни искренности, ни душевности, ни сострадания. Ее интересовали наши вещи, которых у нас пока еще хватало для обмена на продукты. Да и особого желания уходить от Батьковой ни я, ни сестра не имели: тут было бедно, но чисто, тепло. Да и сами Батьковы относились к нам доброжелательно. Настоять на своем Нина Николаевна так и не смогла и скоро отступилась и просто забыла о нас.

В школу вместе со мной ходили Фани Кремер из Риги и Женя Мяги из Нарвы. У Жени к тому времени тоже умерла мама, болевшая туберкулезом еще до ссылки. Из Нарвы были еще девочки-близнецы по фамилии Бух — Галя и Таня, но в школу они не ходили. А мы продолжали менять свои носильные вещи на продукты. Чаще всего это была мука или овес, продукт особенно ценный: если на старинной ручной домашней мельнице его размолоть, а потом просеять, то получалась овсяная мука, из которой мы пекли прямо на чугунной плите и, конечно же, без жира замечательные оладьи. А отруби шли на овсяной кисель. Бывало и так, что и оладьи делали с отрубями, но после этого всегда болел желудок. Когда наладился санный путь, обменивать вещи на продукты стало легче: за счет людей, которые проезжали через Ершовку, «расширился рынок». Иногда нам удавалось добыть даже мясо. А вот овощей, картофеля, капусты в зиму 1941—1942 гг. почти не было.

Стало побольше жильцов и в нашем доме. Хозяйка Анна Батькова, думаю, что из чувства жалости и сострадания, пустила в избу одну совсем нищую семью — мать с двумя детьми: одиннадцатилетним Колей и шестилетним Васей. Кто были эти люди, не знаю, но бедны они были отчаянно. Днем все трое почти всегда отсутствовали, а по ночам спали все вместе на крохотном пространстве почти никогда не топленной (изба обогревалась плитой) печи. У мальчиков от постоянного голода были совершенно тупые лица с огромными глазами. Они очень мало и редко разговаривали. Где они бывали днем, я не знаю, но старший подворовывал, где мог. Одежды на них почти не было, лишь застиранные до серости рубашки и штанишки, обуви — никакой, всю зиму проходили почти босиком, обмороженные ноги у них стали красными, подошвы в трещинах. Однажды видела: младший, Васек, сидит на дороге и выковыривая из конского помета овес, сует его в рот.

В середине зимы комендант собрал всех бездомных из нашего и соседнего колхоза и выселил их куда-то в совсем забытый Богом обезлюдивший колхоз. Отправили туда и эту семью. Мальчики ушли почти босиком, дошли ли они до места, им назначенного, кто знает... А зима была долгой. Я прослышала, что в ближнем от нас селении Медведка можно купить продукты. Чья это была выдумка, не знаю, но я дерзнула и одна отправилась в поход. Мне показали дорогу,

сказали, что это совсем близко — всего 5—7 километров. Дорога шла по тайге, но просека оказалась довольно широкой с хорошей колеёй. Иду, вокруг никого, только ясно-голубое небо, ярко светящее солнце, морозец. Лес, тишина... Одной было жутковато, но близость к чистой красоте природы действовала успокаивающе. Где-то через полтора-два часа я уже была на окраине Медведки. Бросилось в глаза, что селение побольше нашего, много улиц, избы тоже показались поопрятнее.

Так что же дальше, куда идти, ведь я никого здесь не знаю?.. Да и замерзла и подустала... Прошла по улице, постучалась в одну из изб. Дверь открыла немолодая женщина,пустила в дом, я сразу почувствовала тепло избы и рассказала о своей заботе. Хозяйка печально усмехнулась и объяснила, что я напрасно сюда пришла, Медведка тоже голодает после весенне-летнего наводнения, и никто мне ничего из еды не продаст и не обменяет, а ссыльных, в основном эстонцев, и у них предостаточно. Пришлось мне уйти ни с чем. Надо было торопиться: солнце начинало уходить за лес, а ночью в тайге одной — у-у-у! Это было мое первое самостоятельное путешествие через тайгу. Поэтому так хорошо оно мне запомнилось.

Во второй половине зимы Шура Милгравис и ее подруга полька Фрида сказали мне, что на днях они переезжают в другое селение, Моисеевку. Там нет ссыльных, и им пообещали работу счетоводами. Нам было жалко расставаться с этими женщинами. Шуре и Фриде тогда было по 32—33 года, весь путь от Риги до Ершовки мы проделали вместе. Но я уже понимала и то, что для них этот переезд — последняя возможность избежать неминуемого угасания в этой дыре. Что стало в дальнейшем с Фридой, мне неизвестно, а Шура вернулась в Ригу в 1956 году, отбив в Васюганье пятнадцать лет. Единственная из взрослых нашего вагона, попавших на поселение в Ершовку, которая выжила. Все остальные навсегда остались в Васюганской земле. Сохранились несколько ее писем из Моисеевки к родителям, о которых я расскажу подробнее чуть позже.

Мы с сестрой Ириной продолжали жить у Батьковой и ходить в школу. Ближе к весне дочь Батьковой Татьяна заявила, что «угол» арендован нам по предварительной договоренности с нашей мамой об оплате, но так как мы денег не имеем, то должны рассчитываться

своими вещами. Вероятно, это было правдой, ибо с какой стати им было о нас беспокоиться. За первый период проживания Татьяна взяла с нас фланелевое одеяло, потом мамино уже не новое демисезонное пальто, платье и еще несколько вещей. Впоследствии я узнала, что все ссыльные, действительно, оплачивали кто чем мог свои «углы». Время тянулось довольно однообразно, утром Ирина убегала в легких ботиночках в школу, ко второй смене отправлялась в школу и я. Вечером по очереди мы бегали в магазин за пайкой хлеба и делили ее на самодельных весах. Хорошо, что магазин был теперь от нас близко, и мы не успевали по пути к нему замерзнуть.

Но голод продолжал беспокоить, одолевала тоска по близким. После школы я заходила к знакомым ссыльным. Уже в январе 1942 года голодное истощение коснулось почти всех, порой доводя до животного иступления. Коля Казацкий однажды, не выдержав голода и, видимо, потеряв рассудок, вдруг украл кусок хлеба с прилавка магазина. Все стоявшие в очереди, увидев это, закричали на него. Коля, выскочил из магазина и побежал в сторону своего жилища, но споткнулся, запутавшись в своих портянках, повязанных поверх летних сандалий, и упал. Озверевшая толпа набросилась на него, избивала, а хлеб отобрала. Местные жители, понимая, что вновь привезенные ссыльные скоро начнут погибать от голода, постепенно стали вытеснять их из своих изб. Некоторых из оказавшихся бездомными комендант поселил в вечно пустующую избу-читальню, в которой не было ни печки, ни дров, и никакой мебели, кроме одного стола и нескольких скамеек. Пустовала еще изба Беловой на противоположной стороне поселка, ее хозяйку как не работающую в колхозе, выселили еще в начале зимы в другой колхоз. В эту опустевшую избу переселили всех живших у разных хозяев в домах за оврагом, в конце деревни. Когда мне об этом сообщили, я после школы направилась навестить Казацких, которым, по слухам, было очень плохо.

Мне никогда не забыть кошмара, который пришлось увидеть тогда, в конце весны 1942 года. Дверь избы оказалась открытой настежь. В абсолютно лишенной какой бы то ни было мебели серой избе, от самых входных дверей до противоположной стены лежали в ряд, вытянувшись на спине Казацкие Нина Николаевна и ее сын Коля, мама Бух с дочками Таней и Галей, Штольцер и еще какие-то люди,

которых я не узнала. Все были страшно истощены, оборваны, на лицах только скулы торчат, глаза полузакрываются. Они почти не двигались, не говорили, лишь издавали какие-то звуки — не то стоны, не то вздохи, а то и просто выли. На мой приход никто из них никак не прореагировал. Мне стало страшно. Я выскочила из избы. Чем я могла помочь этим обреченным, чем? Я и сама к концу зимы опять отчаянно исхудала, и меня шатало от голода и слабости.

Прошло несколько дней. Я возвращалась из школы, шла к верхнему, полуразрушенному прошлогодним наводнением мосту через овраг. Уже собиралась по дощечкам перебраться на противоположную сторону, как вдруг увидела, что следом за мной едет телега. Рядом с ней брел возчик, а за ним женщина, в которой я не сразу узнала Нину Николаевну. Она вздымала вверх руки, спотыкалась, падала, снова поднималась и громко причитала, почти кричала. Опомнившись, я разглядела в телеге что-то, замотанное в какое-то тряпье. Это был Коля Казацкий, навсегда покинувший этот мир. Бедный, бедный Коля!.. Трудно было себе представить, что это тот самый жизнерадостный и находчивый молодой человек, талантливый и уже замеченный специалистами и публикой рижский художник. Я долго хранила его последнее произведение, мой портрет, написанный им в Ершовке на обратной стороне клочка старых обоев обычным углем из печки. Портрет этот каким-то образом пропал в детском доме, о чем я до сих пор очень жалею. Страшная участь не миновала и семью Левенсон. Она погибала в соседней с нами избе. Когда я их навестила, добродушный и пытливый Лева уже умер, а немощная сестра его сидела на кровати, поджав колени и что-то тихо пыталась сказать (или прошептать). Понять ее было уже невозможно. На следующий день и ее не стало. Бедная мать от горя потеряла рассудок и скончалась, пережив детей всего на неделю.

Потрясла меня судьба семьи Брюниных из Нарвы. У них ничего с собой не было, так что менять что-то на пропитание они не могли и страшно голодали. Восемнадцатилетних девушек-двойняшек отправили в урман на заготовку пихты. Возможно, колхозники надеялись, что повышенный хлебный паек, выдаваемый там, их спасет, но было уже слишком поздно — девочки уже были истощены до крайности. Антон Батьков вывез их обеих из тайги, и через два дня они тихо скончались. Их мать и брат еще пытались бороться за жизнь,

ловили лягушек, каких-то насекомых и прямо на месте их поглощали. Потом умер и мальчик. Мать, вся в черном рванье, с изуродованным горем лицом и безумными глазами, опираясь на клюку, ходила по избам, стучала в окна, выла, рвала на себе волосы, пыталась что-то сказать. Я хорошо помню ужас, который охватил меня, когда однажды она заглянула и в наше окно. Через неделю прямо на дороге она упала и затихла навсегда. К концу мая не стало еще многих. За зиму истощала и я. И возможно, что меня постигла бы та же участь, если бы Таня Батькова не заставила нас с Ириной выйти на работу. И вот мы идем на прополку колхозных полей. Впереди, как всегда, бодрым шагом шла Таня, за нею — женщины-колхозницы. По пути ели молодые стебли хвощей. Уставали страшно, но зато после работы нас ждал сваренный на костре обед — крапива, заправленная ржаной мукой. Наверное, эта крапива нас и спасла. Прошло еще какое-то время. В июне вверх по Васюгану, к Майску, пошли катера и баржи.

Неожиданно нас вызвал к себе комендант и объявил, что меня и сестру, как несовершеннолетних, направляют в детский дом. Собраться надо уже сегодня, потому что завтра приплывет с верховьев баржа, которая нас заберет. Мы это известие приняли спокойно, без волнений и протеста. Местные жители, оказывается, уже знали о том, что всех сирот отправят в детские дома, но услышав, что это случится так скоро, всполошились. Известие о нашем отъезде мгновенно облетело всю Ершовку. Местных, конечно же, интересовало наше барахло. От предложений обменять то или другое не было отбоя, при этом они стали предлагать откуда-то вдруг взявшиеся картофель, шанежки и т. п. Даже не верилось, что все это можно будет получить и накушаться. Предлагая нам продукты, местные уверяли, что в детском доме все вещи у нас все равно отберут и переоденут в детдомовское. Так оно и случилось.

В последний раз я сходила на заброшенное кладбище, нашла сильно осевшие за зиму могилки бабушки и мамы, обложила их свежей хвоей и над ними пыталась обдумать все, что произошло с нами за минувший год, но мозг отказывался воспринимать прошедшее. Все во мне словно окаменело. (Через много-много лет, в 1991 году, в Риге, на родовом участке Покровского кладбища я

установила памятник бабушке и родителям, могил которых не нашла ни в Усольяге, ни в Ершовке. Да и самой Ершовки уже давно нет...) Вернувшись, кое-как увязала узлы с вещами и попрощалась с остающимися спутниками по вагону: Ниной Николаевной, Штольцер, обоими Кремер и мальчиком Яшей, которому доверили должность продавца в магазине. Простилась и с хозяевами дома, приютившего нас. Спустилась к реке и стала ждать баржу, которая увезет нас — снова в неизвестность...

Айполовский детский дом (июнь 1942 – август 1944 г.г.)

...Небольшая баржа, ведомая буксиром и нагруженная что называется «под завязку», причалила к Ершовке. На нее погрузили наши узлы, значительно отощавшие за зиму, а также нас с Ириной, Женю Мяги и Галю Бух. На барже уже были пассажиры: осиротевшие дети из ссыльных эстонских семей, живших на поселении в Майске.

Кое-как разместившись на ящиках и тюках, сложенных на палубе, мы поплыли, на этот раз уже вниз по течению Васюгана. По еще не опавшей весенней воде баржа двигалась споро. День был теплый, солнечный, вокруг зеленела тайга, но о таежных красотах как-то не думалось, больше беспокоили мысли о нашем предполагаемом будущем. Уже почти ночью на остановке в Огнев Яре, где тоже жили на поселении ссыльные из Риги, к нам посадили потерявшую мать и брата мою ровесницу Эрику Менгельсон, Эдиту и Сильвию Симанис и еще кого-то, чьих имен я не помню. Все они, как и мы, направлялись в детдом.

На палубе баржи мы провели сутки, когда подошли к знакомой по прошлому году остановке Айполово. Матросы объявили, что следующая пристань — Дальний Яр, где нам предстоит выгрузка и что стоянка будет очень недолгой. Между Айполово и Дальним Яром река делала крутую излучину, которая удлиняла путь в несколько раз, в то время как по проселочной дороге между поселками было меньше одного километра. К вечеру мы достигли Дальнего Яра. На берегу баржу поджидали ребяташки и несколько взрослых. От группы взрослых отделился интеллигентного вида мужчина среднего роста, со слегка вьющимися волосами, в очках. Он представился директором детского дома, сказал, что все вещи отвезут на склад,

ручную же кладь (ее должно быть немного) мы оставим в клубе, а сами пойдем мыться в баню, после чего нас ожидает ужин и распределение по группам-классам.

Подошли и другие воспитатели, тоже представились, на телеге подъехал заведующий складом, сложил на нее наши узлы, и объяснил, что нам не стоит беспокоиться, все вещи будут храниться до того дня, когда мы будем покидать детдом. В действительности же все оказалось, конечно, не так: к тому времени, когда нас «трудоустроили» и мы покинули детдом, половины наших вещей мы не увидели, их просто разворовали.

Окрестности Дальнего Яра отличались от Ершовских, но было в них и что-то общее. По левому берегу так же зеленела тайга, ниже по течению, у излучины, виднелся крутой косогор, сложенный светло-желтым суглинком, у берега выстроились несколько добротных домов, один из них — двухэтажный.

Приезжих детей построили парами и повели в сторону клуба, к детскому дому, который состоял из нескольких построек. До клуба мы шли минут десять по сухой песчаной проселочной дороге, миновали несколько бревенчатых домов, окруженных картофельными полями. В клубе мы оставили всё, что несли с собой, и направились обратно к реке. Банно-прачечный комплекс расположился у самого берега. Встретила нас неприветливая кастелянша Зинаида Ивановна, которая провела нас в предбанник, где мы разделись. Потом вошли в просторную баню с окнами, горячей железной печкой, бочками с водой, кадушками и вениками. Банщица, радушная женщина, объяснила что и как и велела мыться. Выдали нам даже хозяйственное мыло. Так я не мылась уже более года! У Батьковой в Ершовке иногда обмывались в корыте, а тут — такое раздолье! Но после этого удовольствия меня ждало и разочарование, когда несимпатичная Зинаида, забрав мою одежду, выдала взамен ее другую, чистую, но совершенно заношенную: стиранную-перестиранную юбку и кофту неопределенного цвета, мало мне подходившую по росту. На мое возражение, она грубо ответила, что теперь мой удел — подчиняться и быть довольной тем, что дают. Так и осталась я в этом уродливом наряде.

После ужина мы вернулись в клуб, он был открыт, на полу валялся мой рюкзачок, совершенно пустой, от всего остального тоже почти ничего не осталось. Кто-то, пока мы мылись, учинил здесь настоящий разгром. Расстроенная, я отправилась в указанное мне помещение, где предстояло жить. После Ершовки здесь было даже совсем неплохо. В коридоре меня встретила «няня» (почему-то в детдоме всех уборщиц, сторожих, поваров называли нянями) и воскликнула: «Новенькая, в какой класс?». Я ответила, она открыла дверь в одну из комнат и показала мою койку: «Вот твое место, располагайся!», — и ушла. Комната небольшая, угловая, три окна, на подоконниках герань, три железные кровати, одна из которых теперь стала моей, вешалка, две тумбочки, стул — вот и вся обстановка.

Дом, в котором мы поселились, не был похож на избу. Он представлял собой прямоугольное бревенчатое здание, внутри него по всей длине шел коридор шириной метра два, заканчивавшийся окном, поэтому днем в нем было относительно светло. По обе стороны коридора располагались комнаты общежития, а между ними чуть выступали из стен обычные печи. В конце коридора был длинный умывальник, который летом выносили во двор. В тридцати метрах от здания располагался туалет, отдельный для мальчиков и для девочек. На моей, уже застеленной койке лежала одна простыня, ватная подушка и байковое одеяло. По сравнению с тем, в каких условиях мы жили весь прошедший год, все было вполне приемлемо.

Вскоре подошли две девочки, с которыми мне предстояло жить и общаться два года. Первая — Валя, худенькая, востроносенькая, остриженная наголо (месяца два назад она чем-то переболела). В своем сером платье она была похожа на мышку. Вторую девочку звали Тамара, моя тезка. Крупная, с черными, чуть вьющимися волосами и довольно грубыми чертами лица, которые как бы подчеркивались ее чуть хрипловатым голосом. Обе, как выяснилось, тоже должны пойти в шестой класс, и пока нас, шестиклассниц, было всего трое. Мою сестру Иру определили к четвероклассникам, и видеться нам теперь приходилось довольно редко. Кроме того, в детдоме почему-то возбранялось общаться с детьми из других групп, и если я хотела увидеть сестру, мне надо было заручиться

разрешением воспитательницы. Впрочем мы научились обходить эти запреты и встречались тайком.

Знакомство с Вале́й и Тamarой прошло без каких-либо эмоций. Девочки между собой дружили, я же с ними просто общалась, как с соседками по комнате, группе и классу. Воспитатели относились к нам неплохо, но они очень часто менялись, поэтому не очень запомнились. Функции у них были простые: объявить подъем, всех построить и отвести на завтрак, обед или ужин и проследить, чтобы все были на местах. В общежитии жили девочки и мальчики шестых и седьмых классов, то есть старшекласники. Дети из младших классов, начиная с первого, располагались в других помещениях, разбросанных по просторному двору детдома. Дошколята жили совсем отдельно, у них была своя воспитательница, и мы с ними не общались, да это и не одобрялось. К вечеру здание, в котором меня поселили заполнилось подростками. В комнату для мальчиков поселили Женю Мяги, а вот моих одноклассников Эрику Мендельсон и Эдит Симанис определили в младшие классы, так как они не знали русского языка. Думаю, им там приходилось очень несладко, потому что младших селили в огромные помещения, чуть ли не по 25-30 человек, да и «контингент» был иной.

Первую ночь на новом месте я проспала крепким сном: масса новых впечатлений, сутки дороги и тревожный ночлег на открытой палубе баржи отняли немало сил. Утром, около половины восьмого, меня разбудили требовательный голос воспитательницы и звуки гонга со двора. Спросонья я не сразу сообразила, где нахожусь. На душе стало вдруг тоскливо от всего, и от строгой дисциплины, к которой я не очень привыкла, в особенности.

Нас снова построили парами и повели на завтрак в столовую, которая находилась недалеко от реки в так называемом административном корпусе. Рядом располагались детдомовский склад (куда свезли наши вещи) и двухэтажное здание, где разместились директор, бухгалтерия и прочий административный персонал. Тут же находились швейная и столярная мастерские. Рядом был большой четырехкомнатный дом, в котором первоначально жили семьи завуча и заведующей швейной мастерской, а позднее поселился новый директор. После завтрака

девочек пятого и шестого классов, в том числе и меня, повели в швейную мастерскую, где нам надо было чинить одежду воспитанников, ее грудями приносили из прачечной, просматривали и по необходимости ставили латки. Одежда была страшенькая, но ведь — война!..

Заведовала швейной мастерской Марья Ивановна, властная, малообразованная и плохо воспитанная женщина, жена местного администратора. Ее помощницей оказалась Домна Артамоновна, совсем другой человек — мягкая, неуверенная в себе. Она, как я впоследствии узнала, была из ссыльных: муж был расстрелян, а ей определили «вечное поселение». Меня посадили за швейную машинку. Работа была примитивная — сажать латки на одежду воспитанников, — но у меня не ладилась: не было у меня способностей ни к шитью, ни к рукоделию. Да и желания особого тоже... Но Домна Артамоновна, как могла, объяснила и показала что и как надо делать, и вдруг что-то начало получаться.

Все воспитанники детдома после завтрака и «тихого часа» ходили на какие-нибудь работы: окучивать картофель, чистить на кухне к обеду и ужину овощи, поливать детдомовский огород и т. д. Слоняться без дела не давали. К осени работы прибавилось: мы и лен дергали, и сено в копны складывали, и картофель копали...

За лето я познакомилась с окрестностями. Дальний Яр, как и Ершовка, Огнев Яр, Медведка и другие васюганские селения был построен в тридцатые годы пригнанными сюда из южной части Сибири и Алтайского края раскулаченными крестьянами, судьбу которых тоже определяли голод, холод, болезни и очень высокая смертность. Но, по сравнению с Ершовкой, зажатой между болотами, Дальний Яр был построен на месте выкорчеванного соснового леса, который местами уже вновь поднимался. Менее чем в километре от поселка возвышались так называемые увалы — холмы, на которых когда-то росли могучие леса, почти все вырубленные. Нянечки нам рассказывали, как они рубили и очищали от веток деревья, а потом на себе тащили бревна к стройплощадкам. Именно так были построены все дома детского дома.

На вырубках и делянках, среди пней, багульника и зарослей кустарника, созрела земляника, и за ней ходили все детдомовские ребята, в том числе и я успела кружку ягод набрать. А какая красота была вокруг, сухо и комаров почти нет. Можно встретить шустрюю белочку, очень смешного зверька — бурндука, у которого на спине пять черных полосок. Нас детей он не боялся, подходил совсем близко, видно, ему было любопытно, что мы тут делаем. А какие запахи! Багульник, вереск и что-то еще таинственное и волшебное...

Как-то на увалах случился пожар, это было страшное зрелище, но набежали тучи, принесли дождь, и пожар потух.

За малиной ходили на косогор около реки. Часть его была распахана под какие-то сельхозкультуры, но на опушке леса росла сочная лесная ягода. Чернику, а ее было очень много, надо было собирать в болотистой тайге, где одолевали тучи комаров и мошки. Туда я ходила всего лишь один раз. Почти рядом с Дальним Яром был поселок Айполово — старинное остяцкое селение. Жили там и русские крестьяне. В Айполово мы ходили в школу, через все тот же сосновый лесок.

Как я уже рассказывала, нас поднимали в половине восьмого и после утренней уборки все шли на завтрак, который состоял из кружки чая — сладковатого напитка, чем-нибудь покрашенного, и двухсот граммов черного хлеба. Всеми особенно ценилась его горбушка. Конечно, это было далеко не обильно, но зато — ежедневно. В час дня собирались на обед, который всегда состоял из двух блюд. На первое — какой-нибудь жидкий суп с овощами, иногда с вермишелью, мясо в нем тоже бывало, но... около двух килограммов на 180 ртов. На второе подавали по поварешке мучной затирухи, или тушеную морковь, капусту, зимой всегда подмороженную. Хлеба в обед и ужин выделялось уже всего по сто граммов на человека. Полной сытости такой обед не давал, и когда мы выходили из-за стола, казалось, что кушать еще больше хочется, и мы сразу же начинали ждать ужин. На ужин нам выставлялось опять какое-нибудь второе и сто граммов хлеба, редко — по стакану молока, иногда по шесть-семь оладушек, что казалось совсем большим праздником. Ощущение голода ощущалось всегда, но от полного истощения мы были, к счастью, ограждены.

За два года моего пребывания в детдоме от голода не погиб ни один из воспитанников. Умерли трое детей местных остяков, но их подкосил туберкулез, который издавна стал злым спутником коренного населения этого края. Было заведено у детского дома и подсобное хозяйство, продукты с которого частично попадали и в нашу столовую. Я не знаю, сколько в нем было коров, но помню краснощекую, всегда улыбающуюся доярку — высланную немку. Она в чистом белом халате и такой же косынке шумно входила в кухню, заносила ведра с молоком, но почему-то это случалось не ежедневно. Молоком забеливали чай, на нем варили каши и иногда давали по стакану в чистом виде. При детдоме были свои огороды и картофельные поля, урожай с которых осенью убирали сами дети — привольное время, когда жгли костры, грелись у них и пекли картошку — это никак не возбранялось. Зимой из ближайшего колхоза привозили кормовую морковь и, как правило, уже подмороженную капусту.

Большим лакомством считался овсяной кисель. Овес выписывали для лошадей, но администрация умудрялась выделять какую-то его часть и для детского питания. На советские праздники — октябрьские или первомайские, а также к Новому году — из сэкономленных на повседневных пайках продуктов для детей пекли пироги и шанежки. Повара, как добрые волшебники, доставали из огромной русской печи великое множество разной сдобы — с капустой, картофелем, просто булочки — с повидлом или без него. Пекли все это роскошество из пшеничной и ржаной муки, и столько, что два-три дня все дети были по-настоящему сыты. До следующего праздника.

Детдомовские будни продолжались и я ко многому привыкла: и к тому, что летом очень докучали оводы и комары, что у меня не было никакой обуви, и приходилось ходить босиком до самой осени. Очень удручало отсутствие книг. В заброшенном клубном шкафу мне как-то посчастливилось найти прекрасно изданную, с фотографиями и иллюстрациями, книгу о папанинцах и их работе на станции «Северный полюс». Находка эта была для меня очень дорогой, я ведь с девяти-десяти лет интересовалась Севером. Я положила книгу в свою тумбочку, но однажды, войдя в комнату вижу: тумбочка раскрыта, книга на полу, и девочка по фамилии Акользина из нее вырезает картинки. От такого вандализма я пришла в ужас, а

Акользина посмеивается и радуется: сделаю красивый плакат. А книгу уже больше невозможно было читать. Много еще случилось таких неприятных и непривычных мелочей, но приходилось мириться.

В конце лета девочек пятого и шестого классов, в том числе и меня, отправили на уборку льна. Поселили в полевой избе, без каких-либо удобств, на нарах. По утрам воспитательница поднимала всех и мы выходили дергать лен. Работа была непривычной и оказалась трудной. Я изрезала в кровь все пальцы, а девочки смеются — мол, привыкай! К счастью, командировка эта длилась всего неделю, и мы вернулись в детдом.

Близилась осень, вниз по реке уходили последние баржи, катера и курсирующий здесь белый колесный пароходик. На одном из последних рейсов увезли призванных на фронт директора и заведующего складом. Последний с фронта вернулся, а вот директору не повезло: он попал в эшелон, который немцы разбомбили в прифронтной полосе. Мы его очень жалели: хороший и порядочный был человек

Тогда же увезли «на трудоустройство» несколько детдомовцев, достигших 16—17 лет. Среди них оказалась и Таня Дорошенко, помощница и любимица поварихи няни Фени. После отплытия того парохода в детдоме вдруг стало удивительно тихо, как будто все вымерло. Я в ожидании ужина оказалась возле кухни. Неожиданно на ее крыльце показалась няня Феня, главный повар детдома, высокая, худая, с большими ногами, вся какая-то нескладная, но очень требовательная, строгая, разборчивая, порой шумная и крикливая, но в то же время — добрая, любимица всех детей. Ее и побаивались, и обожали. Заслужить у нее похвалу и ласку означало многое. Говорила она с сильным украинским акцентом и в ее речи было много украинских слов. Я услышала громкий голос няни Фени: «А что ты тут делаешь, у меня ужин опаздывает, всех помощников на пароходе увезли, так хоть ты иди помоги!». Не ослышалась ли я — работать на кухне было мечтой каждого детдомовца. Я не заставила себя ждать, пошла следом за няней Феней, быстро надела чистый белый халат и стала выполнять ее указания. Моя работа пришлась поварихе по душе: девочка я была расторопная, аккуратная и

сообразительная. Няня Феня усадила меня за кухонный стол, налила стакан молока, дала кусочек масла на мой хлебный паек и полную миску того, что было на ужин. Ох, как я наелась тогда, как все было вкусно! Больше года, не пробовала масло!

Няня Феня обо многом меня расспросила, сказала, что все понимает, что и ее выслали сюда в 33-м, а на прощание попросила меня придти утром. Я такого теплого к себе отношения не испытывала давно. Конечно, утром пришла, а няня Феня договорилась с администрацией, чтобы меня назначили постоянной помощницей. Я тоже была довольна, так как понимала, что работая на кухне всегда буду относительно сыта. Но работа оказалась не из легких. Надо было из колодца натаскать воду, помогать при готовке пищи, мыть котлы. Очень важно было точно нарезать и взвесить каждую пайку хлеба, а их было около ста семидесяти. Однако довольно скоро я приспособилась и выполняла свою работу довольно споро. Это, конечно, не латки садить на старую одежду. А жить стало сытнее. Правда, среди моих сверстников нашлись и завистники, но что делать! Жизнь везде жизнь.

После отъезда директора замещать его в детдоме стала завуч Матрена Графовна, видная, похожая на армянку смуглая женщина средних лет. Была она очень высокомерна, и не только с воспитанниками, но и с подчиненными ей воспитателями. Жила она в половине пятистенного дома у самой реки, ее соседкой была заведующая швейной мастерской, которая вместе с семьей последним в эту навигацию пароходом покинула Дальний Яр. Мне надменная Матрена запомнилась тем, что на складе взяла себе из наших с сестрой вещей серебристую лисицу нашей мамы, и, не стесняясь, стала в ней щеголять. Я не смолчала, но лисица на склад не вернулась, однако полагаю, что это стало одной из причин того, что Графовну скоро уволил новый директор, появившийся в детдоме в ноябре 1942 года.

Незаметно накатила осень, и, как всегда, первого сентября начались занятия в школе. Я попала во вторую смену. Шестиклассников из детдома оказалось всего восемь — три девочки и пять мальчиков. Остальные ученики были из поселков. Эрика Менгельсон, хотя и

была старше меня на год, из-за слабого знания русского языка пошла лишь в четвертый класс.

Школа представляла собой новое бревенчатое здание, построенное в виде буквы Г. Вокруг него — небольшой двор, окруженный лесом. Здесь школу отапливали нормально, мерзнуть не приходилось. Учителя были разные. Историю преподавала директор школы Берестовская, ее уроки проходили бесцветно, а вот занятия по литературе и русскому языку вел Александр Иванович Жуков. Это был Учитель с большой буквы, уроки которого запомнились на всю жизнь. К сожалению, его очень скоро мобилизовали в трудармию¹. Что это такое, знал тогда каждый. Александра Ивановича сменила учительница Панова, которая ничем не запомнилась. В списке учебных предметов у нас отсутствовали иностранный язык, черчение, рисование, пение и гимнастика, зато было военное дело, где занятия проводил малообразованный военрук, инвалид войны. Впрочем, управляться с гранатой он меня научил. Интереснее обстояло дело с алгеброй, геометрией, физикой, географией, естествознанием и впоследствии с химией. В августе 1942 года в поселке появилась необычная для здешней глухомани пара. Он был лет тридцати пяти — сорока, высокий, в городском коричневом костюме, она — значительно моложе, в синем костюме. Видели их всегда только вместе. Поползли слухи: кто такие? откуда? Затем я, по тем же слухам, узнала, что будущие наши учителя бежали из горящего Харькова, когда в него уже входили немцы, оба они были из Харьковского университета, где он преподавал, а она была студенткой-дипломницей. Почему их занесло в Васюганье, где беженцев не было, лишь одни ссыльные, было тайной и осталось тайной. Милая интеллигентная пара стала учителями. Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. И он, и она преподавали доступно и интересно. С учебниками было трудно, но шестиклассники-детдомовцы обходились, так как жили в одном здании и могли обмениваться ими. Я в учебу втянулась быстро, вошла, как говорится, в колею.

Зимой рано темнеет, электричества в школе не было, поэтому последние уроки второй смены проходили в темноте, но иногда приносили коптилку — пузырек с керосином, в который был опущен фитиль. В общежитии вечерами мы садились у открытой печки и,

ловя свет от пламени, готовили заданные уроки, если не переносили их приготовление на утро. Итак, новая школа, шестой класс, новые учителя и вообще — всё новое для меня. Благодаря удивительному учителю очень хорошо пошли алгебра и геометрия...

Кухню, однако, не бросала: няня Феня просила, чтобы я приходила ей на помощь. Теперь, если надо было работать с утра, приходилось вставать раньше шести и трудиться до обеда, когда же наша смена приходилась на вечер, я бежала на кухню уже после школы. Кухня и столовая все военные годы были самым привлекательным местом для детдомовцев. В лето-зиму 1942 года там даже существовал определенный порядок, который с приходом нового директора изменился. На кухню в определенной очередности назначались дежурные и несколько воспитанников для того, чтобы напилить и наколоть дрова, почистить картофель. Возглавляла кухонное хозяйство все та же няня Феня. Она сильно страдала от язвы желудка и впоследствии легла на операцию, после которой на работу в детдом уже не вернулась. Ее «ушли», но об этом ниже.

Помощницей няни Фени, вернее — вторым поваром, работала няня Маруся, которая жила в том же общежитии, где поселили нас. В малюсенькой комнате площадью 5—6 квадратных метров жили трое: Марусина сестра, которая убирала общежитие, сама няня Маруся и ее сын Алик трех-четырёх лет от роду. Мы с няней Марусей нашли общий язык, она тоже меня предпочитала другим помощникам, ее устраивала и моя готовность работать в удобные для нее смены. Работая в кухне, я многому научилась: правильно и быстро готовить, вести хозяйство. Приучили меня и к чистоте.

Как тогда водилось, 7—8 ноября был праздник и в честь него в заброшенном клубе навели порядок и собрали воспитанников на доклад и концерт, где я тогда впервые услышала песни «Синенький скромный платочек» и «Крутится, вертится шар голубой». Это был мой первый советский праздник, потом их было много. Он мне хорошо запомнился, потому что за хорошую учебу мне вручили подарок — батист на блузку.

Пришла зима и с нею морозы, а одета я была по-прежнему в мамино плюшевое пальто, бабушкин вязаный платок. Но вот удача:

выдали, наконец, валенки! И хотя я в них утонула, они были не то 43-го, не то 44-го размера, но ноги теперь были в тепле. Не помню по какой причине нас, троих шестиклассников, вдруг объединили с большой группой пятиклассников и заставили перейти в другое помещение, громадное и холодное, где разместились не менее тридцати воспитанников. Про уют пришлось забыть, здесь не было даже стола, чтобы готовить уроки. Шум, гам, ссоры девочек, постоянный холод и страшный туалет, один на три здания, в которых жили дети. Все это отозвалось во мне тяжелой болезнью. Она пришла постепенно: пожелтели ногти, глазные яблоки, кожа... Потом совершенно пропал аппетит. Началась лихорадка, меня трясло, я окончательно слегла.

Врача в детдоме не было, только фельдшерица. Почему-то она не положила меня в свой изолятор (одна комната на четыре койки), а оставила трястись от лихорадки и погибать в этой громадной, шумной и холодной комнате. От еды я отказалась совсем. Сочувствующие мне девочки собрали матрацы и пытались как-то утеплить меня, но тщетно: дело принимало скверный оборот. Фельдшерица принесла какую-то соль и заставила ее пить. Обеспокоились и повара — через девочек посылали мне морковь, уверяя, что надо ее есть, хотя бы и через силу. Болела я долго, но и на этот раз мой ангел-хранитель не дремал, начала понемногу поправляться. Так я и не узнала, что это было — желтуха или попали вместе с васюганской водой в меня какие-то паразиты... Но еще много лет печень не давала про себя забыть, стоило только съесть что-то жирное, молочное или просто обильно поесть. За время болезни я немного поотстала в учебе, но быстро освоилась училась снова хорошо. Через какое-то время смогла и помогать на кухне, где мне уже доверяли и кладовую, и склад продуктов. Поварихи объяснили: «Сильную всегда найдем, а вот честную — труднее!». Но в ту же зиму меня поджидала еще одна беда.

Контингент детдомовцев был очень пестрым. В основном это были дети репрессированных в разные годы сталинских пятилеток кулаков и других «неблагонадежных элементов». Но были и дети уголовных преступников. Они во многом задавали тон и их побаивались. Это они заставляли малышей выносить из столовой хлебную пайку и отдавать ее им. Воспитатели бороться с этим злом не умели. Иногда

за малышей вступались мальчишки старших групп, которые действовали силой — просто колотили хулиганов. Но это помогало ненадолго. К сожалению, такие типы не поддаются никакому воспитательному воздействию. Особенно неприятен был Акользин, его сестра-воровка мало в чем ему уступала.

Однажды, когда я дежурила на кухне, няня Феня, мучаясь от приступов язвы, где-то уединилась. У нас существовал порядок: если после раздачи основных порций суп в котле еще оставался, его выносили в столовую и разливали поварешкой добавку. Среди детдомовцев это обычно вызывало ажиотаж: «Мне, мне!», — кричали со всех сторон. Задача была непростая, так как наиболее шустрые старались получить дополнительно не одну порцию, а побольше, оставляя таким образом другие столы без вожделенных добавок.

Так случилось и на сей раз. Я вышла в столовую с добавкой. За первым столом сидели самые хулиганистые мальчишки. Стала разливать и вижу: прячут уже полученную порцию под стол и требуют еще, в другую миску. Я понимаю, что если стану попустительствовать, то на последние столы мне супа не хватит. И решила поступать принципиально: не дала Акользину ни вторую, ни третью добавку. И этот юный злодей решил мне отомстить.

Обед закончился, в кухне было еще много работы, так как кроме меня там никого не оказалось. Взямась за самую трудную и неприятную свою обязанность — мыть котлы, вмазанные в печь, и не заметила, как вошел Акользин. Он тихо подкрался и ударил меня с такой силой, что я отлетела не несколько метров и ударилась правой рукой о стену. Боль в запястье была такая, что в глазах потемнело. Акользин же, довольный, ушел: отомстил. Не помню, как я добралась до общежития. Фельдшерица нашла, что у меня сильное растяжение мышцы, но ничем не помогла. А я тогда всю ночь не спала, а потом рука больше месяца болела и ныла, ни писать, ни что-либо делать я не могла. А няне Фене было все хуже, и когда ее мучила язва, она забивалась в кладовку, ложилась там и стонала от боли. В таких случаях вся работа доставалась мне.

Однажды, именно в такое мое дежурство в кухню пришла старший воспитатель Вера Павловна и сообщила, что завтра комиссия будет проверять количество продуктов, закладываемых в котел, и чтобы я ничего не готовила до их прихода. На второе предполагалось готовить знаменитую затируху: из муки, замешанной на воде, делают мелкие комочки, которые бросаются в кипяток. Получалось что-то вроде сваренной лапши. Во время войны это было большое лакомство.

Наступило завтра, я опять одна готовлю обед, а он обязательно должен быть точно в тринадцать ноль-ноль. Смотрю на часы — уже двенадцать. Если я и сейчас не начну, то никак не успею к назначенному времени. А комиссии все нет. И я решила, что сегодня ее уже и не будет. Не подумала, в каком государстве я живу и что время военное. Подождав еще чуть-чуть, взялась за муку, засыпала ее в корыто и стала обрызгивать водой и втирать ее в муку. Сколько вылила в то корыто воды, не заметила.

Вдруг дверь в кухню открывается и входит комиссия из пяти-шести воспитателей во главе с Верой Павловной. На грозный окрик «Я же предупредила — ничего не трогать!», — я ответила, что время не позволяет больше ждать. Тогда Вера Павловна потребовала собрать все содержимое из корыта в какую-то более удобную посуду, взяла весы-безмен и стала взвешивать, при этом потребовала показать, сколько было влито воды. К сожалению, я не помнила, сколько точно ее вливала, делала это на глаз. Тогда Вера Павловна заявила, что не хватает примерно полтора-два килограмма муки. Начался унижительный допрос. Я встала на защиту няни Фени, рассказав, как она больна. Но комиссия все же составила акт о том, что обнаружена недостача. Не знаю, что там было дальше, но дело получило ход. Думаю, что все это было грубой провокацией.

Скоро няня Феня вынуждена была уехать домой в Новый Васюган и лечь в больницу. Там ей сделали операцию. На работу в наш детский дом она не вернулась. В конце лета она появилась, вызвала меня во двор и, вынув из сумки несколько десятков завернутых в тряпицу новых ложек, какими мы пользовались в детдоме, попросила положить их незаметно в посудную. Объяснила, что дети часто крадут ложки (такое, действительно, случалось: со склада получали

миски, ложки, другую посуду, но проходило совсем немного времени и их как не бывало. Няни ссылались на детей, мол, они растаскивают. Но я никогда в общежитии посуду не видела, странно все это было как-то), а она сдает дела и неизбежна проверка. Отказать ей я не могла. Няня Феня уехала, но столовая работать не перестала. Через какое-то время, с появлением нового директора, там многое изменилось. На кухне появились новые повара, в том числе и сестра самого директора.

Как-то, уже весной, меня пригласили в контору детдома. Я почему-то заволновалась. Предчувствие меня не подвело: в отдельном кабинете сидел мужчина (что это следовательно я догадалась потом), который стал меня допрашивать по пунктам акта, составленного воспитателями за недостачу муки в тот злополучный день. Я сообразила, что мне надо отрицать пропажу муки и попытаться объяснить, что виновата лишь в том, что не могла определить точное количество залитой в муку воды. Следовательно же склонял меня к обратному. Допрос был долгим, но я понимала, что малейшее слово, неправильно мною сказанное, погубит няню Феню, и стойко держалась своей версии. Можно было бы на этом и закончить, но ходили слухи, что в Новом Васюгане у няни Фени были большие неприятности.

В июле 1944 года группу старших детдомовцев, в том числе и меня, отправили в Новый Васюган для получения удостоверения личности. Паспорт даже детям спецпереселенцев не полагался, чтобы не сбежали из мест ссылки. Мы шли пешком по темной тропинке, дважды на лодке пересекали реку и к вечеру оказались в районном центре, голодные (паек съели в дороге) и смертельно усталые. На ночь нас определили в школе, в пустом классе. Я надеялась, что в Новом Васюгане смогу увидеть Нину Николаевну Казацкую и няню Феню, и решила их разыскать. Но надо было поторапливаться, потому что уже на следующий день, сразу после полудня, нам предстоял обратный путь — все те же двадцать километров. Поселок был невелик, и я скоро уже знала адреса своих старых знакомых.

Сначала отправилась к Нине Николаевне, быстро нашла дом, в котором она жила и увидела ее, идущую с работы. За прошедшие два года она страшно изменилась и превратилась в сгорбленную старуху,

одетую в стеганку, из всех дыр которой торчали куски грязно-желтой ваты. Меня она узнала, мы вошли в горницу, в которой она занимала угол. Здесь проживало несколько человек ссыльных, но в этот момент никого из них дома не оказалось. Я поразились ветхости и убогости жилья. На чем люди спали, на чем ели, сидели? Ни кроватей, ни топчанов, ни табуреток, ни скамеек, ни стола — ничего, только в углах кучки какого-то невообразимого тряпья. Я присела на край чего-то в углу Нины Николаевны, она устроилась напротив, тоже на что-то чудовищно ветхое. Разговор не клеился. Нина Николаевна рассказала, что в Новом Васюгане она уже больше года, что нашелся ее муж, он жив, но где и что с ним — не сказала. А ведь он был вместе с моим папой! Сообщила, что госпожа Штольцер умерла, и в Ершовке из рижан никого не осталось. Потом откуда-то достала миску с едой и стала есть, не обращая больше на меня внимания. Поняв, что наша встреча ей неприятна и неинтересна, я простилась и ушла. На улице еле отдышалась после всего увиденного и услышанного.

Впоследствии я узнала, что Нина Николаевна не дождалась своего супруга, скончалась, а он каким-то чудом выжил в Усольяге, получил ссылку и поехал в Новый Васюган к жене, но уже не застал ее в живых и в 1948 году оказался в Риге. Что с ним было дальше, к сожалению, не знаю. А я в тот же вечер, придя в себя после встречи с явно потерявшей рассудок Ниной Николаевной, направилась к няне Фене, где меня ждало ещё одно горькое разочарование.

Я ожидала, что мы встретимся как старые друзья, но няня Феня, увидев меня на пороге, очень сухо поздоровалась, спросила какими судьбами я здесь появилась и даже не пригласила к столу, где дымились только что испеченные оладьи, от запаха которых сразу же засосало под ложечкой. Я от такого прохладного приема почувствовала себя очень неловко, сказала, что уже поздно и как бы мне не заблудиться в незнакомом месте, извинилась и тут же собралась уйти. Няня Феня меня не задерживала и поторопилась закрыть за мною дверь. Оказавшись на улице, я долго стояла, облокотившись о какой-то забор, и с горечью думала: почему это все так получилось? К месту нашего ночлега я подошла уже в сумерках, все мои однокашники уже спали.

После долгих размышлений, проанализировав все слухи, которые ходили по Айполовскому детдому, я поняла, что сухость и нелюбезность няни Фени была связана с тем роковым допросом, который учинил мне следователь больше года тому назад. Ее, конечно же, тоже допрашивали, возможно, она и в тюрьме побывала, пока собирали улики, и наверняка следователь ссылался на меня и говорил, что я выступила против нее. Конечно, в таком случае после всего пережитого, не зная правды, она не могла отнестись ко мне иначе.

Я уже упоминала о том, что поздней осенью, а может быть и в начале зимы 1943 года в детдоме появился новый директор. Он привез с собой многочисленное семейство: супругу, троих детей и сестру. Это был типичный чиновник-чекист сталинской эпохи. Выше среднего роста, широкоплечий, но не полный, со слегка вьющимися русыми волосами, довольно правильными чертами лица, взглядом жестким и неприятным. Был он немногословен, выговаривал слова четко, отрывисто, словно команды отдавал. Сразу же по его прибытии в детдоме появилось много изменений. В первую очередь они коснулись кухни. Уволены были оба повара, к которым мы все привыкли и даже успели полюбить: няня Феня уехала в Новый Васюган, а няне Марусе, про которую я уже тоже рассказывала, пришлось пилить и возить дрова для детдома, а крепким здоровьем она не отличалась. Вместо двух было назначено три повара — старший и два ведущих. Причем старшим назначили жену мобилизованного в трудармию учителя словесности Жукова, а одной из ведущих оказалась сестра директора Зинаида, по характеру весьма добродушная баба.

По указанию директора столовую перестроили: огромное холодное и неудобное помещение уменьшили вдвое, в результате чего оно стало уютнее, теплее и опрятнее. Вместо длинных столов и скамеек поставили новые квадратные столики со стульями. Перед входом теперь была раздевалка, где можно было оставить верхнюю одежду. Эти новшества всем пришлись по душе. Но вот питания, к сожалению, больше не стало, скорее — наоборот. Потом пошли другие изменения: открыли новую, в другом здании, швейную мастерскую, которую возглавила ссыльная эстонка, большая мастерица. Два раза в неделю по два-три часа мы все ходили к ней на обучение, и теперь

уже не латки сажать, а постигать премудрости кройки и шитья. Учила эта женщина очень хорошо, но, увы, интереса к своей профессии, она во мне возбудить так и не смогла. Более того, я всеми способами старалась эти занятия пропускать. Однажды, увидев моё, с маминого плеча, плюшевое пальто, мастерица взялась его перешить. И я неожиданно получила не новое, но вполне красивое пальто, которое к тому же было утеплено. Моей благодарности не было границ. Этот эпизод заметно поднял мое настроение.

Летом 1943 года в Айполово на пароходе «Тара» (так называется приток Иртыша) привезли воспитанников расформированного где-то детского дома. Их было около ста человек. Вместе с ними прибыло несколько воспитателей. Среди новеньких оказалось немало воришек и хулиганов, что серьезно взволновало не только сотрудников нашего детдома, но и его воспитанников, так как и своих неисправимых в Айполово нам хватало. Их было немного, но мы хоть знали их всех... Новеньких разместили по возрастным группам и классам. У будущих семиклассников прибавилось две девочки — Валя Полякова, скромная, тихая, старавшаяся ничем не выделяться, и рослая, худая и рыжая Жанна Незнамова, в противоположность Вале, — разбитная, ехидная, завистливая и злая.

После трудоустройства и отъезда прошлогодних семиклассниц — Нюры Дорошенко, Клары Ворошиловой, Жени Поповой, Инны Гладильщиковой и других, нас, новых семиклассников, перевели в барак, где я жила летом и осенью 1942 года, но в другую комнату, побольше, так как теперь нас стало пятеро. В нашей группе появилась новая воспитательница, прибывшая вместе с новыми воспитанниками, — симпатичная, всегда улыбающаяся Пана Андреевна, совсем недавно окончившая педучилище. Где бы мы ни были, она всегда заряжала нас бодрым настроением, ее сразу полюбили и девочки, и мальчики за неувядающий оптимизм. С нею у нас все спорилось.

Летом меня, как примерную ученицу и воспитанницу, назначили помощником воспитателя в младшие группы. Это считалось большой честью и налагало серьезную ответственность. Дали мне группу из шести-семи девочек, все маленькие, худенькие и беспомощные. Они так нуждались в ласке, что при моем появлении сразу же тесно

прижимались ко мне и просили поцеловать. Одну поцелуешь, другие тут же, как птенцы: «А меня!.. А меня!..». Было их всех очень жалко, но я терялась: как их воспитывать, никто меня не научил, все должна была делать сама, а было-то мне всего пятнадцать лет, и маму потеряла всего два неполных года назад. Были бы книги, но их-то как раз, к огромному сожалению, так не доставало. Я напрягала память, вспоминала прочитанное еще в Риге и рассказывала своим девчущкам про дальние страны, чем сразу завоевала их расположение. Они садились в кружок и слушали меня, затаив дыхание.

Однажды случилось: оказалась у берега свободная лодка. Не долго думая, я посадила в нее всех своих девочек. Мы перебрались на другой берег, день был по-сибирски жаркий. Над нами летали огромные оводы, все время приходилось от них отмахиваться, и чтобы хоть немного отдохнуть от этой вынужденной гимнастики, я разрешила всем девчонкам искупаться. Дети вошли в воду по пояс, не глубже, а я решила немного поплавать. Вдруг слышу: «Ася тонет! Ася тонет!» В мгновение ока я очутилась около Аси, которая бессильно раскинув тоненькие рученки, то поднималась, то опускалась в воде. Схватив ее на руки, вынесла на берег и осторожно положила на траву. Девочка скоро пришла в себя и не совсем понимала, что с нею произошло. Ведь там, где Ася стояла, было неглубоко, но, видимо, от слабости из-за бесконечного голодания и резкой смены температур — от жары на берегу к прохладной речной воде, ей вдруг стало дурно. Этот эпизод послужил для меня серьезным уроком.

Ближе к осени меня, как и всех воспитанников, под руководством Паны Андреевны послали на полевые работы в подсобное хозяйство детского дома. Мы вязали снопы, потом убирали сено, которое тут же укладывали на волокуши, представлявшие собой огромный веник из разлапистых сучьев с листьями, привязанный к лошадиной упряжи. Так вот, на этот «веник» мы наваливали сено, и лошадь тащила его как сани. Удобный вид транспорта — одна волокуша сносит, вяжут тут же другую. Лето стояло удивительно жаркое, мучили оводы, все время хотелось пить, руки были расчесаны до крови. Но и это я выдержала. Опять незаметно подкралась осень,

вновь — школа, седьмой класс, последний. По окончании его нас всех, семиклассников, отправят «на трудоустройство».

Выпускной класс требовал настойчивых занятий, тем более что учитель математики и физики спуска нам не давал. Но я любила его уроки. Помимо школы я продолжала выполнять свои обязанности на кухне, где были большие изменения — новые повара, новые требования. Отчасти стало легче, потому что на кухню стали больше привлекать воспитанников-дежурных. Но все равно я очень уставала. И эта зима не обошла меня болезнью: иногда у меня вдруг резко поднималась температура до 39.С и даже выше. Она, правда, скоро опускалась, но при этом наступал такой упадок сил, что я не могла подняться. Фельдшерица не умела понять причин моей хвори и, в сущности, оставила всё на самотек. Однажды директор, делая обход помещений общежития, застал меня, больную, в постели, и заявил, что я симулянтка. При этом он прекрасно знал, что я лучшая ученица в своем классе. Таков он был человек — не верил никому. Иногда я задумывалась: а себе-то он верит?

Где-то в середине зимы в детдоме объявилась медицинская комиссия, основной задачей которой, как мне показалось, было уточнение возраста воспитанников. Когда подошла моя очередь, я назвала день, месяц и год своего рождения, но медики решили мне «не поверить»: день и месяц оставили, а вот годик один прибавили. Я пыталась возмутиться, но в ответ услышала: «Нам лучше знать год вашего рождения, не обманывайте». Видимо такова была установка, чтобы побыстрее нас «трудоустроить».

Большой бедой этого края была трахома. И вот для ее выявления и профилактики нагрянула к нам еще одна медкомиссия. Она обследовала всех и вдруг выявила эту заразу чуть ли не у каждого третьего. Меня тоже пригласили к врачу, объявили, что что-то нашли, и назначили очень тяжелое лечение: раствором медного купороса и азотнокислого серебра смазывали внутренние части век. После такой «процедуры» резь и боль в глазах начиналась страшная, веки воспалялись, но я терпеливо переносила эту экзекуцию, поверив убедительным уверениям эскулапов о том, что если не буду лечиться, то мне грозят тяжелые последствия. И я стоически вытерпела весь

курс предписанного лечения. А в итоге получила хронический конъюктивит.

Большую группу детдомовцев признали уже больными трахомой и назначили им лечение в специальном детском доме. С началом навигации их всех увезли. Но каково же было наше удивление, когда спустя полтора-два месяца все эти ребята вернулись: оказалось, что никакого заболевания у них нет, диагноз оказался ошибочным. Но кому тогда было дело до степени страдания этих детей, и без того обиженных судьбой?

Однажды совершенно неожиданно меня вызвала к себе директор школы. Я была озадачена — к чему бы это? С учебой у меня вроде все было ладно, да и с дисциплиной тоже... Вся в тревожном ожидании, переступила я порог директорского кабинета. Директор Берестовская плотно прикрыла за мной дверь, села за свой письменный стол и неторопливо достала из его выдвижного ящика небольшой сверток. Когда она его развернула и протянула мне, я ахнула от изумления и ощущения откуда-то взявшегося чуда, да-да, именно чуда — я увидела мамины золотые швейцарские часики, и агатовый черный медальон. Директриса выдержала паузу и произнесла: «Ты узнаешь эти вещи?». Я, заикаясь от неожиданности, ответила: «Да... Это мамины часы и медальон... Их забрал у нас комендант во время маминых похорон...» — «А еще что-нибудь тогда там было?» — «Да, еще пятилатовая монета, агатовые серьги и часики моей сестры...». Директриса снова завернула наши драгоценности и протянула сверток мне: «Забирай, очень пригодится». Не помню, где я хранила так неожиданно вернувшиеся ко мне мамины драгоценности, но впоследствии, действительно, они меня сильно выручили. Снова ангел-хранитель помахал мне своим крылом.

Несколько позднее этого эпизода из разговора с Женей Мяги, с которым мы тогда, несмотря на насмешливые взгляды сверстников, были очень дружны, я узнала, что он написал куда-то заявление, так как ершовский комендант проделал и с ним такую же манипуляцию. Дело получило ход, коменданту, как мы узнали, крепко досталось по службе, а ценности нам вернули. К глубокому сожалению, не все.

Незадолго до окончания учебного года случилась беда: арестовали и увезли учителя математики и физики, будто бы за дезертирство. Учитель он был превосходный, но заканчивать учебный год с нами пришлось его подруге-жене, которая, к сожалению, не была математиком... От ареста ее спасло, по-видимому, то обстоятельство, что ее брак с нашим любимым учителем не был зарегистрирован. Дальнейшая судьба этих хороших людей мне неизвестна, но вспоминаю я их всегда тепло и с сочувствием.

Ранней весной, в половодье, когда васюганские воды до края заполнили все овраги, в наш детский дом прибыла семья отставного офицера НКВД: он сам, его жена и дочь, Ольга Ивановна, которая тут же стала воспитательницей нашей группы, напарницей Паны Андреевны. Семья прибыла из Майска, находившегося выше Нового Васюгана, видимо отец Ольги Ивановны был там комендантом спецпереселенцев и за что-то отправлен в отставку. Я полагаю, что без содействия нашего директора, тоже работника НКВД, он бы в Айполово не оказался. Для сановной семьи немедленно освободили домик, где находилась больничка — там была комната, маленькая приемная и прихожая с плитой. Сомневаюсь, что жить им там было уютно. А вот куда делась больничка, не вспомню.

Ольга Ивановна была некрасивой, неуклюжей, полнеющей молодой женщиной, на вид около двадцати двух лет. Интересно то, что везде она подчеркивала, что она 1927 года рождения, то есть того же года, какой врачи определили мне. Ходили слухи, была у Ольги младшая сестра, которая заболела и умерла. Ольга взяла себе ее паспорт, а свой сдала в ЗАГС вместо документа покойницы. Возможно, именно этот случай и послужил причиной отставки ее отца и его срочного отбытия из Майска.

Все из того же Майска поступило в наш детский дом 25—30 эстонских ребятишек. По-русски они почти не говорили, истощены были до крайности. Директор, боясь ответственности, вызвал из райцентра медицинскую комиссию для их обследования. Комиссия постановила выделить несчастным детям дополнительное питание и стационар. Для стационара понадобилось помещение. Проблему решили быстро: освободили наш любимый барак, в который уже раз переселив нас в другие. Меня это не очень тронуло, так как я

понимала, что мне жить в этом детдоме оставалось совсем немного. Надо отдать должное суровому директору — эстонских детей он спас. 2 июня 1944 года я получила свидетельство об окончании неполной средней школы, в котором оценки, увы, были умышленно занижены.

Еще весной сорок четвертого года по указанию директора всем старшеклассницам в швейной мастерской детдома сшили полувоенную форму — зеленые гимнастерки, синие юбки и выдали кирзовые сапожки. В такой униформе я выглядела достаточно нарядно. А суровый директор выводил нас на площадку перед детдомом и учил ходить строем. Мне эти экзерциции нравились, так как я с детства была не равнодушна к военным. Но когда обучение закончилось, форму заставили сдать на склад, и больше я ее не видела. Не отдали ее мне и на трудоустройство, где она бы мне очень даже пригодилась. Вообще лето 1944 года выдалось для меня весьма тревожным и сумбурным. Сразу по окончании учебного года директор собрал всех, кроме самых младших, воспитанников и сообщил, что через три дня мы отправляемся в летний лагерь, где будем совмещать работу с отдыхом. Все восприняли это сообщение без ропота и жалоб и стали собираться в дорогу.

В своем повествовании я упустила одно существенное обстоятельство: в детском доме не было ни пионерской, ни комсомольской организации и мы не носили красных галстуков и комсомольских значков, ибо в массе своей были детьми репрессированных родителей. Избавиться от этого клейма до 1956 года смогли очень немногие, и почти все по достижении шестнадцатилетнего возраста получали статус спецпереселенца.

Наступил день, когда большая группа старших детдомовцев, в том числе и я, во главе с директором, по таежной тропе, гуськом отправились в лагерь. Дорога предстояла долгая, не менее десяти километров по лесу. Тропа то поднималась на пригорки, то опускалась в мокрые низины. Под ногами часто хлюпала вода. Лес здесь был густой, солнце едва пробивалось сквозь ветви деревьев и зарослей. Вот показался ручей, через который было перекинуто дерево, по которому нам предстояло перейти. Первым перешел директор и подавал каждому воспитаннику руку, помогая выбраться

на берег. Мне идти по шаткому дереву, высоко перекинутому над ручьем, было страшно, я всегда боялась высоты. И вот в самый последний момент, когда я уже протягивала руку директору, споткнулась и оказалась по пояс в воде. Директор меня подхватил, помог выбраться и пожурил за неловкость, а я была очень смущена этим казусом. Миновав злополучный ручей, мы оказались на большой солнечной поляне, посреди которой возвышался навес, крытый соломой. Место это называлось Кульстан и было центром подсобного хозяйства детдома. Нас уже поджидали ранее прибывшие сюда ребята. Они под навесом сколотили столы и скамьи, заготовили шалаши, в которых нам предстояло спать. Мне, как «повару со стажем» и еще кому-то предложили заняться приготовлением ужина. Мы быстро разожгли костры и приладили над ними котлы, в которых скоро забурлило нехитрое варево. Не помню, что ели в эти памятные дни, но еда была вполне терпимой и голодными мы не были.

После таежного перехода я уснула добрым здоровым сном. Утром директор собрал самых старших, и во главе с ним мы отправились на барже в луга, где лежало уже скошенное и подсохшее сено. Его предстояло собрать и погрузить на баржу. Солнце ярко светило, природа в этих местах оказалась чудесной. Спокойное течение реки, доброжелательная обстановка в окружении одноклассников Жени Мяги, Коли Нечаева, Миши Зинченко, Ильина и других поднимала настроение. Приближалось мое шестнадцатилетие, и окружение хороших мальчиков начинало волновать, хотелось быть интереснее, красивее, да и в работе лицо потерять было бы нелепо... Очень скоро, тем же летом всех наших мальчиков 1927 года рождения призвали на военную службу и отправили на фронт. А тогда в лагере мы провели около десяти замечательных дней. Сельских работ было много: и сено, и посадка картофеля и всякое другое, но мы будто и не уставали вовсе. Вечерами подолгу сидели у костра, распевали новые военные песни... Предчувствие перемен, связанных с трудоустройством, до которого оставалось не более двух месяцев, и грядущими за ним событиями уже очень волновали меня. Но опять случилось непредвиденное.

Группу старшеклассников во главе с воспитательницами Ольгой Ивановной и Паной Андреевной снова послали на Кульстан, теперь

уже окучивать подросший картофель. Меня опять назначили поварихой при костре. На сей раз до Кульстана мы шли без сопровождения, по уже знакомой лесной тропе. Расположились по шалашам. Ночь прошла спокойно. Утром группа ребят во главе с Паной Андреевной отправились окучивать картофель. Поле находилось всего в десяти минутах ходьбы от нашей базы. В лагере остались только мы с Ольгой Ивановной. Я занялась приготовлением обеда и костром, который развели несколько в стороне от наших шалашей. День стоял жаркий, и ветерок дул в направлении соломенной крыши навеса. Ольга Ивановна что-то делала в своем шалаше. Затем она вылезла из него, подошла к костру и завела со мной разговор, но я, занятая своими мыслями о будущем трудоустройстве, слушала ее вполуха. Неожиданно воспитательница толкнула меня в бок и закричала: «Смотри!...», а потом торопливо добавила: «Я выкуривала комаров, но затем все притушила, когда выходила оттуда!..» Я оглянулась: над шалашом поднимались языки пламени, они мгновенно перекинулись на навес и от него ветер понес охапки горячей соломы в сторону наших шалашей. Все произошло за считанные секунды. Я инстинктивно кинулась к своему шалашу, выбросила из него что-то, кажется — шаровары, хотела было захватить и одеяло, но услышала треск прямо над головой. Вокруг бушевало пламя. Меня парализовал страх, чувство никогда до этого, ни потом в такой мере не испытанное. Ноги и руки не слушались, я не могла выползти из-под пылающей соломы. Но сознание сработало: «Сейчас сгорю!», и каким-то нечеловеческим усилием, все-таки вывалилась из шалаша, который тут же рухнул. Почти одновременно обрушился и навес. Я отползла подальше от огня и какое-то время неподвижно, не имея сил пошевелиться, лежала на траве и с ужасом наблюдала, как догорают все шалаша и масло в тазу, спасти которое тоже уже было невозможно. Сгорело всё. Но самое ужасное — огнем были уничтожены все продукты, запас на десять дней.

Прибежали с картофельного поля ребята. Среди них был Сидельников, которому при его четырнадцати годах дальше четвертого класса шагнуть никак не удавалось. Но любую крестьянскую работу он выполнял прекрасно, и тем часто бывал незаменим. Он, в чем прибежал, бросился в Васюган и, мокрый, стал

затапывать пламя. Остальные стояли вокруг и с отчаянием смотрели на происходившее. Когда пожар закончился и можно было собрать то немногое, что не успело сгореть, Ольга Ивановна подошла ко мне, попросила отойти в сторонку и с отчаянием в голосе стала умолять никому не рассказывать, что она выжигала комаров в шалаше, иначе ее посадят. Мне стало не по себе. Я никогда не была доносчицей. Так тогда никто и не узнал, как Ольга Ивановна сожгла лагерь. После пожара мы попытались оценить урон, нанесенный огнем. Сгорело почти всё. Осталось лишь несколько одеял, где-то в траве нашлись мои шаровары. Но, что самое печальное, сгорели продукты. Буханки черного хлеба покрылись черной угольной коркой, а внутри так пропахли дымом, что есть их практически было невозможно. Сгорело и все остальное. Воспитатели были в большой растерянности. Они понимали меру своей ответственности, в независимости от того, почему случился пожар.

Ночь, прохладную таежную ночь, мы провели на земле, подстелив какие-то ветки и укрывшись оставшимися одеялами — одно одеяло на четверых. Спали плохо: было холодно, не повернуться. Не видя другого выхода, воспитатели не решились вернуться в детдом всем вместе и отправили только старших мальчиков с поручением рассказать директору о случившемся и просить помощи. Уже не вспомню, как они ушли — на лодках или пешком. Отсутствовали они более трех дней. Мы ждали их с нетерпением, так как уже начинали голодать по-настоящему. К вечеру третьего дня они прибыли на лодках, рассказали о своих злоключениях и привезли немного продуктов, очень мало, так что опять приходилось терпеть. За эти три дня Сидельников накопил травы и мы построили новые шалаши, но трава на шалашах была еще сырая, да и комары мучили нещадно. Так неблагополучно закончилась вторая наша командировка на Кульстан. По возвращении встреча нас ожидала далеко не самая ласковая. К тому же помещения, где мы жили до этого времени оказались занятыми стационаром для ослабленных детей, и нам пришлось скитаться по другим общежитиям. Можно было сказать, что из детдома нас уже списали.

Разговоров куда кого будут направлять было много, но само распределение проходило в строжайшем секрете от нас. Когда встал вопрос о трудоустройстве, зашел разговор, что одного из нас можно

распределить не то на пионерскую, не то на административную работу в город Александровск на Оби. Речь при обсуждении кандидатур на эту выгодную должность, видимо, зашла и обо мне. И тут я нечаянно услышала реплику ненавидевшей меня воспитательницы, ярой коммунистки, активистки и старой девы, которая лезла во все дела: «Она девочка хорошая, но еще не советская, ее надо воспитывать!..» Дело было в том, что эта воспитательница чуть ли не на второй день по нашему прибытию в детдом явилась на дежурство в моих розовых носочках, которые я оставила со всеми своими вещами на складе. Я тогда объявила всем, что Зоя Александровна ходит в моих носках. С тех пор мы люто возненавидели друг друга.

В конце концов откомандировали меня, Валю Полякову и Эрику Менгельсон в Колпашевскую зооветеринарную школу. Что это такое, никто из нас не имел никакого понятия, — пришла в детский дом разнарядка, а наши мнения и интересы никого не волновали. Куда отправили остальных выпускников я так и не узнала. Как это в то время водилось, о распределении мне сообщили за сутки до отбытия. Надо было успеть собраться: пароход ждать не станет.

Я подумала о том, что какие-то из рижских вещей, оставленных два года назад на складе, возможно, сохранились. Получив разрешение, с однокашниками Ильиным и Нечаевым, которые в то время заведовали складом, мы поднялись на чердак. Там лежала груда узлов, в которых, по всей видимости, рылись уже неоднократно. Я нашла, как оказалось потом, бесценное: родительское стеганое ватное одеяло и подушку. Увы, ни простыней, ни полотенец, на наволочек уже не было. Зато нашлись несколько маминых платьев, которые потом оченьгодились, туфли на каблучках, моя старенькая юбка и что-то еще. Все наиболее ценное и новое было украдено. И злополучную серебристую лисицу Матрена на склад так и не отдала... Но как бы то ни было, что-то я все же себе вернула.

Одели нас всех в серые, хорошо поношенные фланелевые платица, на ногах — старые ботинки. У меня был деревянный чемодан, который отдала мне няня Маруся взамен легкого картонного, рижского. С таким вот неприглядным «имуществом» отправилась я в «трудоустройство». Единственной по-настоящему ценной вещью у

меня оказались мамины швейцарские часики, чудом ко мне вернувшиеся и потом хорошо выручившие меня в Колпашеве.

На дорогу нам выдали по двести рублей и рейсовые карточки, по которым мы могли в айполовском магазине получить хлеб. Больше нам ничего не полагалось. Из детдомовской кухни никаких продуктов нам не выдали, и на пароходе мы почти сразу начали голодать. Пароход, все та же старенькая колесная «Тара», подошел к пристани Дальний Яр, матросы опустили трап и мы, теперь уже пассажиры, оказались со своими монатками на палубе. Раздался пронзительный гудок, трап подняли, и пароход, медленно развернувшись, отошел от берега. Я навсегда покидала болотистый Васюганский край, детдом, в котором прожила два года, а из группы провожающих махала мне сестренка Ира. За два года искусственно создаваемого отчуждения мы сильно отвыкли друг от друга, а дальнейшая судьба, к сожалению, нас еще больше разъединила.

Размышляя над тем, почему в детском доме не поощряли тесные контакты сестер и братьев, я пришла к выводу, что причина этого была в том, что каждый воспитатель отвечал за определенную возрастную группу численностью до трех десятков человек, за которыми нужен был глаз да глаз. А тут вдруг кого-то на месте нет — где он? Группу не бросишь — куда, в какую группу воспитанник убежал — неизвестно... Вот и держали воспитатели своих воспитанников плотно при себе, особенно малышей. А когда малыши подрастали, то братья или сестры становились уже не такими близкими друг другу. Довольно скоро поселок скрылся за поворотом реки. Я со щемящим чувством тоски продолжала стоять на палубе и глядеть на воду. В какую неизвестность теперь я плыву? Наступил очередной перелом, начиналась новая, полная неизведанного, самостоятельная жизнь. А мне ведь тогда и шестнадцати еще не исполнилось...

Спустя несколько лет, а именно в 1950 году, мне пришлось вспомнить годы пребывания в детском доме. Я стала студенткой Ленинградского горного института. Учеба в те времена была платной, о чем я, поступая, не знала. Платить же мне было нечем. Но тут мне попала на глаза справка о том, что определенные категории студентов освобождается от платы за учебу в вузах. В

одном из ее параграфов говорилось, что к ним относятся и воспитанники детских домов. Однако документа, подтверждающего, что и я прошла через это, у меня не было. Тогда я рискнула написать в Айполово, не очень надеясь на положительный ответ — ведь столько лет прошло. Но телеграмма, подтверждающая, что я «...воспитывалась в Айполовском детском доме в период 1942—1944 гг.», пришла очень скоро, и дала мне право на получение столь важной для меня льготы.

Следом пришло письмо от уже незнакомого мне директора, который тепло поздравил меня с поступлением в ВУЗ и сообщил, что в детдоме еще работает кто-то из тех людей, кто меня хорошо помнит и что я очень своевременно обратилась к ним со своей просьбой, так как айполовский детский дом находится в стадии расформирования и вот-вот прекратит свое существование. К письму была приложена справка, подтверждающая написанное в телеграмме.

На этом закончилась моя детдомовская эпопея.

Конечно, тогда и представить было невозможно, что очень скоро, лет через пять-десять придут в Васюганье новые люди, поползут сквозь чащу и болота урмана вездеходы и трактора, оставляя после себя глубокие рваные следы, тянущиеся на сотни километров, вонзятся в недра глубокие скважины и вырвется из них черная кровь земли. Задрожит, заплачет вековая тайга, со скрипом и стоном повалятся деревья, оставляя после себя воронки, быстро заполняющиеся водой, а человек, на фоне могучей тайги такой слабый и беспомощный, при пиле и топоре окажется страшным разрушителем и уничтожит во имя своего благополучия то, что сотнями тысяч лет создавала Природа...

¹*Трудармия (Трудовая армия) — военизированные части, состоявшие из граждан, исполняющих трудовую повинность в годы гражданской и Отечественной войны. В трудармию направляли «подозрительных» или представителей некоторых национальностей, к которым «не было доверия», напр. немцев, крымских татар.*



1.



2.



3.



4



5



6



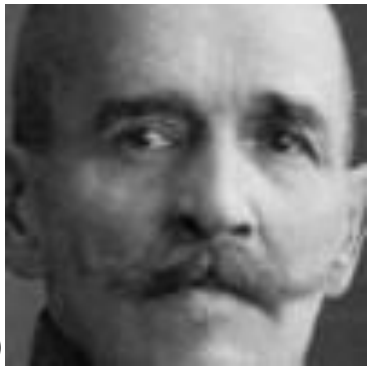
7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



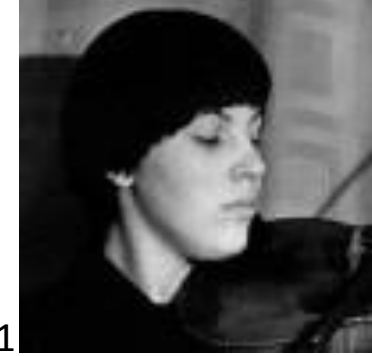
18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



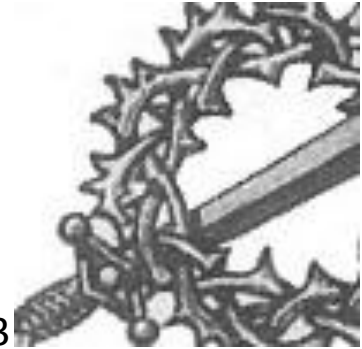
30



32



31



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



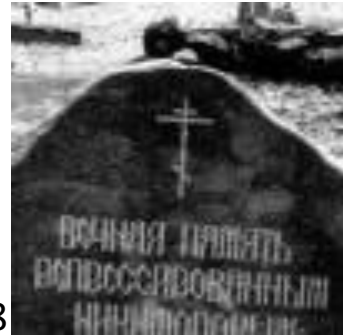
45



46



47



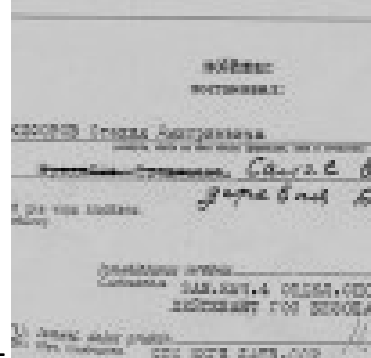
48



49



50



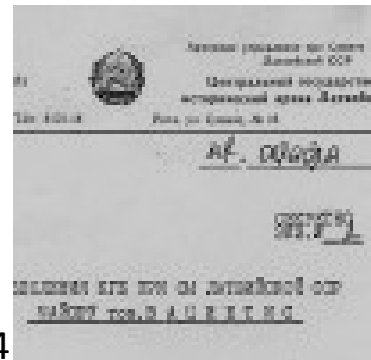
51



52



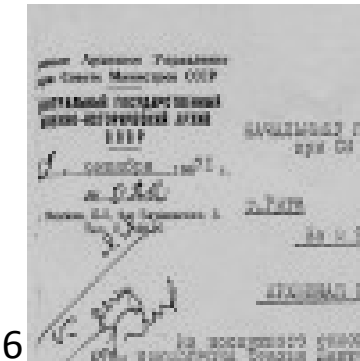
53



54



55



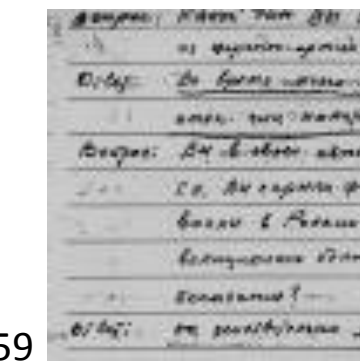
56



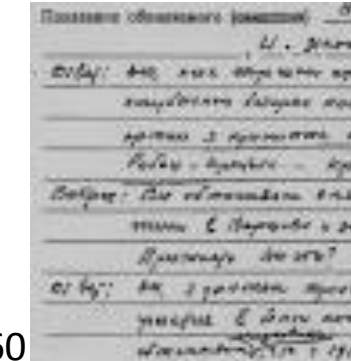
57



58



59



60

1947,
Ваше предложение о предоставлении
72. ПЕРВОЕ имя Андрей
ваше решение
присоединить к нему отца
и с ним проживающему с/во
ваше решение вынести.
С. Кувшинов

61

С. Кувшинов
ваше решение вынести
и с ним проживающему с/во
ваше решение вынести.
С. Кувшинов

62

"ПРОСТА" -
ПРИКАЗ № 10041.0
ОТ 10.08.1947.
19.11.47
С. Кувшинов

63

С. Кувшинов
ваше решение вынести
и с ним проживающему с/во
ваше решение вынести.

64

ПРОСТА
25 октября
С. Кувшинов

65

2 -
С. Кувшинов

66

С. Кувшинов
ваше решение вынести
и с ним проживающему с/во
ваше решение вынести.

67

С. Кувшинов
ваше решение вынести
и с ним проживающему с/во
ваше решение вынести.

68

- 3 -
С. Кувшинов

69

С. Кувшинов
ваше решение вынести
и с ним проживающему с/во
ваше решение вынести.

70

Апостольский протокол
Протокол собрания
1947 г. г. 11
С. Кувшинов

71

С. Кувшинов

72

Министерство связи СССР
ЗАКАЗНОЕ
О ВРУЧЕНИИ
С. Кувшинов

73

Министру Внутренних дел
Союза ССР
С. Кувшинов

74



75

Фотографии из архива Тамары Стахиевны Никифоровой,

использованные в книге воспоминаний «Баржа на Оби».

Фотоальбом подготовлен Т.С.Никифоровой и А.А.Снегиревым.

- 1.Кашин. Вид города. 2. Дом И.И. Боброва в старой Риге на углу ул. Адару и Смилшу, 1902г. 3. Дом Бобровых в Риге. 4. Бланк типолитографии И.И.Боброва. 5. Семья Бобровых: Илья Иванович, Ксения Ивановна и дети Михаил, Иван, Анна, Ольга 1897г. 6. И. И. Бобров(1 ряд, 1 справа) среди членов Рижского Петропавловского братства, 1927г. 7. Шурочка Боброва, начало XX в. 8. Шурочка Б. стала Александрой Ильиничной Никифоровой, 1927г. 9. Стахий Дмитриевич Никифоров, 1927г.
10. Дмитрий Дмитриевич Никифоров, 1927г. 11. Мария Ивановна Никифорова, 1938г. 12. Семья Бобровых у могилы Ильи Ивановича: (слева – направо) Алексей, Анна, Иван, внучка Аля, Александра, Ксения Ивановна, Владимир, внучка Наталья, Николай, Ольга, Михаил. 13. Кики – Белый Зуб (Тамара Никифорова), 1929г. 14. Тамара с крестной Наташей. Мне пошел 3 годик. Наташе скоро будет 16 лет. 8 дек. 1930г. Рига. 15. На крылечке втроем – Тамара, Ирина и наша фрейлайн. 28 авг. 1935г. 16. 13-я русская основная школа. Тамара (4 справа) на уроке гимнастики в 1 классе, 1937г. 17. Тамара – ученица 4 класса, 1939г. 18. Мама, Тамара, Ира на улице Бривитас, Рига. Я - ученица 2 класса, апр. 1938г.
19. Профессор И.А. Ильин, худ. Е.Е.Климов, 1935г. 20. Поручик Никифоров Стахий Дмитриевич. Действующая Армия, 1915г. 21. Наташа Никифорова – выпускница Центральной муз. школы при Московской консерватории. Снимок сделан в Норильске (дочь Т.С. Никифоровой), янв. 1978г. 22. Шваанзее. Мост через Малое озеро, начало XX века. 23. Отъезд из усадьбы Шваанзее семей Никифоровых и Конюшковых, осень 1905г. 24. Наш дом в Сосновке (Приедайне), 1938г. 25. Значок Константиновского артиллерийского училища. 26. Медаль «В память 300-летия Дома Романовых», 1613 – 1913г.г. 27. Знак ордена «Святого Станислава» 3 степени с мечами и бантом. 28. Знак ордена «Святого

Станислава» 2 степени с мечами.

29. Знак ордена «Святой Анны» 3 степени. 30. Знак ордена «Святой Анны» 4 степени. 31. Знак ордена «Святого равноапостольного князя Владимира» 4 степени. 32. Морская сабля (2-я полвина XIX века). 33. Медаль за «Ледяной поход». Отец особо чтит эту награду и считал ее главной, 1918г. 34. Карта Ледяного похода. 35. Знак Корниловского ударного полка. 36. «Наследие, которое мы не должны потерять».

37. Отец у могилы Веры. Одиночество, середина 1920-х годов. 38. Стахий Дмитриевич Никифоров, 1938г. 39. С.Д. Никифоров (2 справа) в кругу друзей – охотников. Слева сидит художник К.С. Высотский, с которым отец дружил, начало 1930-х годов. 40. Наш 5 класс 13-ой Рижской основной школы. В центре Вера Ивановна Лопатина. Тамара Н. – 3 справа во 2 ряду. 10 сент. 1940г. 41. Станция Приедайне. Только что построили новый вокзал. .. 42. На выставке молодых художников студии С.А.Виноградова. Коля Казацкий стоит 1 слева, сидит 1 слева сам Сергей Арсентьевич, 1935г. 43. Шура Милгравис, Рига 1939г. 44. Тамара Никифорова горный инженер, геолог, 1956г. 45. Шура Милгравис в Сибири, 31 марта 1949г.

46. Рига. Ратушная площадь фото В.М. Радунского. 1946г. 47. Фасад здания Ленинградского горного института. 48. Надгробник, установленный Тамарой Никифоровой в память о погибших в Сибири родителях и бабушке, на семейном захоронении на Покровском кладбище в Риге. 49. Обложка следственного дела Стахия Дмитриевича Никифорова.

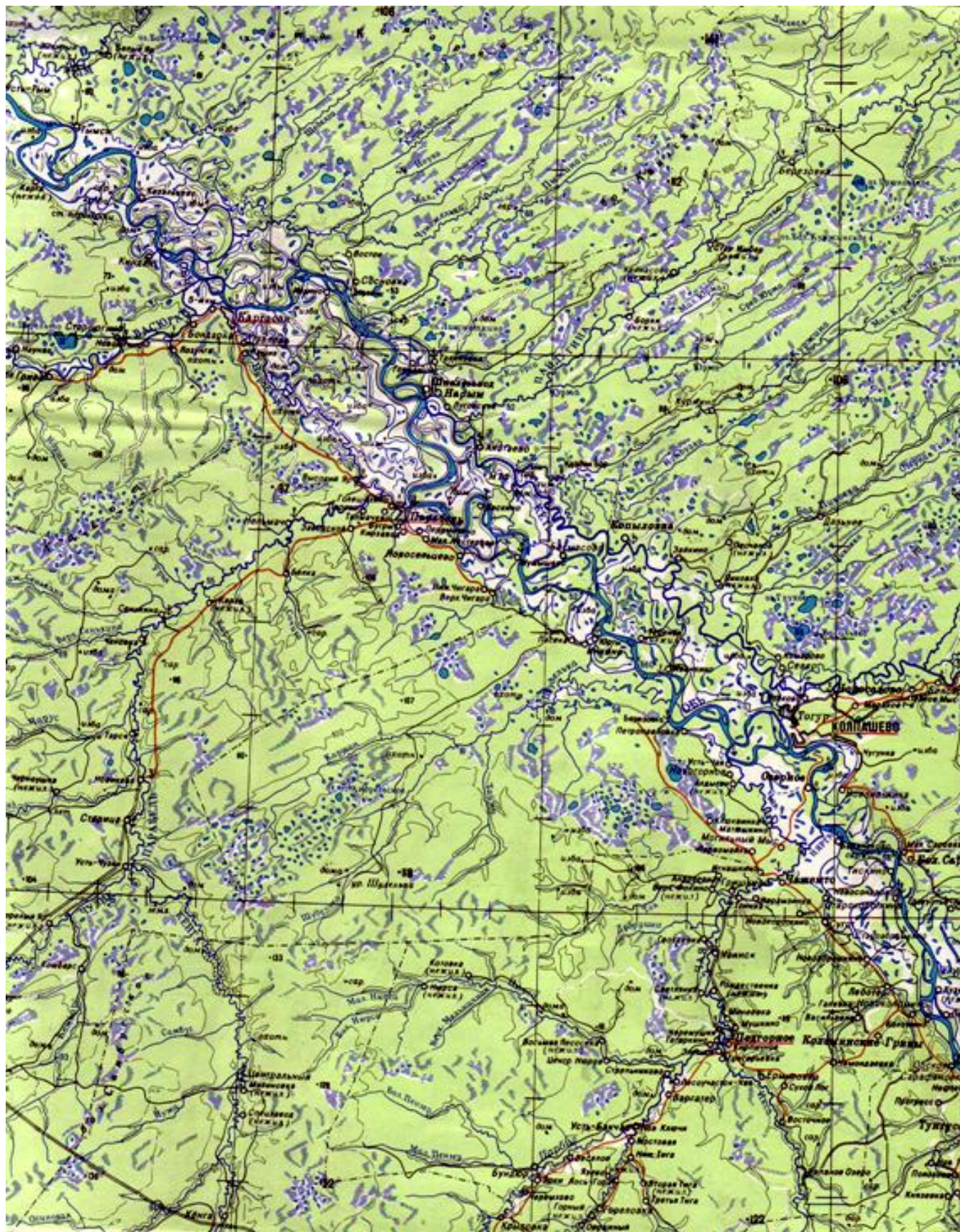
50 - ...72. Страницы из следственного дела С.Д. Никифорова.

73- 74. Ходатайство родителей о возвращении дочери на родину.

75. Тамара Стахиевна Никифорова, Юрмала, 2012 год...



Нарым, Каргасок, Колпашево, Парабель – места ссылки по реке Оби.



БАРЖА НА ОБИ. Т. Ст. Никифорова

Тамара Стахиевна Никифорова (12 августа 1928, Рига - 24 октября 2015, Юрмала) - кандидат геолого-минералогических наук, с 1957 по 1991 год работала на Норильском горно-металлургическом комбинате и в Норильском индустриальном институте.

Т.С.Никифорова уроженка Риги. Отец - Стахий Дмитриевич Никифоров служил в царской армии, позднее в Добровольческой армии А.И.Деникина. Мать - Александра Ильинична (ур.Боброва) родом из известной в Риге купеческой семьи. 14 июня 1941 г. семья Никифоровых была депортирована в Сибирь в Томскую область. В ноябре умерла сперва бабушка Мария Иоганновна Никифорова, а вслед за ней мама - Александра Ильинична, оставив сиротами двух девочек Тамару (13 лет) и Иру (12 лет). Глава семьи С.Д.Никифоров уже в Риге был отделен от семьи и отправлен в Соликамск, где в 1942 г. по постановлению Особого совещания при НКВД СССР был расстрелян. Тамаре и Ирине в 1946 г., как детям-сиротам, удалось вернуться в Ригу. Т.С.Никифорова окончила Риге 25-ю вечернюю школу, а в 1955 г. Ленинградский горный институт. С 1957 по 1991 год Т.С.Никифорова работала на Норильском горно-металлургическом комбинате и в Норильском индустриальном институте. Была членом Всероссийского минералогического общества. Первооткрыватель месторождений «типа медистых песчанников» в бассейне реки Енисей. В 1976 г. Т.С.Никифорова защитила в Московском геологоразведочном институте кандидатскую диссертацию на тему: "Геологическое положение и особенности минерального состава медных руд Сухарихинского месторождения Игарского рудоносного района". В 1991 г. Т.С.Никифорова вернулась в Латвию и жила в Юрмале. **Автор книги воспоминаний «Баржа на Оби» о годах, проведенных в сибирской ссылке.**

Несколько лет в рубрике «Русские портреты» наша газета рассказывает о русских людях, в разное время живших в Латвии. Многие из них - деятели культуры, предприниматели, общественники, - прославили нашу страну, стали ее достоянием. А еще после них остались дети и внуки... Об этих людях мы и расскажем в новой рубрике «Потомки».

Внучка русского купца

Моя собеседница Тамара Стахиевна Никифорова - внучка купца Ильи Боброва. Удачливый и талантливый купец 2-й гильдии Илья Иванович Бобров, начавший свой путь мальчиком на побегушках в лавке колониальных товаров, сумел создать собственное дело в буквальном смысле с нуля.



Наше знакомство с внучкой купца Ильи Боброва Тamarой Никифоровой началось с... памятника на рижском Покровском кладбище. «Репрессированным Никифоровым» - такая надпись высечена на темно-сером камне. Фамилия русская, отметила я тогда машинально, еще одно доказательство того, что в Латвии репрессиям подвергались не только представители титульной нации. А вскоре судьба свела меня с Тamarой Никифоровой, установившей этот памятник своим близким.

Русская Сибириада

Семью Никифоровых выслали из Латвии в июне 1941 года. Глава семьи Стахий Никифоров был белым офицером. Он воевал в Первую мировую, позже ушел на Дон, где участвовал в Первом кубанском (Ледовом) походе, за что был даже награжден. Предвидя Вторую мировую войну, он рассчитывал все свои военные знания и опыт, которых было предостаточно, отдать в распоряжение Красной армии, но...

14 июня ночью в квартиру Никифоровых ворвались. На сборы дали час, вещей на всю семью разрешили взять не более 100 килограммов. «Надевай на себя побольше одежды!» - повторяла маленькой Тамаре мама. Эта одежда пригодилась потом, когда ее меняли на продукты, а пока в большом общем вагоне оказалась вся семья - отец, мать, две их дочери и больная бабушка. Однако отца, главу семьи, увели, и спустя многие годы Тамара Стахиевна узнала, что его расстреляли 11 мая 1942 года. Тамару же ожидали Сибирь и смерть родных, которых ей, тогда еще совсем девочке, пришлось хоронить. Сосланные жили в поселке Ершовка Васюганского края, мыкаясь по чужим углам без пропитания и подчас теряя даже надежду. Несколько дней пролежавшая без движения бабушка однажды ночью тихо умерла, за ней последовала и мать. По случаю похорон оставшимся родным выдали буханку хлеба...

«Баржа на Оби»

В 2006 году Тамара Стахиевна издала сборник воспоминаний. «Новеллы, написанные по памяти», - так она сама определяет жанр своих мемуаров. Однако эти новеллы содержат лишь точные сведения: в книге приводятся уникальные документы, найденные Никифоровой в архивах. Изначально воспоминания о жизни русских людей, увезенных из Латвии в Сибирь, Тамара Никифорова планировала записать и оставить своим детям. А потом получилась книга, рассчитанная на широкий круг читателей. Читая ее, сложно остаться равнодушным. Все время примеряешь на себя ситуации, в которых доводилось попадать самой Тамаре Никифоровой и людям, с которыми сводила ее жизнь, и понимаешь: выжить в тех нечеловеческих условиях могли только очень сильные духом люди.

... После смерти матери Тамара попала в детский дом и только в 1946 году, после войны, благодаря любимой тетушке, сестре отца, она смогла вернуться обратно в Латвию. После окончания средней школы Тамара Никифорова поступила в Ленинградский горный институт, где получила не женскую специальность геолога-нефтяника. И... уехала в Норильск. Но на сей раз на Север она отправилась не по воле властей, а по своей собственной - вместе с мужем.

«Нельзя человеку без родины»

34 года Тамара Стахиевна провела на Севере. Она работала на Норильском горнометаллургическом комбинате и в Норильском индустриальном институте. Кандидат геолого-минералогических наук, доцент и действительный член Всероссийского минералогического общества, Тамара Никифорова сумела осуществить мечту каждого геолога - открыть свое месторождение. Она нашла хальказин - минерал, содержащий 88 процентов меди. Нашла, как сама говорит, чудесным образом - месторождение ей приснилось... Но сны - инструмент непрочный.

Для того чтобы делать открытия, нужны знания, опыт, талант, везение. И еще удачливость. Наверное, всем этим в избытке наделил свою внучку предприимчивый русский купец Илья Бобров, не чаявший души в своей кровиночке. Собственные дети не смогли перенять купеческой хватки Ильи Ивановича, и, лишь увидев новорожденную Тamarочку на руках своей дочери Шурочки, он воскликнул: «Да это же то самое, чего я так долго ждал!» И не ошибся - силе воли Тамары Никифоровой, которой недавно исполнилось 84 года, можно только по-доброму позавидовать.

Она помнит прежнюю Ригу. Помнит красивый дом бабушки и дедушки в историческом центре Риги и дачу родителей в Приедайне, элегантных рижанок в шляпках с вуалями, уроки Закона Божиего в школе и скаутское движение. Она помнит холод сибирских поселений и чувство бесконечного одиночества в детском доме. Но Тамара Никифорова не озлобилась, не очерствела сердцем и ни на кого не держит зла. Внучка купца и дочь русского офицера, она умеет прощать и не копить обиды.

Прожив значительную часть жизни в России, в непростые 90-е Тамара Никифорова вернулась домой, в Латвию. Вернулась насовсем. Поселилась в Юрмале, а на старинном Покровском кладбище поставила памятник репрессированным Никифоровым - погибшим в Сибири членам своей семьи, которых она любит и помнит. «Человек, в особенности русский, не может жить без корней, - рассуждает Тамара Никифорова. - И не может без родной земли, без этих сосен, без шума моря. Никак нельзя человеку без родины. А родина у меня одна - это Латвия».

P.S. Автор благодарит энтузиаста Пушкинского общества Латвии Светлану Видякину за организацию этой встречи.

Сага о Никифоровых

Юлия АЛЕКСАНДРОВА, 9.10.2006г.

На прилавках книжных магазинов появилась новая книга — воспоминания Тамары Никифоровой "Баржа на Оби". Я прочла ее за одну ночь, не в силах оторваться.

О трагической судьбе Тамары Стахиевны я узнала задолго до появления книги. Архивное дело КГБ СССР 1941 года, заведенное на ее отца — видного русского деятеля довоенной Латвии Стахия Никифорова, попало мне в Государственном архиве ЛР, имя автора книги — в списке ссыльных детей–сирот, которых в 1946 году Министерство образования ЛР чудом вывезло из Сибири в Латвию и передало на воспитание родственникам.

14 июня

"Сквозь уходящий сон чувствую, что мама трясет меня за плечи, и слышу ее взволнованный голос: "Скорее, скорее просыпайся!" С трудом открываю глаза. Мама продолжает меня трясти и говорит каким–то чужим, неменяемым голосом: "Нас увозят за пределы Латвии... на сборы один час... взять можно только сто килограммов вещей... но сколько это... остальное на станции выбросят..." Так описывается в книге раннее утро 14 июня 1941 года. День первой депортации из Латвии, в результате которой из страны было вывезено более 15 тысяч человек.

Русский офицер Стахий Никифоров воевал в царской, а потом белой армии, был членом рижского "Русского клуба" и общества скаутов. После аннексии Латвии Стахий Никифоров не сомневался, что его опыт офицера–артиллериста будет полезен Красной армии. Он даже собирался предложить свои услуги и отправиться в военный комиссариат! Впрочем, надежды послужить отечеству у Стахия Никифорова развеялись с первыми арестами друзей. Скаутов арестовали первыми, уже в июле 40–го года — за сотрудничество с Национальным союзом русской молодежи, который основной задачей считал подготовку национальной революции в России. Хотя взгляды многих скаутов изменились после победы нацизма в Германии: отношение к СССР стало более снисходительным, на вечерах нередко пели советские песни, а многие русские офицеры категорически отказались сотрудничать с рейхом и уезжать из Латвии весной 41–го года — с последней группой балтийских немцев.

"Я воевал против кайзеровской Германии и никогда не был и не могу быть предателем России!" — ответил представителю германского посольства Стахий Никифоров. Уже в мае 40–го года, после капитуляции Франции, он увез семью на дачу в Приедайне, надеясь, что вдали от столицы уберезит родных от неминуемо приближающейся войны. Подготовка к зиме проводилась основательная: утепляли летний дом, заготавливали мешки черных сухарей, сахара, топленое масло, распахивали огород. Сюда вскоре после национализации родового дома на ул. Блауманя, 1, переехала к сыну его мать — Мария Иоганновна, которая происходила из купеческой династии Окуневых. Отсюда всю семью и вывезли в Сибирь. У бабушки во время ареста от шока отнялись ноги, но это не остановило НКВД. Тамаре было 12 лет, ее сестре Ирине — 10.

"Берите все теплые вещи, а багаж мужа положите отдельно", — тихонько подсказал солдат–охранник, пока в доме шел обыск. Никто не понял почему. Оказавшись на станции Шкиротава, увидели множество товарных вагонов с зарешеченными окнами. Людей загоняли в них, как скот. В вагоне — двухэтажные нары, вместо туалета — прорубленная в стене дыра. На презентации книги Тамара Стахивна вспомнила, что в их вагоне были в основном русские и еврейские семьи, и только две латышские. Дети плачут, просят пить и

есть. Никто не догадался взять с собой продукты. Вдруг дверь открылась и прозвучал приказ: главы семей на выход с вещами. Стахий Никифоров поочередно попрощался с матерью, женой, дочерьми и ушел. Навсегда. В мае 1942 года он был расстрелян "за активную борьбу против советской власти".

Сибириада

Через неделю, доехав до станции Вятка, ссыльные узнали, что началась Отечественная война. Дорога к новому месту жительства продлилась больше месяца. Первую смерть 12-летняя Тамара увидела уже в дороге — на барже, где в тесноте и грязи везли из Новосибирска в глубь Сибири сотни людей, на руках у молодой матери умер младенец. Баржа пристала к какому-то берегу, и малютку закопали на берегу — как сдохшую собачонку. Остальных "пассажиров" везли в страшный край Васюганских болот. Многие ехали налегке. Не всем попался такой сердобольный солдатик, как Никифоровым. У одной дамы, например, единственной теплой вещью оказались две серебристые лисы. У некоторых вещи остались в общем чемодане, который механически захватили с собой мужа, когда их выводили из вагона. Других вывезли с дач — в сандалиях, плащах и летних костюмах. Всех ссыльных распределили по деревням, в избы местных жителей. Взрослых определили на работу в колхоз.

"Стоя посреди мрачной черной избы с тремя подслеповатыми оконцами, мы еще не могли себе представить, какие испытания нас ожидают, но уже осознавали, что судьба из XX века одним ударом откинула нас в век — какой? XV? XIV? Или еще дальше?" — пишет Тамара Стахиевна. Однокомнатная рубленая изба в деревне Ершовка, стены изнутри обмазаны бурой глиной, печь, на которой спала хозяйка с трехлетней дочерью, сбитый из досок топчан, на котором в гряде тряпья спали трое ее сыновей-подростков, небольшой стол, две скамьи и железная печка-плита.

Новым жильцам мальчишки соорудили такой же топчан, шириной меньше полутора метров, на котором надо было уместиться вчетвером. Пайка — 500 граммов хлеба Александре Ильиничне, если она ходила на работу в колхоз, по 300 — детям и бабушке. Потомок

рижского купца Боброва, Александра Никифорова — учитель русской словесности в рижской гимназии Лишиной, владевшая немецким и французским языками, прекрасно игравшая на рояле и писавшая стихи, отправилась в местную школу. И получила отказ — "врагов народа" можно использовать только на черновой работе. Хрупкая женщина, надев вельветовый плащ, берет и рижские калоши с тремя пуговками, каждое утро уходила на колхозное поле, откуда возвращалась уже в сумерках.

Голодная зима

Все более–менее ценные вещи, которые удалось вывезти Никифоровым, продали быстро. Котиковая шуба, демисезонное пальто — это горшок сливочного масла, немного картофеля и два ведра капусты. Ослабшие от голода, замерзшие, простуженные, покрытые вшами и чирьями, девочки Никифоровы вскоре перестали вставать с кровати. Они даже не плакали и не жаловались. Не было сил. В школу пошли только один раз — 7 ноября. И только потому, что всем детям была обещана тарелка пшенной каши. С каждым днем пальцы становились все тоньше, на месте бедер появились впадины. Бабушка практически не ела, отдавая свою скудную порцию внукам. Через четыре дня после ноябрьского праздника Тамара проснулась от прикосновения к чему–то холодному.

"Это была уже остывшая, окоченевшая рука, и я вдруг поняла, что бабушки больше нет. Однако никаких чувств у меня в тот момент не возникло, какое–то жуткое безразличие овладело мною. Я разбудила маму, сказала: "Бабушка умерла", но и маму это существенно не тронуло: мы давно уже были морально подготовлены к мысли о том, что часы бабушки сочтены". Саму Тамару спас местный охотник–старообрядец. Увидев ребенка почти без признаков жизни, он ушел в лес и вскоре принес зайца. Еще теплого, только что пойманного. Вспорол зайцу живот, вылил его кровь в кружку и приказал выпить. Потом сунул черный хлеб с сырой печенкой. Тамара встала на ноги. А в конце ноября умерла Александра Ильинична. Девочки остались одни.

По словам Тамары Стахивны, из 15 рижан, прибывших в Ершовку, выжили шестеро. В основном дети, которых после смерти мам и

бабушек определили в детские дома, что и спасло их от голодной смерти. Взрослые погибли в первую же сибирскую зиму 1941–1942–го. Некоторые дотянули до весны. Ссылные пытались собирать ягоды, грибы, ловили лягушек и насекомых. Местные жители, понимая, что спецпереселенцы вот–вот начнут умирать от голода, всеми силами пытались выселить их из своих изб. Врагов народа заселили в пустующую избу–читальню, где не было ни печки, ни дров, ни мебели.

"Мне никогда не забыть того кошмара, который удалось увидеть тогда, в конце весны 1942 года, — пишет Тамара Никифорова. — Двери избы оказались открытыми настежь. В абсолютно лишенной какой бы то ни было мебели серой избе от самых входных дверей до противоположной стены лежали в ряд, вытянувшись на спине, Казацкие Нина Николаевна и ее сын Коля, мама Бух с дочками Таней и Галей, Штольцер и еще какие–то люди, которых я не узнала. Все были страшно истощены, оборваны, на лицах только скулы торчат, глаза полузакрыты. Они почти не двигались, не говорили, лишь издавали какие–то звуки — не то стоны, не то вздохи, а то и просто выли. На мой приход никто из них не отреагировал. Мне стало страшно. Я выскочила из избы".

Возвращение

Вскоре сестер отправили в детский дом. А в июле 46–го года они вернулись на родину. "Вагон был загружен под завязку, — читаю в книге. — Ехало около 80, а может быть, и больше человек. Здесь были не только дети и подростки, но две или три пожилые женщины, потом приняли еще парализованную девушку, лежавшую на носилках. Все стремились домой, никто не роптал на судьбу. Когда вагон тронулся и стал набирать скорость, все собрались у открытых дверей, смотрели на уходящие луга и поля и... плакали. Плакали каждый о своем, о своих потерях, о пережитом и даже о том, что покидали землю, которую успели полюбить..."

Из многочисленных родственников, живших в Риге, заботу о девочках проявила только сестра отца — тетя Лида, поселив их в своей 14–метровой комнате в коммуналке. Остальные сухо здоровались и убегали, не предложив никакой помощи, не передав

ценных подарков, которые для них оставила другая бабушка, Ксения, умершая незадолго до их возвращения. А потом — вечерняя школа, Горный институт в Ленинграде и... снова Сибирь. "Меня распределили в Иркутскую область, на Байкал, — рассказала Тамара Стахиевна во время презентации своей книги. — Это места декабристов, место расстрела Колчака, дивной красоты природа! Там начались поиски нефти и газа, а я была геологом–разведчиком". Кстати, Тамара Стахиевна нашла медь! Интересно, что место ее нахождения ей пришло во сне!

На отдыхе в Крыму Тамара знакомится с будущим мужем, который только что освободился из 12–летнего заключения. Молодые едут работать в Норильск, за Полярный круг. "На моих глазах закрывались лагеря, рушились колючие ограждения, и люди выходили на свободу. Местные власти, зная, что в лагерях было много уникальных специалистов, пытались их удержать, предлагая высокие зарплаты. Многие оставались. Согласились и мы. Думали, на 3–4 года, получилось на 34!" В Ригу доцент Тамара Никифорова, кандидат геолого–минералогических наук, окончательно вернулась только в 91–м году. **Первое, что сделала Тамара Стахиевна, — установила на фамильном участке Покровского кладбища памятник бабушке и родителям. Их могил она не нашла ни в Усольлаге, ни в Ершовке. Страшная деревня просто исчезла с лица земли...**



Семейный памятник Никифоровых на Покровском кладбище в Риге. Из семейного архива Т. Ст. Никифоровой.



Мама – Александра Ильинична и Папа – Стахий Дмитриевич – 1927 г.



Бабушка – Мария Ивановна – 1938 г.

Тамара – 1939 г.



Ира, Мама и Тамара - 1938 г.



Семья Бобровых, 1897 г.



Похороны Дмитрия Дмитриевича Никифорова, 1931 г. (1865—1931г.г.), русский, православный, офицер, капитан артиллерии, участник русско-японской войны находился в окопах Манчжурии, откуда вернулся совершенно больным.

Владимир и Вениамин

сыны Анисима Колыхалова



1975г.



...Это были поистине звёздные годы земли томской, неотделимые от имени Егора Кузьмича Лигачева, руководившего областью в 1965-1983 г.г. Именно тогда в Томске был построен драматический театр, Дворец спорта, концертный зал областной филармонии, а в районах области — новые благоустроенные Дома культуры. Существенно изменилась гастрольная политика. К нам с охотой стали приезжать коллективы столичных и республиканских театров, прославленные ансамбли, симфонические оркестры.

Яркий след в памяти томичей оставили Дни культуры Москвы, Ленинграда, Киева, Кишинева, прибалтийских республик, фестивали искусств «Северное сияние», декады симфонической музыки, «театральные поезда», проникавшие в самые отдалённые уголки области. Наши творческие коллективы приобретали заслуженную известность. Так, например, спектакль «Солёная падь» Томского драмтеатра, показанный в Москве, был признан лучшей работой театрального сезона, а его постановщик Ф. Григорьян и актёр В. Варенцов, исполнитель главной роли, были удостоены Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского.

Е.К. Лигачев высоко ставил творческую и научную интеллигенцию, понимал её роль в том большом деле, за которое взялся, поэтому

делал всё возможное, чтобы создать необходимые условия для её плодотворной работы.

При нём в селе Вертикос появился Дом творчества художников, а в Томске мастерские Художественного фонда и личные мастерские, которые получил каждый член Союза художников. Вот и Томская писательская организация почувствовала внимание Е.К. Лигачева, заинтересованное и требовательное. В то время её ответственным секретарем был Иван Елегечев. Писал он профессионально, однако лидерскими качествами — увы! — не обладал. А Егору Кузьмичу хотелось видеть на этом посту человека более энергичного, более известного. Таким человеком стал томич, член редколлегии журнала «Наш современник» **Владимир Анисимович Колыхалов** (1933—2009).

Родился он в селе Сосновка Каргасокского района, рано лишился родителей, вместе с братом Вениамином воспитывался в Усть-Чижапском детском доме. После окончания Томского автодорожного техникума работал на строительстве дороги Томск — Шегарка, нештатно сотрудничал в газете «Молодой ленинец». Затем судьба забросила его на Дальний Восток. Там он стал журналистом, а позже ушел постигать таежную жизнь рабочим геологической партии. Первая книга Владимира Колыхалова «В долине Золотых ключей» вышла в Амурском книжном издательстве в 1962 году. За ней последовали «Ближний север» (1963), «Идти одному запрещаю» (1965), «Ночь, полная шорохов» (1966). На Читинском совещании молодых писателей Сибири и Дальнего Востока он был принят в Союз писателей, а в 1968 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел его роман «Дикие побеги», удостоенный литературной премии имени Николая Островского. В 1969 году этот роман был переиздан «Роман-газетой», после чего имя сибиряка-дальневосточника получило всесоюзную известность.

В предисловии к роману «Дикие побеги» известный советский писатель-сибиряк Сергей Залыгин написал: «Нынче Нарымский край — это среднее течение Оби — стал известен каждому. Геологи открыли там огромные богатства — нефть, газ, руду. Строители возводят по берегам таежных рек города. Прокладываются железные дороги, нефтепроводы, линии электропередачи. Пилоты бороздят небо в разных направлениях. Но ещё не так давно — лет десять-пятнадцать тому назад — мы знали об этом крае меньше, чем о Заполярье.

Художественная литература как будто бы просмотрела этот огромный край. Редко-редко появлялись из Нарыма сообщения «собственных корреспондентов», ещё реже какой-нибудь журнал давал оттуда «материал». Но вот и ещё большая редкость: книга оттуда. Тот край уже далеко не тот, но не прошел интерес к недавнему прошлому, к быту людей края, каким он был совсем недавно. Даже поучительно — как там жили люди до прихода геологов, строителей, пилотов и радистов. И этот недавно минувший быт, недавняя жизнь и как бы предчувствие крутого поворота в жизни переданы в книге молодого писателя Владимира Колыхалова „Дикие побеги"... Книга страница за страницей развёртывает перед нами трудную, сиротскую судьбу Максимки Сараева... И мы уже чувствуем, знаем, какой это будет человек... Мы верим в него, догадываемся, что в нынешнем Нарыме это строитель. Строитель городов, железных дорог, а главное строитель жизни».

В 1971 году Владимир Колыхалов переехал в Томск и в 1972-1978 г.г. возглавлял Томскую писательскую организацию. Затем на родину стали возвращаться другие литераторы...

... Вслед за Владимиром Колыхаловым в Томск вернулся его младший брат **Вениамин Колыхалов**. Выпускник Томского горнопромышленного училища, свою трудовую жизнь он начал монтажником-верхолазом на строительстве второй очереди Томской ГРЭС-2. Служить ему выпало на Тихоокеанском флоте. Так вот и стал дальневосточником. Первую поэтическую книжку «Радуга» выпустил в 1963 году будучи слесарем по ремонту прессового оборудования на заводе в Благовещенске-на-Амуре, а сборник очерков «Зейские ворота» (1967) — будучи редактором многотиражной газеты на Всесоюзной ударной комсомольской стройке — Зейской ГЭС. Автор книжек стихов для детей «Огурцы-хитрецы» (1969), «Северное сияние» (1974) и многочисленных публикаций в коллективных сборниках и журналах Москвы, Сибири и Дальнего Востока.

Как и его старший брат, Вениамин Колыхалов стал лауреатом литературной премии имени Николая Островского. Получил он её за книгу очерков «У подножья солнца», вышедшую в издательстве «Молодая гвардия» в 1975 году. В 1976-м — принят в Союз писателей как поэт и прозаик.

Сергей Заплавный, 1942 г.р. Томск

Дикие побеги.

Владимир Колыхалов, 1933 – 2009 г.г.

**Война сирот на земле много оставила, обездолила,
искалечила – таким детям разве жалко душу отдать?
Добру и любви к жизни, разуму надо их научить!**

Два года минуло после войны.

... В Сосновке, как мать их тогда устроилась в школе уборщицей, так и работала всё это время, мало-мальски детей кормила, одевала, сама худо-бедно перемогалась. А что ей надо было ещё, Арине, бедной бездомной бабе? Тяжести жизни она не боялась — не то пришлось перемыкать, перетерпеть. Сразу после войны житуха чуть легче пошла... Хотя — какая там лёгкость, когда работы полно, а здоровья не стало? Максим помогал матери: поленницы дров перекалывал, воду на коромысле бесщётно таскал из-под горы с протоки, полы некрашенные голиком с дресвой шоркал. Зимой в старой школе углы промерзали, из-под пола в завалины поддувало: помещение сколько уж лет не ремонтировали — ни в колхозе, ни в сельсовете на это не было денег.

В самую стынь вода в щелях замерзала: горячей мыли полы, и то ледком схватывалась. Мать, моя классы и коридор, ноги всегда промачивала, кашляла с этого, по ночам ей в рёбра кололо — сквозь сон от боли всхлипывала. Болела она, да всё силилась, держалась, дел своих не бросала. Но хвороба всё ж таки мать доконала, свалила на топчан в угол. Жар воспалил её всю, на бледных худых щеках яркими пятнами выступил — Максим всё тряпьё на неё сволок, а она металась, распластывалась в бреду, как семь лет назад в Пыжино, когда Егорку рожала.

С Больших Подъельников врач приехал, слушал её через трубку, дул в седые усы, в обветренные с мороза губы, с тётёй Валерией

переглядывался. Максим хорошо расслышал, как старый усатый доктор тётке Валерии мимоходом сказал, мол, не жилец баба — крупозное воспаление. Во всём районе лекарств, мол, таких не найти, чтобы болезнь эту остановить.

Тётя Валерия приходила ночами дежурить к больной Арине. Жила теперь она при больнице одна со своим Котькой: муж её, дядя Коля, уехал служить в Германию, с собой не взял её, выходит, бросил. Степанида Марковна дом продала и с Сашенькой, младшим сыном, с жинкой его, училкой Тамарой Ваковной, умотнулась куда-то в город опять, где прежде жила.

Максим относился к тётке Валерии с прежней ласкою, помогал ей ходить за матерью. Всё делал, во всём её слушался, и плакал ночами беззвучно, тихо: чуял душой, что с матерью скоро они расстанутся. Арина дышала со свистом, со всхлипом — часто, как воз везла. Всю-то её искорёжило, судорогой свело: слов от неё уже ни дети, никто не слышал. Она умирала тихо, со слабеющим хрипом, никого не звала, не манила, чтобы проститься, будто за всю её жизнь не было у неё ни единого человека близкого или родного...

После смерти была она синяя, с потонувшими глубоко глазами, с опавшим, словно беззубым, ртом. Обмывала её бабка Ульяна: с молитвами, вздохами, обрядила опять её в то же, в чём мать умерла, только постиранное, починенное. Положили Арину в сосновый гроб с хрустящими стружками, накрыли старой холстиной. Понурый мохнатый конёк отвёз Арину на кладбище, и, пока гроб опускали в неглубокую яму, выбитую в промёрзлой земле ломами, пока комья глины обваливали, стоял конёк смирно в оглоблях, большую голову свесил к ногам, глаза зажмурил.

До весны жили Сараевы ребятишки с тёткой Валерией. Максим четыре класса окончил, свидетельство получил, и были у него в том свидетельстве все пятёрки. Две-три фотокарточки с матери, акварельный портрет отца, когда он ещё в гражданскую воевал, и это свидетельство Максим уложил в серую папочку, перевязал ниткой суровой и спрятал в сохранное место.

Егорка вытянулся большой, бегал по улице, расшибался, в босые ноги занозы всаживал, часто мальчишки лупили его ни за что ни про

что. Максим не давал брата в обиду, но всё время следить за ним ему было некогда: приходилось на прожитьё промышлять. Егорке с осени в школу идти предстояло, Максим этому радовался, а сам Егорка, как только о школе при нём говорить начинали, носом хлюпал, мотал светленькой головёнкой — боялся школы, чудака.

Потом Сараевых ребятишек определили в детдом.

Повезли их водой в Усть-Чижапку, на Васюган.

Катера, баржи, паузки, пароходы. В большом Каргаске на пристани грузчиков неторопливая беготня: носили они тюки на горбушах, ящики, кули с мукой, с солью, выбирались из трюмов — трапы шатались, скрипели. Складов по берегу длинный ряд, белёные доски ворот, замки на дверях складов, как гири, несметное множество дров — саженных, для пароходов. О причал волны обские бьются, на радужной зыби лодки качаются, ребятишки на заводях с удочками сидят — ершей ловят. Много домов высоких, в два этажа, тополя серым пухом пушат, воробьёв несусветная колготня. Над домами самолёты проносятся, низко, — белые цифры, как на ладошке, видно. Вот диво! Максим с Егоркой немеют: задерут головы, рты раскроют, да так и стоят.

Максим, когда узнал, что их в детдом отправляют, без конца думал об этом. У кого только можно было — у всех выпрашивал, что там да как. Говорили по-разному, а больше плохое: в детдом попал, считай, пропал — воровству научат, а на другое и не рассчитывай. Ну, одевают, кормят, в школе учат, конечно. Ничего, дескать, жить можно и там, не пропадать же... Максим всё это в мыслях держал, пока до Каргаска ехали. А тут самолёты да пароходы потеснили тревожные мыслишки: про детдом теперь как-то неясно думалось...

Катер с паузком медленно плыл вверх по чёрному Васюгану. На пристанях мошкара налетала, особенно к вечеру, а ночью и в просмолённом трюме, среди ящиков и мешков, не было от неё спасения. Днём же, при солнце и встречном ветре, было прохладно, гнус отлетал, забивался в травы. Можно было во все глаза на дикие берега смотреть, птиц голосистых слушать, следить за утиными стаями, как они от плёса к плёсу перелетают, от песка к песку. В половодье река Васюган широкая, рыбная. По берегам местами сразу

тайга непроглядная, зверь к водопоям выходит. А где луговины чистые, там шалаши видно, старые балаганы покосников. Остяки попадались на обласках, загребали широкими лёгкими вёслами, изо рта трубки криво торчали, от дыма глаза узились.

На остяков Максиму любо было смотреть: на всю жизнь вошли ему в душу Анфим, Пантиска, бабка Варвара, чумоватая и всё ж таки добрая тётка Катя — всё Пыжино в сердце, с его обласками, сетями, собаками, с баньками, кривобокими «юртами», с весёлым кладбищем в кедрачах.

Белобородый шкипер на паузке, молчун-кудесник, заговорил вдруг с Максимом неторопливо, приятно, советов полно надавал, и всё хороших. И про детдом слов весёлых много нашёл, сказал, что теперь в детдоме директором снова Иглицын Пал Палыч, тот, что был до войны. Узнать его свежему человеку совсем нетрудно: чёрный, кудрявый, в очках, на ногу скорый — словом, приметный мужчина.

— Знаком мне Иглицын, знаком, — словоохотничал бородач-шкипер, подавая скрипучий руль то вправо, то влево. — Глаза на фронте ему подыспортили... Раньше крепко медведя бил, Иглицын-то. И один на один, и в компании. Я с ним по тайгам, по урманам хаживал.

— И тоже медведя били? — спросил Максим: про охоту ему никогда не было скучно слушать. Но шкипер об этом разговор не повёл дальше. Проплывали мимо каких-то построек на берегу, где в кедрачах свиньи копались, коровы паслись на лужке. Сенокосилка, конные грабли стояли под крытым навесом, росла конопля на бугре.

— Гляди, — показал шкипер, — Успенка это. Тут ваши детдомовцы харч себе зарабатывают, подсобничают. Хозяйство получше колхозного, на крепких ногах. Скот не малый содержат, картошку, овощ растят... Делами полезными занимаются. Ты как, от работы в крапиву не бегаешь?

Максим отвернулся от шкипера: хотел чуть-чуть о себе ему рассказать, но тут передумал. «Чем удивил — работой! Лишь бы учили, кормили. А без работы вроде и жизнь пуста»...

Знакомство с ребятами

Один изолятор стоял на отшибе, а все остальные детдомовские постройки кучно сбились на плоском утоптанном возвышении, возле густого тёмного ельника. Ельник этот остался живым островком от тайги, которую вырубил поселенцы ещё в тридцатом году. По одну сторону ельника была больница с амбулаторией и приёмным покоем, по другую — широкий детдомовский двор, обнесённый штакетником. Тяжело поднимался над васюганской кручей главный корпус — с балконами, лестницами, большим крыльцом. Два этажа были густо уставлены окнами, над крышей множество красных труб. Такого высокого здания Максим с Егоркой и в Каргаске не видали. От главного корпуса по углам двора разбегались постройки поменьше: малышей корпус, где дошколята жили, столовая, овощехранилище рядом с поленницами дров и штабелями леса.

На дворе журавлём торчал столб-исполин с колесом наверху, с верёвками, на которых ребята вприпрыжку бегали, крутились, как привязанные козлята; высокие деревянные качели вымахивали со смельчаками в самое небо; с грохотом разлетались «пулемёты» и «пушки» на городошных площадках; тут же, поодаль, играли в лапту, в чехарду и просто барахтались. Необъятно широкий двор кишел мальчишками и девчонками, большими и маленькими: рябило в глазах от скопища детворы, глушило уши от множества голосов.

С радостью и тревогой вступили Сараевы ребяташки на детдомовский двор.

Новеньких сразу же окружили, разглядывали со всех сторон, пихались, толкались — только на ощупь не пробовали. Егорку забрали в малышей группу, Егорка должен был в школу нынче пойти, а Максим попал к Вассе Донатовне. Когда повела Егорку худая костлявая воспитательница, женщина с неприятным лицом и жёстким взглядом, Максим вытянулся, провожая глазами братишку: думал, Егорка заплачет, рваться начнёт, но тот семенил покорно и даже не оглянулся.

А чужие ребячьи глаза ощупывали, оценивали Максима: галдеть перестали, так уж им любопытно было. Максим уже знал от Вассы

Донатовны, что в детдоме живёт сто пятьдесят человек, больше всё русские, но есть украинцы, немцы, цыгане, остяки и разный другой народ. Понавезли их сюда «со всех концов света белого», как тётя Настенька говорила, повариха детдомовская.

К Максиму вплоть придвинулся рослый жилистый остячонок, смуглый, скуластый, черноглазый, в белой выглаженной рубашке, в брюках со стрелками. Жёсткие волосы стрижены коротко, чубчик набок зачёсан, вздёрнутый нос круглыми ноздрями в Максима уставился, а глаза — азиатские, хитрые — с головы до ног новичка меряют. «Вороватый, на Пантиску Анфимова ничуть не похож... Драться, что ли, он хочет?» Попритихли мальчишки, ожидают чего-то. Остячонок покрутил носом, подёргал губами, спросил:

— Стрелять — стрелял?

— Ну, было дело...

— Из двустволки?

— Не... Бердана была в Пыжино у одной.

— А я бью из двустволки с подбегом.

Остячонок кисло сморщился, с храпом набрал носом воздух, закинул голову, да как на Максима сморкнёт. Максим отскочил под хохот мальчишек, весь загорелся жаром.

— Ну, ты, сморкач сопливый!

— А ты не тычь, я тебе не Иван Кузьмич!

Максим остячонка за белый воротничок поймал, да остячонок от него вывернулся, отступил на шаг.

— При воспетках в ограде мы не дерёмся. Хочешь — давай поборемся?

Максим свалил остячонка с ног, придавил его грудью, но тот извивался, брыкал ногами, выпучивался. Вокруг на разные голоса орали, чтобы Максим не соскакивал: неважно, что остячонок внизу, он вёрткий, он вывернется. Максиму противника было нетрудно держать, он чувствовал, что сильнее его, и что захочет — не выпустит.

— Гошка, вылезти, вылезти! Гошка, салагу ему загни! — вопило азартное пацанье.

Жилистый Гошка возился-возился, елозил-елозил спиной по траве, да напрасно: Максим его так и не выпускал. Они бы, наверно, и дальше крутились на пяточке, на мягкой зелёной травке, если бы Гошка не сдался.

— Пусти, — оттолкнул он Максима.

Поднялся надутый, содрал запачканную рубаху, бросил сердито белобрысому тощенькому мальчишке.

— Постирай в бочке, Цыля. Посуши на заборе.

Максим отпыхивался, заправлял под ремень серую рубашонку, потирал локти, ободранные о землю, поглядывал хмуро на ребятишек и замечал: уже не так на него смотрят, как давеча, — хорошо смотрят.

— Гошкой меня зовут, Гошкой Очангиным. — Остячонок погладил себя по голому пузу и нос утёр кулаком.

— Слышал небось, уж знаю...

— А ты мировецки борешься. — Гошка зубы белые показал, толкнул понарошку Максима в нахмуренный лоб. — Будем дружить, идёт? По первому снегу белок пойдём стрелять: белки у нас вона где, за корчёвками сразу. Ружьё мне директор даёт. Я в детдоме живу с пяти лет, а так мне скоро пятнадцать... Айда, покажу тебе свою койку.

Они прошли по всем комнатам нижнего этажа, и в ленинский уголок заглянули, где длинный-предлинный стол стоял под красным сукном, бюст Ленина на подставке, а на стенах картины висели. Клеем, красками пахло, толчёным мелом, известкой свежей, газетами. В этой тихой прохладной комнате, не похожей ни на какие другие, хотелось Максиму ещё побыть, но Гошка тащил его дальше по нижнему этажу. Максим было рванулся по лестнице на второй этаж, но остячонок остановил его за руку, сказал, что там одни девчонки живут и делать у них нечего.

Гошка два пальца в рот заложил и свистнул. На свист его сбежались мальчишки, столпились, поглядывали на Гошку, ждали, зачем он

позвал их. По очереди стучая каждого кулаком по горбушке, Очангин стал называть Максиму ребят.

— Ванька Мельник, Цыля по прозвищу. Башка! Учится лучше всех, но по ночам на постель дует... Лечат, да покуда ни фигурки не помогает. Зато Цыля по кедром, как бурундук, лазает. Ловкач! Вот шишкой начнётся — ты поглядишь на него.

Белобрысый мальчишка, тот, кому Гошка рубаху бросал, стыдливо моргал белыми, рябенькими ресницами, слабо краснел худыми щеками, губы покусывал.

— Шурка Тяпин — Дюхарь, — продолжал Гошка. — В школу его, как и меня, силком гонят. Зимой капканами сорок на помойке ловит! Жрёт помногу, потому и толстый такой. Поварихин лизунчик. Лысый — это у него лишаи были. Лишаи ему в Каргаске электричеством выводили, вот волосы и повылезли.

— Отрастёт щетина! — Шурка Тяпин подобрал соплю, провёл ладошкой по зеленоватому цыплячьему пушку на темени.

— А это Корова — Володька Сердитов. Девчонки его обижают — такой тихоня. Но он у нас змей ловит — ни капельки не боится! Со змей шкуры снимает — красивые! Шкуры змеиные мы на ремни надеваем, а после в классе девчонкам из-под парты показываем. Визгу бывает!

— Я больше вам змей не буду ловить, — сказал низенький круглый Сердитов. — А то меня из-за вас из школы исключат.

— Ладно, Корова! — Гошка поймал клок волос на Володькиной голове, дёрнул несильно. — Сам знаешь: детдомовцев из школы не выгоняют, им в ремеслуху дорожка!

— Я туда не пойду. Закончу школу — и в институт, на математика. Говорят, я способный... — Володька что-то ещё прошептал пухленькими губами, но последних слов было не разобрать.

— На математика! — передразнил Гошка и задумался. — А тоже — башка! — кивнул на Сердитова. — В седьмой пойдёт. А я в четвёртом на второй год остался.

«Фигура-дура, — подумал о Гошке Максим насмешливо. — А ещё командует тут...»

— Эй, ты! Куда ушмыгнул, Котях? — крикнул Гошка и оглянулся. Нехотя, боком, высунулся из туалетной коротышка, косоглазый, с большой, круглой, как шар, головой, стриженной наголо, с оттопыренными ушами — губатый, злоглазый. Узенький лобик его морщинился, серые брови двигались над вмятиной переносья. Кожа на лице была дряблой, бескровной, будто с налётом зеленоватой плесени.

— Н-ну что? — Котях злым карликом стал перед Гошкой. — С Рыжим хочешь меня познакомить? Да я с ним уже виделся... Не ручкался, а так... — Ехидство мелькнуло в его глазах. «Гад! Так вот кто в ту первую ночь облил Егорку мочой! Полезет ещё — припомню», — успокоил себя Максим.

— Опять кошкам хвосты отрубаешь? — приступил к Котяху остячонок.

— Обзарился! Курить в клозет бегал.

— Я не курю, а он курит! — качнулся Очангин и стукнул себя в грудь кулаком. — С шести лет охнарики собирает. Ты думаешь, сколько ему? Тринадцать. Во, падла! Совсем зачах. Врачиха сказывала, что у него от табака рост прекратился. Зелёный! За то и стали звать Котяхом. Зелёный и маленький. Убей, а курить его не отучишь. Воспетки пробовали, директор... А! Карликом так и останется, Котяхом.

— Не ты, и ладно, — окрысился коротышка. — Твоё-то чо брюхо болит?

— Не мыркой, сявка! — пристрожился на него Гошка. — Ещё за собак, за кошек тебе влетит. От меня, понял? Над животными больше не изголяйся. За них я тебе — во! — Гошка подставил ему кулак к носу. Котях попятился, остро скопился и цвиркнул сквозь зубы в сторону.

«Злодеем растёт, — раздумывал тяжело Максим над рассказами Гошки о Котяховых проделках. — Кошке хвост отрубил, в собаку ножом кинул, когда она кость на помойке глодала... Изверг какой-то.

А сам по себе — сморчок, соплём перешибить можно...» Таких поганных людишек Максим ещё не встречал. Гошке, видно, уже надоело знакомить Максима с ребятами, и он махнул рукой на всю «кодлу», а Максима повёл округу показывать.

Посёлок когда-то стоял на берегу Васюгана, в устье речки Чижапки, той самой, где в годы войны дядя Андрон с трудармейцами готовил в березняках болванку ружейную. Максим вспоминал об этом частенько, пока они плыли по Васюгану на просмолённом паузке. Стояла Чижапка когда-то у самого устья, да чёрному Васюгану вздумалось повернуть в сторону. Прорыл, прокопал он в лугах себе новое русло — оставил большую низину с озёрами, кочками, косматой осокой, оставил и старое своё русло — чвор по-нарымски, который почти кольцом огибается вокруг острова. Остров тоже большой, зелёный, густо заполонённый кустарником и лесами.

По небольшим островным озёрам летом держатся утки, дрозды по кустам гнездятся, разные птицы. Зимой на острове зайцы тропы прокладывают, косачи, камнями падая с голых берёз, спят там тревожными снами в сугробах. Шарятся днями-ночами лисы, и бродит-снует мелкое луговое зверье — колонки, горностаи, ласки. На острове можно охотиться, но лучше нету охоты, чем за корчёвками — за полями, где раньше колхоз тайгу корчевал. Там, за полями сразу, на высоченных лиственницах белок можно стрелять. А ещё лучше — уйти за корчёвки подальше, к таёжным глухим озёрам, где водятся щуки небывалых размеров, сохатые ходят по поньжам-болотам, на гривах, в кедровых борах, медведи берлоги себе облюбовывают. Гошка Очангин, остяк-подросток, многожды раз там бывал — с директором детского дома Иглицыным. Иглицын жить без охоты не может, уж Гошка-то знает. Одних медведей в урмане Иглицын убил пятнадцать. А косачам, глухарям счёту нет.

От этих рассказов Гошкиных у Максима душа замирала: вот красота, благодать! Рыбалка, охота, простор. Не хуже Шестого, Пыжина, Устья-Ям... Учиться он будет стараться, будет вести себя хорошо, и директор Иглицын, чёрный кудрявый мужчина в диагоналевых галифе, в круглых очках на носу, возьмёт его на охоту с Гошкой Очангиным... А к детдому Максим привыкнет, чего особенного? «Я уж и так привыкаю, и мне весело здесь».

В ельнике, возле детдома, только они вошли в него с Гошкой со стороны яра, на Максима набежал хлюпающий Егорка с расквашенной нижней губой и разбитым носом. В слезах, в крови, забрызганный высохшей грязью, он вздрагивал остреньким подбородком, поддёргивал серенькие штанишки. Видно, он уж давно так вот бегаёт по двору, ищет брата, защиту свою.

Максим подскочил, взял братишку за руку.

— Тебя кто? Или сам налетел? Сроду носишься, как чертёнок!

— Не сам — побили меня...

— Кочер это его, больше кому, — определённо сказал Гошка Очангин, поводя косо глазами. — Всех новеньких на испуг берёт. Ещё ты ему не попался...

— Где он? Пойдём — покажи.

Максим строго Гошке кивнул, а тот и шагу не сделал, и вообще торопиться не думал: то в землю глядел, то на небо морщился.

— Дратся с ним хочешь, с Кочером? — Глазами Гошка Максима кольнул, невольно, что ли, усмешечку выдавил: на острых скулах кожа припухла, рот распялился. — Вот чо, пока ты не лезь ему на глаза, он тебя — надо — сам найдёт. Тут Ко- чер над всеми «царь», понял? Малышня ему птюшки таскает... ну, пайки хлеба с маслом. Сам не съешь — ему отдай. Таскают по очереди... Он хлеб у тебя отобрал, а, Егорка?

— Хлебушка... ломтик... с маслицем. Я из столовой с хлебушком вышел, а он отобрал. Я заплакал, за ним побежал — он надавал мне в харю... Он тама-ка, за большим корпусом.

Оська Кочер сидел под лестницей в холодке, а лестница на балкон вела. С виду ничего-то в нём страшного не было: в плечах не широк (у Максима, пожалуй, пошире), рукастый, правда, костистый, большого размера ботинки на лапах, голова яйцом, волосы — белые с грязью, нос перцем, глаза жёлтые, круглые. На нижней губе — короста, чёрная блямба. В маленький тонкогубый рот Кочер кидал из горсти горошины, давил их зубами с хрустом.

Максим, подойдя, ждал, когда сердце уймётся, перестанет прыгать в груди: не от страха, нет — обозлился он сильно; чем старше он становился, Максим, тем чаще из себя выходил, когда кто-нибудь обижал их с братом, делал что-то не так, обманывал. Иной раз в злости не помнил себя: таким мальчишки посельские его боялись... Кочер высыпал в рот весь горох из горсти, открыл на Максима свои нахальные гляделки и, чавкая, бросил жёваные словечки:

— Пришёл, рыжая сучка? — Чав-чав-чав. — Узнать меня хочешь? — Чав-чав. Выплюнул две овсины под ноги Максиму — с горохом овсины попались.

— Хлеб... ни я, ни братишка давать тебе не намерены! — чеканно сказал Максим, чувствуя жар во всём теле. — И не сучись. Я тебя не боюсь, морда...

Тихо сказал, а тяжело вышло: как куль на весы бросил.

Гошка всхлипнул — вздох такой у него из нутра вырвался. Если бы Максим Сараев в эту минуту на Гошку глядел, то увидел бы, как у того глаза закрылись, зажмурились, уши страхом набухли. Но Максим взгляда горячего, смелого с Кочера не сводил. Со ступеньки Кочер поднялся спокойно, сзади пыль со штанов отряхнул, покачался — колени размял. Оказался он выше Максима на полголовы; теперь было видно, что лет ему больше — может, семнадцать все. Чёрный пушок под носом, спина горбылём, желваки на щеках отвердели. Широкий ремень с медной бляхой блестел начищенным якорем. Пошёл он, бесновато водя глазами, харкнул в горсть.

Шаг... Максим приготовился, ногу отставил, чтобы — если ударит, толкнёт — на землю сразу не грохнуться, выстоять. Ещё шаг... Сердце Максима бухает молотом, низ живота искрой холодной простреливает, синева к щекам прилила. Ещё два шага, ещё... Уже не видать Максиму твёрдой кирпичной морды, слились в мутные водянистые пятна Кочеровы глаза, чует Максим на своих помертвелых щеках близкое стиснутое дыхание, чувствует запах жёваного гороха — сладковатый, крахмалистый — ни с чем не спутать его. Максим глаза сузил, сама собой назад голова подалась, покачнулась, но с места ноги не сдвинул.

— Ах, ты — мэ-гэ-рэ-дэ-кэ! Падла-сука! — скороговоркой выпалил Кочер. — Понял?

— Нет, — как бичом хлестанул Максим, чувствуя, что Кочер сейчас уже не ударит его — прошла, пронеслась та минута.

— После узнаешь. — Кочер блеснул жёлтыми рысьими глазами и красным остреньким языком, как жалом, лизнул чёрную блямбу-коросту на нижней губе.

— Не пугай — не боюсь; не таких видел, — расслабился, освободился от скованности Максим. Хохотнув, мотая бодливо яйцом-головой, исподлобья нагло поглядывая, Оська Кочер отступил вбок, к Гошке: тот смирно-смирно стоял.

— Не-ее, — Оська острый красный язык между зубов просунул, — не-ее, падла, таких, как я, ты ещё не видал. «Не видал, — признался в душе Максим. — Это я сгоряча бухнул... Чёрт с ним. Всё же я показал, что не трушу его. Показал».

— За что ты побил малыша? — Максим вытер под носом Егорки сукровицу.

— Заткнись, пока под микитки не надавал! — цвиркнул сквозь зубы Кочер.

— Сам заткнись. Вот так... Тронешь ещё — попомни...

Братишка Егорка

...Максим медленно приходил в себя. Нож у него отобрали... Нет, он, кажется, сам протянул его на ладони, отдал без сожаления, как простенькую вещицу, как что-то ненужное, не дорогое ему... Гошка бегал будить медичку. Высокая, тощая, явилась она на пороге с лампой в руке.

— Иосиф, Иосиф, говорила же я — не сносить тебе головы, — печально сказала она с порога. — А ты, новенький, видно, тоже хорош! Поножовщиной занимаешься? — Она строго остановилась перед Максимом.

— Я спал... Я никого не трогал, — с дрожью в голосе, в теле ответил Максим.

В медпункте посадили их вместе на холодную скамейку, скамейка была белой клеёнкой застелена. Максим сел как сел, а Кочер от него отодвинулся; он так и не отнимал ладони от левой щеки.

— К свету поближе... Открой, — сказала ему медичка. — Щёку насквозь просадили, и дёсны поранены.

«Это нож ему по зубам скрежетнул, о кости споткнулся, — подумал Максим, как о чём-то далёком, его не касающемся, но вдруг так весь и сжался. — Что я наделал!.. Но разве я мог по-другому? Разве я мог поступить иначе?» И ему опять показалось, что он задыхается под плотным сукном одеяла, что смерть подступает и разрывает сердце...

— Зашивать буду — терпи. Чтобы не дёргался и не орал, — сурово сказала медичка. — У меня обезболить нечем... Поживи тут спокойно с таким народцем. Не то, так другое... Головорезы...

Максиму ожоги смазали, прижгли чем-то ссадины и выпроводили из медпункта.

В спальню вошёл — головы ребят так и поднялись ему навстречу. Было немного прибрано: стол, табуретки стояли на месте, одеяло подняли, но пол лишь прикрыли газетой, и кровь проступила пятнами. На кровати Максима папка лежала: всё собрали в неё и так же ниткой суровой перевязали.

— Максим, — робко и с преданностью окликнул его Гошка Очангин.

«Не буду я с ним разговаривать, ни с кем не буду!»

— Максим, слышь, а Кочер там что, придурком хохочет?

Не выдержал, не смолчал Сараев:

— Щёку иглой через край ему зашивают... Больно небось.

— А ты его не жалей, паскуду. Так и надо ему. Получил на орехи. Сколько он нам насолил — всего не вспомнить!

— И как я ножик поднял, не знаю... За это теперь мне...

— Будь спок! Как было всё, так и скажешь директору... А так бы Оська печёнки тебе отбил... Сильно досталось?

— Отстань... Мне язык больно, не хочу говорить...

Тошнота подкатилась к горлу Максима, тягучая вязущая слюна, как жёлчь, разлилась во рту. Горячая липкая слабость прильнула к телу. Соскочить и бежать на улицу — на ветер, на свежий воздух, отдышаться там. Но он не поднялся с постели — похватал воздух открытым ртом, потянулся, расслабил грудь — отлегло. Только внутри покалывало, болели бока, рвало обожжённые пальцы — знакомая боль, саднящая, как тогда в Пыжино, когда в бане его ошпарили. Давно ли было? Давно... Уехал отец — не вернулся, дядя Андрон погиб, мать умерла. Сколько случилось за это время. До чего ты кручёная, жизнь! Всё-то в тебе неожиданно: хорошо загадаешь, а хорошо не всегда выходит. Или впрямь говорят, что загад не бывает богат? Как легко было утром, просто, понятно всё.

Бегал он с Гошкой полянами, тропками, у чвора по крутому берегу, по сельским улочкам-закоулочкам, перебегал по бонам на Кривошеинку: десяток домов в сосняках на белом яру. Усть-Чижакку, посёлок, со всех концов оглядел — так было радостно, сладко, о новой жизни мечталось — приятно, со смыслом думалось. Учиться хотелось, книги читать, узнавать новое. На охоту с директором собирался, может быть, на медведя даже. А теперь директор, Иглицын Пал Палыч, не то что там — видеть его не захочет. Нет, видеть его, Максима Сараева, обязательно все захотят: и директор, и воспитатели, и девчонки — те, что с ног его чуть не сбили, когда он с лестницы спрыгивал. Качаться ещё приглашали, язык показывали...

Как страшно, как плохо жизнь у него тут началась!

Призовёт директор, Иглицын Пал Палыч, стукнет об стол кулаком, осудит и выгонит. Егорку оставит, а его выгонит. Пошлют в трудовую колонию (есть ведь такие), из пионеров исключат, а он ещё в комсомольцы хотел вступать. По годам уже выходило ему идти в комсомольцы... Но теперь-то что думать об этом? А может, спросят его, поймут и простят? Должны же спросить, узнать, как всё было? Ну и что? Ну, спросят, узнают — и всё равно не простят... За нож разве прощают?

И берёг же он этот складник немецкий, хранил, от воров прятал. Знал бы дядя Андрон, покойник, для чего этот нож пригодится... Эх, да разве Максим сделал бы что плохое, если б его не стали терзать,

душить, если бы Кочер Оська Егорку не трогал, папку не потрошил — последнюю память родителей?

Не поймёшь, что творится в душе Максима, какие чувства его будоражат, какие мысли в голову лезут. Всё больно стало: и душу и тело, виски разламывает, гудение в ушах — как рой шмелей вокруг носится. Не может Максим успокоиться — мучается, путается в мыслях, как в паутине, и так и этак прикидывает дальнейшую свою жизнь. Но ясности нет...

Никогда он не был жестоким к людям, но теперь ему вспомнилось всё, что он делал плохого в жизни: кому досадил, насолил, кого обманул, над кем издевался (пускай и не очень, но издевался). Пташек зорил: дроздов, стрижей под яром. Сороки, вороны — эти не в счёт, хотя теперь Максим знает, что и сороки, вороны — птицы тоже полезные. Но этих ему и сейчас не жалко, а маленьких пташек... Без счёту губили они их гнёзда с Пантиской, вытряхивали яички рябенькие, пёстренькие, голубенькие, кидали в рот под язык. Ругали за это их бабка Варвара, тётка Анна, Пантискина мать, ругали, но ведь не слушались — продолжали своё... Так, конечно, подумать — война была, голодно жили: там что бы ни съесть — лишь бы брюхо пустое набить... А так ли уж голодно жили? Рыба, картошка были, жмыхи привозили свиньям — льняные, подсолнечные. Небось Максиму известно теперь, что далеко-далеко отсюда, на западе, люди в войну не так бедовали, кору древесную ели, опилки к муке подмешивали. Это был голод, жестокий, как смерть. Максим такого не испытал, хотя тоже редко был сыт в те годы...

И потому за пташек с Пантиской им не прощается...

Любит, жалеет Максим братишку Егорку; нет для него роднее Егорки теперь никого на свете: две близкие души, два огонька. А ведь случилось — бывал Максим и к Егорке недобр. Егорка-то разве помнит что, зато старший брат проделки свои не забыл... Маленькому Егорке, совсем ещё титешному, когда он в зыбке качался, Максим однажды чесноку жёваного в нос натолкал. Надоело ему водиться, слушать Егоркин базластый плач — вот Максим и додумался, дурья башка, жёванным чесноком брата унять. А тот как в неистовом рёве ротик открыл, так и зашёлся. Может, и смерть ему тут бы пришла, да мать подвернулась: как вырвет Егорку из зыбки, как

тряханёт — Егорка и вытолкнул крик, такой, что в ушах зазвенело. Максим от матери убежал на улицу, но после лупцовки не миновал. Исхлестала мать ему задницу голиком до крови, до синих рубцов, а потом сама над ним плакала, прижимала его к груди...

Вот до сих пор Максим не может понять, почему он тогда так обошёлся с Егоркой-младенчиком? От трудной жизни, наверно, оттого, что детство Максимова воровали, рано работать заставили...

И со свиньями он обращался худо... Когда они его из себя выводили, разве не бил он подсвинков палками? Да так, что у тех зады отнимались на короткое время. За это Максима мать почём зря ругала, Пылов за уши драл, материл, если при нём это было. А Максим ещё больше потом на скотине отыгрывался. Одной свиноматке зловредной, которая всё от стада сбежать норовила, он ковш горячего жмыха в корыто плеснул. Такого горячего — ну кипятку прямо! Плеснул, да эту свинью препротивную подозвал: чух-чух-чух! Та, жадюга, с разлёту как сунет рыло в корыто, так и назад. Да с визгом таким. Всадила длинное своё рыло в землю и полосу пропахала шагов на десять. И после ещё металась как очумелая, а Максим, глядя, злорадствовал, похохатывал из кустов.

Последний год плохо Максим относился и к матери, обзывал в сердцах попрошайкой и нищенкой. Правда, мать заставляла его ходить попрошайничать, а ему было стыдно. И так за три года в Сосновке он каждый двор обошёл: на Пасху, на Рождество особенно. Молитв не читал, а просто спрашивал, кто что подать может; принимал и благодарил. Но чем старше Максим становился, тем сильнее росла в нём гордость. А мать не хотела с этим считаться, или не понимала его... Нет, у самой матери просто не было гордости, уважения к себе: она их давно потеряла. Жизнь скрутила, согнула мать в три погибели, да так и не выпрямила. В Сосновке она хоть немного и отошла душой — была не такой уж безропотной, тихой, как прежде в Пыжино, да времени ей не хватило совсем распрямиться... Смерть её быстро нашла: не успела Арина детей поднять, радость от жизни, счастье почувствовать.

И теперь ещё бедствуют люди, а уж третий послевоенный год — июнь сорок седьмого... А в детдоме их кормят; не сказать, чтобы уж сладко, но и не плохо. Можно было бы жить, можно...

Максим глаз не смыкал: до сна ли тут было? Уже посинели стены — надвигался рассвет. Все ребята уgomонились после ночного побоища. Гошка даже посапывал: чёрная остяцкая голова торчала из-под рыжего одеяла.

«Эх, ты, заводила тоже! — сказал про себя Максим. — Прозвищ мальчишкам понадавал: Цыля, Корова, Дюхарь, Котях... А Котях — это уж гад всамделишный! Вот где вредная букарашка! Похуже Кочера...»

Максиму почудилось, будто он наступил на жабу или к змее прикоснулся. И удивился тому, что к Оське Кочеру у него меньше злости, чем к этому маленькому, мохнатенькому, зелёному человечку, который хвосты отрубает кошкам и тычет собак ножом, когда те на помойках мослы гложут. «Букарашка, козявка... Бррр!»

Опять тошнота подступила, лоб осыпало потом, дышалось с трудом. Максим поднялся с кровати и, пересиливая боль обожжённых ног, выбежал на крыльцо, за угол. Прохлада утра не освежила, не помогла: рвота мучила его долго...

И первый раз за всю свою небольшую, нелёгкую жизнь он почувствовал, что может вот так вот лечь в сырую канаву и легко-легко умереть...

Директор детдома - В. А. Сухушин - Иглицын

Длинный звон колокольчика, голоса, беготня — и мальчишки, девчонки всех возрастов и групп высыпали на чистый зелёный двор, стали строиться на зарядку. Из ленинской комнаты, где уже были распахнуты окна и двери, рвалась маршевая мелодия: за роялем сидел полупысый, полуседой Соломон Иванович Ролейдер. Соломона Ивановича привёз недавно Иглицын из города, «сосватал» старого пианиста, а то в детдоме рояль всю войну без пользы стоял. Отвернув щекастое, с красным носом, в прожилках, лицо, Ролейдер играл ребятам бравурно и очень прилежно, подсвистывал и подкашливал. А бодрый маленький физрук, немолодой, рыжеватый, тоже из новых, из городских, шёл взапятки перед строем, рукой взмахивал коротко:

— Становись, становись, гвардия! Р-равняйся!!

Новый физрук был офицером на фронте, а фамилия была у него Лихабаба. Мужикам усть-чижапским он в первый же день долго рассказывал, как «штурмовал линию Маннергейма», как ранен был, как выносила его из огня юная девушка, и что после на ней он женился. Жена его, правда, была молода и очень красива, но какая-то очень уж тихая, чуть ли не робкая, не похожая вовсе на фронтовичку, на героиню. Держался с ней Лихабаба строго, в клуб одну не пускал, и Усть-Чижапка уже начала над детдомовским физруком понемногу посмеиваться. Директор Иглицын нашёл его где-то в Томске и удивил рассказами о васюганском приволье, о рыбалке, охоте, о кедровых урманах.

Ряды подтянулись, замерли, и начались под музыку маршировка, бег и ходьба, повороты, наклоны, прыжки: нестройно, вразброд, но Лихабаба и этим доволен был — за неделю многому не научишь. Максим на зарядку выскочил тоже вместе со всеми, но босиком: обожжённые пальцы разбарабанило, и ботинки надеть он не смог. Утренняя роса щипала ожоги, но он старался глядеть на гибкого, стройного физрука, повторял за ним все движения.

У малышейского корпуса он увидел Егорку: братишка сбивался, не попадал в лад со всеми. В синеньких трусиках, в жёлтой маечке, длиннорукий и длинноногий, он казался издали жиденькой хвостинкой.

«Вострохвост», — вспомнил Максим с улыбкой. «Раз-два! Раз-два!» Осколками звонкого льда музыка рассыпается по зелёной росной ограде. «Раз-два!»

— Последний пробег по кругу — и расходиться. Заправить кровати, одеться, умыться, ждать своей очереди в столовую. По столовой сегодня дежурный я.

«Лихабаба — смешная фамилия. А мы Сараевы. Са-ра-е-вы».

Встревоженный голос остановил Максима:

— Новенький... Опять забыла твою фамилию... К директору.

— Здравствуйте, Васса Донатовна... Фамилия моя Сараев.

Колотнулось, подпрыгнуло сердце, пошёл за ней Максим по дорожке босыми ногами, как по стеклу. Дышала Васса Донатовна часто, отрывисто. «Наверное, только что ей сказали... Пришла на работу, и сразу сказали. Обрадовали! Я обрадовал...».

— А к директору босиком можно? — Максим подавился словами, глядел себе под ноги и чуть шевелил большими опухшими пальцами. И Васса Донатовна кинула взгляд на Максимовы ноги, остановилась: разлетелись крылато брови, побледнело лицо.

— Били?

— Били, но я не давался... И никому не дамся! Много их тут найдётся, таких...

— Ну-ну, успокойся, мы разберёмся... Только то, что ты сотворил, очень страшно. Такого у нас никогда не бывало.

«Много вы знаете. Не бывало! А стрелой с жестяным наконечником Кочер стрелял. А нагайкой дубасил...»

— Ножом по лицу... А если бы в сердце?

— Васса Донатовна, Васса Донатовна, а если меня задушить хотели? Если брата обидели? Отцу моему, герою, глаза на портрете выкопали?.. — Обидные слёзы заволокли глаза, но он проморгался, переборол себя. — Я ещё никого понапрасну не тронул. Никогда. А ножиком... Сам не знаю, как вышло так...

— Вот так вот, не зная, и человека можно убить. — Голос Вассы Донатовны был тихий, дрожащий, не такой, каким она окликала его только что. И лицо её было другое: Максим в нём увидел сочувствие.

Он волновался, слёзы опять подступили.

— Кочер у вас издеватель, «царёк»! Всё спускают ему, боятся... Знать будет! А я прощения у вас попрошу Я учиться хочу, работать. И слушаться буду. Я добрых людей всегда слушался.

— Хорошо, хорошо, пошли: Павел Павлович ждёт в кабинете.

Коврик, дорожка, стол у окна, графин с водой и чернильница. Высокий шкаф без стёкол, на шкафу треснутый глобус... Максим поздоровался робко, невнятно.

Человек за столом не сидел, а стоял. В сапогах, галифе, невысок ростом, но голова большая, кудрявая, как у негра, и чёрная. Очки на носу сидят с перекошиной, а глаза под очками угольные, глубокие, на Максима глядят внимательно, строго. И Максим от глаз этих взгляда не прячет. «Буду стоять, как стою, глядеть, как гляжу... Вилять хвостом — последнее дело», — вспомнились ему чьи-то слова.

— Так-так, — сказал Пал Палыч Иглицын и посторонился от света, чтобы Максима лучше рассматривать. Голова его была сильно назад откинута и чуть свалена набок, глаза чернотой своей обжигали Сараева. — Хорош субчик! Нечего сказать... — Иглицын в ладошку покашлял, но головы не склонил: стоял всё в той же позе. — Тебя, братец, к нам по ошибке прислали. Тебя надо было не в детский дом, а в трудовую колонию. Да, да, в трудовую колонию!

«Ну вот, ну вот, так я и думал». Максима стало опять тошнить, и голова у него закружилась.

— Поножовщина! Ты только себе представь. Стыд и срам!.. До войны у нас был здесь порядок, но после дела подыспортились, правда. Пять мужчин-воспитателей не вернулись с войны, а они знали свою работу. — Голос его перешёл на ровный, задумчивый тон, и Максим понял, что это человек добрый, а что шумливый — так ему, видно, и положено таким быть. Да и как с Максимом ему ещё разговаривать? Весь детдом переполошил...

— За войну жизнь тут кругом одичала, а в детдоме пуще всего. Много дел завелось нехороших, а прежние наши воспитанники, мой дорогой, героями стали, ордена носят! — Иглицын к столу подсел, выдвинул ящик, задвинул: искал что-то или нервничал так. — Старшие нам должны помогать дисциплину налаживать, а старшие вон что выкручивают... Откуда у тебя эта штучка? — Он незаметно откуда-то вытащил складник Максимов, держал его двумя пальцами, будто брезговал им.

Васса Донатовна на чёрном диване сидела, и на лице её тоже неловкость, досада выразились, когда директор ножик достал.

— Складник этот немецкий...

— Да вижу — знакомая вещь: такими ножами фашисты... — Иглицын не досказал своей мысли: увидел, как губы подростка дрогнули, как он засопел, задышал.

— Мне с фронта его привезли, подарили, — упрямо сказал Максим.

— Отец? — голосом мягким, спокойным спросила Васса Донатовна.

— Нет, чужой человек... но хороший.

«Сейчас скажут, что хороший бы не отдал ребёнку такую «игрушку», — подумал Максим. Но директор молчал, долго лоб потирал ладонью, смахнул невзначай очки, и они повисли у него на одной дужке на ухе. Он снял их, дыхнул на стёкла, но протереть забыл — отложил в сторону. Без очков глаза его были выпуклые, с большими увеличенными зрачками, беспомощные.

— Как было, мне всё рассказали, Максим, — сказал он ласково и сочувственно. — Мы сами тут виноваты: Кочера надо было трудоустроить этой весной.

— И осенью будет не поздно, — отозвалась Васса Донатовна и поправила волосы за ушами.

— Присаживайся: говорить будем долго. Говорить нам с тобой есть о чём...

Максим от директора вышел какой-то оглушённый. По коридору, вдоль стен, стояло много мальчишек, девчонок — вся смена вторая. Бормотали что-то чуть слышно. «Обо мне судят... Гер-рой! Наполошил всех, как хорёк в курятнике. Иду босиком, и ножик за голяшкой... Как бы мне умудриться ботинки надеть? Да что, не напялить, уж пробовал...»

В спальне, когда он вошёл, были Гошка Очангин, Цыля, Дюхарь, Корова — все взбудораженные, распетушённые. Между стеной и печкой, в углу, нюнил Котях, глотал слёзы с соплями. «Ну, так и надо ему, не жалко такому сопатку расквасить. Только я его трогать не буду — об сморчка ещё руки марать». А Гошка манил Максима, показывал знаками, чтобы он тоже наподдавал Котяху, отыгрался на нём за всё. Максим брезгливо растянул губы, потряс головой. Окружили мальчишки — шёлковые, в доску свои, смотрят такими

глазами, будто Максим перед ними чудесник какой-то, избавитель от царства Кощея.

— Сильно попало? Ругали? — оговорился вполголоса Гошка.

— Не, по головке гладили, мешок леденцов посушили, а леденцы горькие — хина хиной.

Гошка открыл свою тумбочку, посопел, достал горбатую, полумиссохшую птюшку.

— Похрумкай возьми — сухарик.

— Сам ешь, не хочу. Скоро в столовку.

Отошёл Гошка с птюшкой, обиделся или нет — не поймёшь. «Сидел бы и зырил с койки, и бил бы, если бы Кочеру я...» Не мог так сразу Максим Гошке простить его трусость ночную...

Иглицын сказал:

— А знаете, Васса Донатовна, со временем из него выйдет добрый помощник. Но за ним доглядеть надо. И за Кочером тоже... Как у этого «льва», всё в порядке?

— Щёку зашили, лечат... А Сараеву я хочу выдать ботинки размером больше. Не ходить же ему босиком...

— Выдайте, выдайте, в чём же дело! И помяните после мои слова: быть ему паном на воеводстве.

— Кто его знает, в таких делах загадывать трудно, — уклонилась Васса Донатовна.

— А вы не хитрите, — погрозил ей шутливо пальцем Иглицын. — Или я вас не вижу? Если вам этот малый понравился, то так и скажите... Эх, ребятня, ребятня! И горе, и радость с ними...

Вся жизнь такая была у Иглицына — заполошная, беспокойная. До войны жилы тянул — работал, учился: в тридцать лет некогда было жениться, откладывал всё. А женился — пожить не успел: война нагрянула.

На фронт призвали чижапских не сразу, а только лишь в августе. Пришла телеграмма: катера ждаты. Из посёлка брали тринадцать

мужчин. Бабы навзрыд рыдали: число несчастливое, никто живым не вернётся. Иглицын детдом передал, дети его провожали с плачем, как родного отца, девчонки платочки дарили с обвязанными каёмками, к Васюгану на пристань толпой пришли, из ближнего леса ягод понатаскали — смородина поспевала как раз. Было в детдоме тогда человек пятьдесят, немного. На прощание он каждого обнял, поцеловал, и глубокое чувство тоски охватило его. Не думал, что так тяжело расставаться придётся...

На пристани катера ждали они три дня. Время это прошло незаметно, как одна длинная-длинная ночь, с костром на прибрежном песке, с надрывными песнями. В сельповском складе на базе дубовая бочка с пивом стояла, большая — на два с половиной центнера. Призывники уж над ней потешились: в три дня до дна осушили.

Пришёл катерок «пых-пых», чумазый, с облупленной краской, привёл за собой неводник смолёный, в неводнике сено настелено. Сели, поехали. Пока не зашли за остров, всё голоса бабьи им слышались — причитания, вопли. «Ленушка, Ленушка, — думал Иглицын о своей молодой жене. — Года вместе прожить не успели, и вот уж разлука».

В дороге по сёлам насобирали ещё мужиков; неводник густо забили, едва повернуться можно. Муч-Пар, Эзель-Чвор, Волков Бугор — тут много садилось мобилизованных, а дальше уж шли напроход, в нижние васюганские сёла не заходили: там были свои катера с неводниками и баржами.

Каргасокскую пристань Иглицын узнать не мог: на фронт отъезжающих сотни, провожающих тысячи. Высокий забор отгораживал пристань — склады за ним были, причал, дебаркадер. Когда пароход пришвартовался, загудел на всю Обь протяжно, толпа весь этот забор, как лёгкую щепку, снесла. Были придавленные, покалеченные: к плачу стоны прибавились.

На дощатом настиле цыган молодой плясал, чёрным вихрем носился — кудри растрёпаны, мокры, глаза и зубы блестят, ноги-руки мелькают в воздухе, присвистывает, прищёлкивает. А в стороне цыганка, подруга или жена, в голос ревёт. Красивая, юная, стоит

сапогами в грязи, обхватила руками молодой тополь, жмётся щекой к зеленоватой гладкой коре. Эта пара словно приворожила Иглицына: он долго не выходил из круга, молча стоял, поглощённо, а толпа азартно и пьяно кричала: «Ай да цыган! Ай да хлюст! Сбацай, сбацай! Жару поддай! Помирать, так с музыкой!». Скомандовали идти на посадку, загудели гудки прощальные, жалобно-тонкие, скребущие душу. Гармошка смолкла, цыган выпрямился пружиной, скинул со лба мокрые волосы. С воем рванулась к нему цыганка, забилась в руках у него, замерла... Дальше Иглицын не видел, а только голоса слышал: «Глянь-ка, какое дело — ведь умерла!» — «Кто умер? Где?» — «Отхлыньте назад — истопчете!» — «Вот как, паря, отдала богу душу цыганка!» — «Больная была или чего?» — «Сердце лопнуло...» — «Это бывает...» — «Ах, язви...»

Потом он видел цыгана — дикого, самого на себя не похожего. Он не кричал, но храпел, пена была на губах, глаза выкатывались, он порывался за борт, его держали за руки, за плечи, успокаивали. Иглицын видел всё это как в полусне...

Пароход «Карл Маркс», бывший купеческий «Николай I», застлал горизонт дымом из двух своих красных труб, мелко дрожал от быстрого бега колёс, от свежей встречной волны — продвигался к крутому берегу, где уже засветились весёлые бакены в наступающей темноте.

Днём объявили, что в трюме каждому будет отпущено по полпуда копчёной стерлядки. Обь дарила фронтовикам последний прощальный подарок...

В Новосибирске встречали женщины, был митинг, и нарымцы давали клятву, что врага разобьют и добудут победу. Не скоро и тяжело далась она, эта победа. Иглицын войну прошёл, как книгу большую прочёл — от корки до корки: с сентября сорок первого до мая сорок пятого. Да и после войны задержался: в госпитале.

Первый-то раз Иглицына ранило в дни ленинградской блокады, на Ладожском озере, когда эвакуировали детей. Опухшие люди от голода еле брели. Детей на руках выносили, везли на подводах, на машинах, на санках. Налёты немцев, обстрелы, бомбёжки. Люди глохли от взрывов. Ужаса этого ему никогда не забыть. Дети, дети...

Что вынесли они там, что пережили! Оттуда их увозили в Сибирь, в детдома. Мороз, пурга, грохот и вой. На маленьких санках, закутанный в ватное одеяло, плакал мальчонка лет, может, пяти-шести. «Бабуля, бабуля!» — повторял он сквозь слёзы, и голос его захлёбывался в пурге. «Бабуля» лежала сереньким, скрюченным бугорком на снегу, неподвижная, мёртвая. Иглицын высвободил верёвку из окоченевших старушечьих рук, потащил санки навстречу машине: шла, надсаживаясь, по льду полуторка, полон кузов детей. Поднял он мальчонку, держит перед собой, поджидает машину, а сам ему, малому, как заговор, шепчет: «Увезут тебя к нам, на Васюган-речку, на чёрную-чёрную, тихую-тихую, добрую-добрую. Леса там кедровые, ягодные, птицы поют весёлые, люди живут хорошие... Не плачь, потерпи... Вот и машина остановилась, вот и садись, поезжай...».

В Чижапке потом он присматривался ко всем мальчишкам, которым годков по десять-одиннадцать было: искал того самого мальчика. Из Ленинграда тут было четыре ребёнка. По годам подходили, а лицом ни один не был похож. Но, может, Иглицын забыл: сколько ещё потом детских лиц прошло перед ним! Не забыл бы он, нет... Просто попал тот мальчишка в другое место: Сибирь-то большая, необозримая...

На Ладожском был ранен осколками в ноги: порвало икры, но костей не задело. А потом ещё раз в Германии: комом мёрзлой земли пришибло. Клетку грудную сдавило, и сердце от этого в правую сторону отклонилось. Сердечные спазмы, нервы, постоянная слабость... С этим и возвратился Иглицын на Васюган... Как тогда его уговаривали в районо принять снова детдом! Но он отказался: не за себя боялся, за детей страшно было. Раздражительный стал, тяжёлый, а народец в детдоме уже не тот, что при нём был: заросло поле дурной травой, одичало. Терпение, подход нужны, а где они у него? Жена, Ленушка, говорит: мол, война дух в тебе искалечила. Детдом он принять тогда отказался, но порешил: дух себе прежний вернёт, постарается.

Взялся он за работу тоже нелёгкую — председатель сельпо. Шёл сорок шестой, народу кругом не хватает: в конторе сельпо он за всех один. Только название, что председатель, а в действительности — и

приёмщик-заготовитель, и ходок по таёжным заснеженным дебрям, где охотники промысел зверя вели. Доставь им продукты, провиант, от них пушнину прими, в Каргасок вывези, сдай. Недели, месяцы уходили на то, чтобы всех-то охотников в округе объехать и обойти.

В январе вот этого года, сорок седьмого, пробирался Иглицын под вершину Салата, притока Чижапки. К этому времени он взял себе в помощь приёмщика Деева, Дионисия Мартемьяновича — человека из старожильцев. Дионисий должен был обойти всех звероловов в вершинах рек, шкурки у них принять и поджидать Иглицына на охотбазе.

Иглицыну семьдесят километров на лыжах пройти предстояло, по новому месту, ему незнакомому. По пути, как рассказывали, должны были встретиться путнику две семьи остяков, тоже охотников. Ну и пошёл Иглицын. Фляжка спирту с собой, ружьё, лыжи, подбитые камусом — шкурой лосиной. И хоть не ходил Иглицын ещё этим маршрутом, но знал, что верного направления держится: все приметы, какие ему называли, сходились. Попался барачик пустой, километров пятнадцать ещё — стоянка остяцкая, первая, встретилась. Избушка наскоро рубленая, печи нет — кострище старое посреди пола. Огонь развёл, обогрелся, чаю попил. Отсюда ещё километров сорок пути было. Буранчик поигрывать стал — неприятное дело.

Но ждать не хотелось: буранов больших в январе Иглицын здесь никогда не помнил. Пойдёт, и если уж сильно будет мести, в густом ельнике отсидится: одет тепло, на руках мохнашки из собачьей шкуры, за пазухой фляжка. Что Иглицына если и беспокоило — голова начала кружиться, слабость одолевала. Но он всё шёл, плавно скользил на широких лыжах, дышал глубоко, думал о доме, о дорогой своей Ленушке, о сыне Серёжке... Серёжке летом уже шесть, он читает и пишет, мать возьмёт его с осени в школу... О пушнине приятно думать, о колонках, соболях, горностоях, о хвостатых пучках хрустящих беличьих шкурок. Можно даже предположить, загадать, сколько он нынче возьмёт по сельпо, заготовит пушнины... Но голова кружилась, слабость не отпускала. Буранчик так и играл вполсилы, пушил мягким ласковым снегом, хлопьями осыпал деревья. Не буран, а какой-то котёнок — радость смотреть на него. Ну и погода! В

такую иди да иди, дыши да дыши... А тут в глазах рябь, чем-то серым их застилает. От белизны снежной, что ли?

Уж и тревога вкралась, вползла, окаянная, в душу. Ноги ватные, левую руку в плече ломит, сердце мрёт — будто воздуху ему мало... Дойти до пенька, отдохнуть... Вон до того, под маленькой ёлкой. На пеньке папаха полковничья, белая, снять её, сдвинуть рукой и сесть... Сесть... Но до пенька не дошёл: отрубил сознание, упал Иглицын лицом на широкие лыжи...

Обморок длился недолго: снегом привалить хорошо не успело. Падал когда — одна мохнашка с руки слетела, пальцы — пока лежал — приморозило. Оттёр, к пеньку шаг по шагу придвинулся. Снег смахнул — пенёк смолёвый, сухой оказался. Спирту плеснул, огонь разживил, в себя глоток — во рту опалило, снегу пригоршню хватил. Посидел — вроде так ничего, силёнки скопились, а пошёл — опять голова кругом, резь, пестрота в глазах. Наткнулся на след оленьей упряжки, на свежий, чуть припорошённый. Скинул ружьё — три раза подряд дуплетом: такой был условный знак в здешней тайге, если беда случилась...

Выручил, подобрал его старый остяк, бессемейный Кальзя. Кальзю Иглицын давным-давно знал и дружбу водил с ним крепкую. Честный был человек этот Кальзя: сколько бы денег займы ни взял, в срок отдать никогда не забудет. Нет денег — вернёт глухарями, сохатиной или брусники нарвёт — самой лучшей, перед заморозком. Жил он только добычей, промыслом, мало одетый был, крепкий здоровьем. Стоянок у Кальзи три постоянных было: Орлиное Гнездо, Семь Братьев (семь сосен) и Гора Красная. Иглицыну Кальзя первому показал дивные нерестилища по Паксалу, где язи были крупные и жёлтые, как муксуны. Эти места Кальзя с покойным своим отцом от «Васюганского бога» — купца-грабителя Машицкого скрывали. Они и мыс тот обжили, где теперь Усть-Чижалка стоит. Глухари тогда по песку ходили непуганые, а первые поселенцы в тридцатые годы медведей с оглоблей гоняли. И в лето, и в зиму Кальзя был белым платком повязан — шапку не надевал. Удивлял этим многих, и тем ещё удивлял, что в шалашах круглый год жил. Говорили: «Пошто ты в селе не поселишься? Спишь, поди, ночью под навесным-то костром, а холод жилы вытягивает». Кальзя по-русски чистёхонько говорил, да

ещё по-особенному: с присказками. Отвечал мужикам: «Нет, ляга, в село не хочу; завычку старую жалко бросить; в урмане у огонька веселее. А летом везде тебе дом. Щуку добуду, на чапсах изжарю, съем и дальше живу. В тайге мне с голоду где помереть? Как потопаю, так и полопаю...».

В доме Иглицыных был он желанным гостем, рассказывал были и небыль, и так занятно, что все заслушивались. Запоем не пил, но любил выпить. стакан поднимал с присказкой тоже: «Выпьем по полной, век наш не долгой... Разорви тому живот, кто неправдою живёт!». Детдомовцы ждали его прихода, у магазина ловили, когда он за сахаром, солью, мукой приходил. Нож большой самодельный рассматривали, ружьё пистонное, старое. И уводили Кальзю на берег таёжные приключения выпрашивать. Кальзя шёл за ними послушно, как дед-кудесник, зажигал свою трубку-канью, долго курил, а потом выбивал об нготь... Нготь на левой руке, на большом пальце, был у него жёлтый от этого...

Кальзя довёз больного Иглицына до охотничьей базы, к Дионисию Дееву. И сказал: «Не шути, паря, больше с урманом, и особливо, паря, зимой. Нету здоровья — оставь его с богом, урман-то. А то похоронит буран: сам поплачет, сам отпоёт, а жинка уж после — в последнюю очередь».

Дома Ленушке он всего не рассказывал, лишь сообщил, что работу меняет: уговорили-де всё ж таки детдом принять.

«И хорошо, — сказала она, — хоть дома тебя будем чаще видеть».

Но опять начались поездки, устройство дел: от забот в первые месяцы дыхнуть было некогда. Дети распущенные, своевольные — мягко сказать. Что до войны у него здесь было, о том и помину нет. Сад посадили, на фронт уходил — цветения дождался, а тут — всё поломали. Опять начинай заново, ночей не спи, думай, где редкие в этих краях саженцы взять... Дня не проходит спокойно. Уехал вчера на Эзель-Чвор, в соседнюю рыбартель, к председателю-другу Демидову насчёт вяленой рыбы договориться, и вот тебе: поножовщина. Оно, может, конечно, и нет в этом худа — за себя постоял парень, не хулиган, не бандит, и всё же...

Зарождение любви

... Коса по спине до пояса, толстая, на кончике синяя лента, широкая, красивым бантом завязана. Ольге когда как вздумается, так она и заплетает: то в одну косу, то в две. Максиму нравится больше, когда в одну...

Ольга сегодня в новеньком платье — ситчик красивый, радостный, забрызганный мелкими лепестками, похожими на крылышки иванчая. Платье Ольга сшила себе сама. И у других девчонок есть платья из ситчика, и они тоже сами себе их сшили, но Ольгино платье наряднее всех... «Это оно потому наряднее всех, что Ольга сама красивая», — приходит Максиму на ум.

Ветер сердитый, сырой — слезу в глазах высекает, дыхание схватывает; на ветер идти — боком надо поворачиваться, а то упирает в грудь со всей силы, отшатывает. Ветер треплет подол, обжимает колени; Ольга платье одёргивает, придерживает его ладонями и хохочет. Максим отворачивается, как от едкого дыма: стыдно видеть ему голые Ольгины бёдра... Как в лес вошли, сразу затишье стало.

— Ты хмурый, Максим. Почему? — Ольга трогает его за плечо.

— Да нет, — шевелит он бровями.

— Я вижу... Ты почитай мне стихи, самые новые.

— С чего ты взяла? Я в прошлом году ещё Вассе показывал, она поругала меня... С тех пор не пишу.

— Врушка, врушка! Мне тетрадка твоя попадалась...

— А-а-а... По тумбочкам шарисься?

— Нет. На подушке лежала... В спальне не было никого, я взяла полистать.

— Всё равно плохо.

— Мы не чужие... Ну, почитай.

— Не хочу.

— Ну, покуражься — очень красиво. Я тоже тебе, что обещала, не расскажу.

— Что ты обещала?

— А про себя рассказать...

Максим помялся и помолчал.

— Если ты хочешь, я прочитаю... Есть у меня о том, как я в детдом ехал...

«Меня в детдом везли зимою на санях сонною тайгой.

Возница, дедушка Зиновий, немного был на слух тугой.

Он лошадь вдруг огрел вожжою и мне сказал: «В детдоме, знать, не бедокурь, и на чужое — смотри чтоб рта не разевать.

Там поваром Вострова Клавка, моя племянница, так к ней

ты чаще бегай за добавкой, а то худущий, как Кощей.

Не будь обидчивой овечкой, полезут драться — сдачи дай.

Кровать поближе к тёплой печке всегда под зиму выбирай».

Но тут я задремал под шубой, возница снился мне с кнутом

и дом наш старый на отшибе, с забитым наглухо окном».

— Разве ты это о себе написал? — Глаза у Ольги блестели. — Ты к нам приехал летом, а не зимой, не на санях, а на паузке. И не один, а с братишкой... И ты говорил, что дома у вас никакого не было. — Ольга недоумевала, казалась растерянной. Максим улыбнулся, не размыкая губ: какая-то тишина нашла на него, спокойствие. — Написал, как мне придумалось... Объяснить не могу.

Вершины деревьев над головой сплетались почти в сплошную, тёмную густоту, и ни один клочок ветра не попадал на землю, под полог леса. Над вершинами же катился неумолкаемый гул, осыпал хвою, чешуйки коры и редко сбивал шишки с сосен. Ольга опустила глаза и заговорила неторопливо.

— Отец мой с войны не вернулся... Жили мы с матерью в городе: я да она. Мать на махорке работала — на фабрике в Томске. Я бегала в

школу. В школу и на толкучку: раз в неделю табак продавать, который мать с работы таскала... Первое время она ругала себя: выпьет, заплачет, клясться начнёт, что больше не украдёт щепотки. А потом... Мне было до этого что? Махорка — не хлеб, не картошка. Какая-то дрянь вонючая. Мать с работы придёт — вся в табаке насквозь. Я даже чихала от этого. Ольга сморщила нос и закрыла глаза. Максим засмеялся.

— А раньше на карандашке она работала, мать, так от неё знаешь как вкусно пахло? Лаками, красками, кедром! Но потом она перешла зачем-то на эту вонючую фабрику... Подходишь к махорочной, а от неё за два квартала уже нос крутит и глаза ест... Вот табачком я и бегала на толчок торговать.

Ольге кажется, что и сейчас её окружает этот многоголосый шум толкучего рынка... Калеки, подростки, старухи. Охрипшие, потные. Замусоленные бушлаты и телогрейки, солдатские шапки со звёздами и без звёзд. Обступают девчонку плотно, тянут скомканные десятки и полусотки: «Табачку! Табачку! Табачку!».

Ольга не зазывает и не кричит, не расхваливает товар — только отмеривает полустаканом махорку, опрокидывает в распяленные карманы, в засаленные перевёрнутые кепчонки, в платки старухам. Никто не торгуется с ней, не спорит: сколько скажет, столько дают. Мордастеньякая девчонка бойко прятала деньги за пазуху: мешочек махорки миглом расхватывали. В минуты управив дело, она шла покупать самодельные леденцы у мрачной и толстой бабы: это была ей награда.

Мать у дочери принимала выручку со вздохами, но деньги всегда пересчитывала: плевала на пальцы и редко при этом помаргивала глазами. Она была ещё молодая, полная и, наверно, красивая: мужчины ходили к ней тоже видные, сытые, какие-то все начальники... Спать Ольге стелили на кухне, в пыльном тесном углу. А до этого спала она в комнате с матерью...

— Я понимала: не маленькая была. Сердилась, фыркала, когда мужики приходили, язык им показывала. А они надо мной смеялись, ласкаться лезли. А я иногда как заплачу... Папку мне жалко было: он грузчик у нас был на пристани... Дядьки стали меня бояться и начали

приходить поздно ночью, когда я уже спала... А я не спала иногда до утра... Мать таскала махорку с фабрики... в лифчике... И так он большущий был, лифчик, да она на него ещё карманы нашила... Придёт иногда, как бомба, толстая. И как её в проходной пропускали? А бывало, ни щепотки не приносила... Толкучка мне опротивела, всё опротивело. И леденцов самодельных я уже покупать не ходила... Так иногда подумаю: пионерка, а чем занимаюсь? В школе у нас славные были учителя, хорошему всё учили... Пригрозила я матери, что расскажу про её дела-делишки... Думала, что она побьёт меня, а она давай гладить да уговаривать. И в слезах вся... Жалко стало её, опять я пошла с мешочком...

Весна была, таяло, воробьи по карнизам, верба цвела. Лёд на Ушайке сломало, и в промоинах ребятня, старики рыбёшку вылавливали сачками-накидками. Ольга прошла через Каменный мост, поднялась по трамвайной линии, и только свернула к толкучему рынку — прилип к ней нахал-оборванец: белоглазый, худой, как крыса. Толкнул её между забором и пивным киоском, подставил две грязные горсти: я, говорит, давно тебя высмотрел, да мужичьё не даёт подступиться; отсыпай, говорит, мне две горсти махорки, а то всё отберу.

— Я отсыпала: испугалась, страшным он мне показался. Глаз я таких не видала ни у кого: круглые, белые, как обмороженные.

— У нашего Оськи такие, — сказал Максим и покашлял.

— А кто же ты думал? Он это и был... Сколько я после на толчок приходила — всегда отсыпала ему махорки. И он меня выручил раз. Как закричит: «Рви когти, дура, легавый на тебя прёт!». Глянула — фуражка красная средь голов мелькает, да быстро — прямо ко мне. Бросила я свой мешочек со страху — махорки ещё в нем стакана четыре осталось... В себя пришла только на Каменном мосту. Ольга траву сорвала, накрутила на руку.

— Мать и так поймали, через год после этого. Осудили на семь, что ли, лет... Сюда меня привезли — Оська Кочер уже здесь был... А дальше мне что-то и страшно рассказывать...

Максим поднял короткий сучок и забросил его далеко, чуть не до самых макушек деревьев. Остановился как вкопанный, проследил, куда палка упала...

— Так Оська что... тебя бил?

— Нет, — вспыхнула Ольга и отвернулась. — Не знаю, зачем я тебе это стала рассказывать... Он тогда ничего не сделал со мной, ничего! Я ему морду противную всю обцарапала... Это было в то лето, как приехать тебе сюда...

Лес хорошо просвечивался, и пестрота солнечных пятен золотой сетью дрожала на травах, на хвое деревьев. Блики солнца и шум вершин, редкие голоса птиц и поскрипывание сухостоин сливались в одну счастливую, радостную картину. Мягкий, нетопкий мох, устилавший зеленью твердь петляющей тропки, по которой идти было одно удовольствие, чернота мёртвой, застойной воды под корягами были милы и приятны. По этой тропе в конце лета отправлялись мужики шишкобойничать; старый остяк Кальзя ходил здесь с собакой на промысел. Тропа эта, если по ней идти долго-долго, уводила к большим кедровым массивам, за которыми дальше были болота — великие васюганские топи. К тропе с боков подхлестывались ещё тропинки, тонкие жилки, почти неприметные; они подходили со стороны Эзель-Чвора, Максим это знал. И у него появилась мысль — обогнуть с Ольгой полкруга, выйти на эзельчворовскую дорогу по тропке-ниточке и вернуться в Чижапку с другой стороны. Уж тут они нагуляются и устанут.

Тревога возникла для них неожиданно: стёрлись яркие краски, тёплые блики, и одна сплошная тень закрыла лес. И сразу же в этой тени, в густом полумраке, стал казаться иным ветровой гул в вершинах. Уже не было в нём той ласковости, той захватывающей и влекущей силы, что минуту назад, когда солнце было и были блики. Он страшил и отталкивал, этот сумрачный нарастающий шум. Туча, как тёмной шторой, задёрнула солнце, и чувствовалось, что лес вот-вот прошибёт дождь или ливень, с молниями и грохотом грома.

Впереди лес вроде бы расступался, там открывалась поляна, и они, взявшись за руки, побежали туда. Это точно была поляна, сухая и чистая, с белым хрустящим мхом, старым кострищем, над которым

стояли рогульки для котелка. А на краю поляны, где невысокий ельник и папоротник густо сплетались между собой, была засидка из бересты — удобный, уютный шалашик.

— Это Кальзин, наверно, шалаш! — обрадовался Максим. — Шалаши Кальзя из бересты ставит, он сам говорил мне... Заберёмся и переждём грозу.

— Да не будет грозы, — сказала Ольга, останавливаясь перед шалашиком. — Нашла тучка, и что? Ветром её прогонит. В такой ветер никакой дождь долго не удержится.

— Ветер может утихнуть. Так часто бывает: нагонит грозу, а сам уберётся.

На лугу, в чистом поле, приближение грозы далеко видно, а в тайге она налетает внезапно, как коршун... Посинело небо над головой, вспучилась туча, ветер слабел, слабел и затих. И близко оглушительно грохотнул гром. Тяжёлые капли дробью просыпались на затихающий, будто испуганный лес.

Двоим было только-только в берестяном шалашике, и они в нём сидели, тесно прижавшись, подобрвав ноги. Под проливным дождём береста вздрагивала и гудела, и Максиму казалось, что сидят они не в шалашике, а в большом барабане, по которому бьют тысячью тонких палочек. Гром оглушал и молнии ослепляли, опаляя то белым, то синим огнём мокрые, дышащие вершины деревьев.

— Страшно тебе? — громко спросил Максим, видя так близко перед собой чистые, ясные, широко распахнутые глаза.

— Нет... Разве только чуть-чутьочку!.. А я маленькая от грозы в сундук пряталась! — Ольга язык высунула и закусила его белыми красивыми зубами.

— Гроза гремит ай-да-ну! Настоящая! Оглушило меня на одно ухо... И холодно, брррр! — Максим в одной белой рубашке был.

— Я тоже озябла вся... И платье измяла новое: видишь, хвоинок сколько пристало к ситчику... Погрей меня. — Она повернулась к нему спиной, взяла сама его руки, скрестила их на груди. Так сидели они и дрожали — от холода и волнения.

— Ты на учителя будешь учиться? — спросила Ольга и высунулась из шалаша. — Смотри-ка, смотри — синева показалась!

— Может, учителем буду, может, ещё кем, — тихо сказал Максим, тоже выглядывая наружу и подставляя лицо под утихающий дождь. — Я книжки люблю читать. Слова непонятные на бумажку выписываю... Мне Елена Ефимовна словарь подарила, толстый. Вот книг у кого — обалдеть можно! Наверное, тысяча... Ни у кого в Усть-Чижапке столько книг нету.

— А кем я буду — я точно знаю, — отстранилась от него Ольга. — Мы в Томске поступим с девчонками на радистов. В училище что не жить? Там детдомовцев одевают, кормят. И профессия чем плохая? Будем радистами, уедем на Сахалин или куда-нибудь в Заполярье, на Диксон. На Диксоне наша одна воспитанница работает, пишет нам письма.

— Лучше на корабле плавать радистом, — авторитетно сказал Максим. — Об этом в книгах так интересно пишут...

— Дождь перестал — побежали. Ох, и мокрешеньки будем! Теперь вся вода с кустов наша.

По тонкой нитке-тропинке, как и хотел Максим, вышли они вкруговую на эзель-чворовскую дорогу. Белый лесной песок потемнел от влаги; за бледными, тонкими тучами проступало солнце, и лучи его уже начинали просушивать дорогу. Щебет птиц чисто и ласково разливался в воздухе; лужи в ямах и выбоинах отражали спокойное, почти очищенное от туч небо. Они шли быстро, где с весёлой припрыжкой, где поспешая бегом; иногда останавливались, чтобы нарвать цветов или убить змею: змеи им часто переползали дорогу.

Громкий, запальчивый, радостный разговор не умолкал между ними.

— Вот за этим бугром, где высокие сосны, дорога падает прямо в болото, — частила Ольга.

— Знаю... Ух, там и топь, ух, и зыбун! Мы с Гошкой пытались дно в «окошке» достать — не достали.

— Подожди... А ты слышишь? — До зыбуна близёхонько было, и Ольга остановилась.

— Как будто кто чавкает, хлюпает... Когда ноги увязнут, когда их быстро выдёргиваешь, тогда такие же звуки... Точно-точно! Но человек бы кричал, если б тонул. Скотина разве какая...

Сосны перед ними раздвинулись, расступились, открылось маленькое, но гибельное болото, и Максим с Ольгой увидели, что по ту сторону зыби, в ельнике, пригибаются, ломятся в густоту леса двое. И эти двое — чёрные, как обгорелые пни. И вроде бы за одним волочится верёвка, вожжовка жёлтая, конопляная — на ту похожая, какую Максим за домом Щукотек головой ненароком сбил: на штыре деревянном висела... чёрные двое стремительно скрылись, но треск за ними всё ещё слышался... А в зелёно-бурой моховой жиже, лицом вниз, втиснутый, втоптаный в топь, будто бы человек лежал — спина бугром выпятилась.

Ольга Максиму руку схватила, прижалась к нему. Остановились они, онемели — шагу дальше боятся ступить. Страх ударил обоим по сердцу... До Ольги не сразу дошло увиденное, а когда дошло — она вся затряслась, закричала.

— Не базлай, и так страшно, — еле проговорил Максим, и тоже как заревёт во всю глотку: показалось ему, что те двое, с верёвкой, чёрные, повернули назад, спрятались за деревьями и смотрят на них по-волчьи.

Через болото перебегать надо было мимо убитого, и Максим со всех ног пустился, на скользких бревёшках, почти уже сгнивших, оступился, одной ногой по колено увяз в торфяной жиже, но тотчас же выскочил. А позади него Ольга охала и дышала, как собакой затравленная. Возле убитого мох вытопан был — следы человечьи и конские, на кочках кровь запеклась, застыла сгустками. Убитый лежал в болоте ничком, руки раскинул, волосы на затылке тоже все кровью заплёсканы...

— Мамочка, мама! — опять вскрикнула Ольга; от крика ей горло перехватило, а в глазах слёзы стояли.

По твёрдой лесной дороге бежали они без оглядки, и всё чудилось им, что их настигают убийцы, гонятся по пятам, и вот-вот золотая вожжовка захлестнёт им шею петлёй... Такими они и влетели в посёлок: ошалелые до смерти, бледные.

На всей улице не было ни души, и людей увидали они только у ветлечебницы: конюх Андрей Гросс сидел на крыльце со своей Розой и смеялся взахлёб над чем-то. Заметил ребят — смех проглотил.

— Кто же это вас напугал? Могу поспорить — медведь! — Андрей переставил босые ноги на ступеньку пониже. — Или чёрт с калёной кочергой.

— Убили... Там председателя эзель-чворовского убили, — колючим, сухим языком выговорил Максим и дёрнул за руку Ольгу: она всё охала и всхлипывала сквозь слёзы.

— Не мели... Чего ты несёшь? — изменился в лице Андрей, и губы его обескровились. — Да ты послушай, что он говорит! — повернулся Андрей к обомлевшей жене.

— Да Александр-то Никитич ведь только что у нас чай пил, — сказала шёпотом ветврачиха. — На свадьбу, говорит, не попал, так хоть чаю у вас попью... Грусть была у него на лице, это правда: всё лес колхозный жалел, что в бурю угнало...

— Да погоди ты, постой! — Андрей Гросс вскочил, перед глазами рукой провёл: пот на лоб ему выступил, а глаза хлопали, как от видения какого отмаргивались. — Максим, беги в сельсовет! А я на коня и к болоту!

— Один-то ты что же... Народ собрать надо, — сильно встревожилась Роза, но Андрей уже не слышал её слов...

На бонах, которые протянулись через низину между Чижапкой и Кривошеинкой, Максим распорол ногу о гвоздь, ополоснул ногу в застойной воде озерушки и побежал напрямик дальше, а Ольга свернула к детдому. Максим как-то и не заметил, когда Ольга свернула. Сам он выскочил на широкую улицу, обогнул двухэтажное здание школы и вбежал в небольшой серый домик с полинялым, потрёпанным флагом на крыше...

А тем временем в Эзель-Чворе об этом уже узнали — от старика латыша. Латыш в Усть-Чижапку за чем-то шёл и наткнулся на труп в болоте. Был он больной, старик, сильно одышкой страдал, а бежал от болота назад без оглядки. В контору колхоза ввалился он чуть живёхонек, только и выговорил:

— Зарезали... нашего... Александра Никитича!

Там была Пелагея Панкратьевна — сидела на лавке, подол на коленях разглаживала. Как старик про убийство сказал, так у неё глаза на лоб выкатились.

— Медведь порвал! — Застыли глаза, потемнели щёки у Пелагеи Панкратьевны. Встала с лавки она прямая, опустила руки вдоль тела. — А то, могло статься, и росомаха... Господи! Да от такой вести можно с ума попятиться. Ой, заявить же надо!

И побежала она, но не куда-нибудь, а домой к себе...

А тут уж на всё село голосила осиротевшая Нюшка:

— Извели, извели, ироды! Погубили моего сокола!

А за Нюшкой вслед все в один голос заговорили: Щукотьки, Щукотьки это.

И опять здесь припомнили старое, ту пору ещё, когда Щукотьки богатые были, завод кожевенный на Алтае держали. Богатство у них новая власть к рукам прибрала, а жадность- то, злоба с ними остались. Жадность, злобу не отберёшь, как вещь... Старики вспомнили, как Тит Щукотько, покойник, домище у старовера купил тут в тридцать первом году: двадцать тыщ сразу на стол выложил. Выходит, было у них добро припрятано, у Щукотек, было! На новом месте они в первый же год лучше всех зажили: скот завели, птицу, обстроились. Хапали из колхоза и так, где плохо лежит. А Демидов вот на руку им не подыгрывал. Они ему улыбались и льстили, а втихомолку точили нож.

— Остерегаться бы Александру Никитичу, а он в открытую с ними.

— Такой человек был — прямой. По-за глаза не любил пересуживать... По-за глаза раные-то о царях говорили...

Мужики эзель-чворовские также припомнили, что за день до убийства, вечером, видели полупьяных Евгешку, волков- бугорского лесника, и Калистрата; с мешками заплечными уходили они куда-то. Одному рыбаку отвечали, что подались остров кедровый смотреть — мол, какой урожай нынче шишка сулит, поглядеть надо. Другому встречному, уже далеко от села, Калистрат и Евгешка толковали иначе:

«Зайдём на покос — на стога взглянем, не покосились ли. Сетки в озеро кинем — карась хорошо ходит». Встречный мужик сказал, что к ночи гроза ожидается, а карась к непогоде на дно ложится, в ил зарывается. «А что нам гроза, что ночь? Мы с ночью дружны...» Так будто бы Калистрат сквозь едкий смех высказался.

Передавалось на Эзель-Чворе из дома в дом и такое. Щукотьки недавно взяли стряпку себе — эстонку. По-русски она едва-едва понимала, но в работе была прилежная, готовить умела, хлеб печь. Вот эта эстонка и натолкнулась в сенях на окровавленную фуфайку. Натолкнулась да как закричит: про убийство она уже знала. Из дому выскочил Калистрат: он только вернулся из лесу с Евгешкой-объездчиком, самогонку на кухне пили они, жадно закусывали жареными карасями. Калистрат вырвал фуфайку из рук эстонки, дыхнул ей в лицо сивухой, сам весь трясётся. А Чернобурка уже тут как тут между ними.

— Чего, голубушка, выпялилась? Или не знаешь, что вчерась мы свинью кололи?.. А ты подумала-то об чём?

Перед этим Щукотьки, верно, свинью забили, а эзель- чворовским было дивно: летом скотину бьют. Чернобурка потом и этому объяснение дала: свинья у них вроде бы подавилась чем-то, кататься стала, храпеть — вот и пришлось-де прирезать. Пелагея Панкратьевна хоть и старалась успокоить эстонку, но та от испуга долго в себя прийти не могла. А на другой день ушла от Щукотек совсем...

Щукотек взяли по подозрению в убийстве — Илью и Калистрата. Они всё отрицали, грозились уморить себя голодом, если их не отпустят... Прямых улик против них действительно не было. Дело вести приехал пожилой майор из органов безопасности, человек лысый, с жёлтым

лицом, угрюмый. Глаза его были воспалены от насморка, он сморкался в платок и нервничал: и простуда к нему пристала, и опоздал-то он на три дня, и дождь-то обильный пролил в день убийства — залил всю зелёную болотину так, что вода поверх мха выступила. Всем этим был недоволен следователь, но на похоронах сказал, поклялся даже, что убийцы себя покажут и кара настигнет их.

В Эзель-Чворе не было ни одной бабы, которая бы не пролила слёз, не поохала, не повздыхала. А Нюшка — та вовсе вся истерзалась, глаза её так и не просыхали. Когда повели Нюшку с кладбища, затянула она нечеловеческим голосом:

Снеги пали, снеги пали — Пали и растаяли...

Лучше бы м-меня убили, Милого оставили!

Такие вот слова у неё в надрывную песню сложились!..

Разговоров об этом убийстве было не переслушать. В округе с тридцатых годов здесь смертей было много: мёрли первые поселенцы от голода, от болезней, тонули, гибли на валке леса в войну, замерзали в бураны, умирали от старости старики, а вот убийство за это время тут помнят только одно: на Жёлтом Яре в тридцать пятом году. Жил там немтырь, дурачок У Так прозвали его за то, что он всё время укал. Жил этот У блаженненьким, тихим, никого никогда не трогал, но раз на него что-то такое нашло. Забрался он в дом к одинокой женщине, когда та на работе была, и зарубил в зыбке младенчика годовалого. От хлынувшей крови У ошалел, перекопился весь, зажмурился и стал метаться по комнате, натыкаясь на что попало. Разбился в кровь, но глаз своих так и не разлепил. Верёвками опоясали У, оплели и увезли куда-то...

Других убийств с тридцатых годов в окрестных сёлах и деревнях не было. Шло своим чередом следствие, и каждый новый допрос обсуждался в народе.

— Отпираются, ты погляди! Да окромя них-то кому? И детдомовцы усть-чизапские, эти парнишка с девчонкой, видели, как они убегали.

— Они или нет — точно ведь не доказано...

— А Физка-то что ж замолчала? Не обеляет своих. А то какой был язык у бабы! Не язык, а гончая собака.

— Да Физка что! Сама Чернобурка молчит, как с харчком во рту ходит.

— Даве её об чём-то спросили, так она убежала, как сивка без узды.

— А что же Евгешку не взяли, волков-бугорского? С Калистратом их вместе видели.

— Тут какой-то резон есть у следователя.

— Верно, верно: будут Щукотек судить — они и Евгешку- бандита потащат.

— Ничо — расколются Щукотьки-то, терпежу не хватит молчать, да и фактами подопрут. Факты-то есть небось.

— Отошла им лавочка, добрыкались!

— Они и раньше хлебом печёным скот кормили.

— А мы, дураки, работали — ни рукава от шубы.

— Ходили мы с ними по одному полу, да разной ногой ступали...

— Щукотьки — они отжитые людишки, дикой собакой кусанные. Убийство это к ихним рукам липнет.

— Да подь они все к холере, прости Бог греха!

— Ты, дед, не отмахивайся. Али не помнишь, как был Илья Титыч до председателя полномоченным по налогам, по займам? Придёт он, бывалоче, прыгает перед тобой, кулаком машет — дай тыщу рублей, а то будет душа на поскотине... А денег дать — не воды из колодца набрать: где денег взять, когда их нету?

— А Гаврилка какой у них был — глаза гадючьи? Хорошо, ты с ним не встречался, а он в тридцать седьмом на Жёлтом Яре ко мне матерьял подбирал, в морду наганом тыкал. Знаем мы их!

Разворошило мужичьи души: со дна всю накипь, обиды все вывернуло. Не успокоятся мужики... Чернобурка два дня после похорон не появлялась нигде на улице, по хозяйству управлялась с

фонарём ночью; ночью же и коров доить ездила на ту сторону Васюгана, на остров. И вдруг она появилась возле конторы — в чёрном во всём, седая, как пепел. Народ там сидел, у конторы, так она «здравствуйте» всем сказала с протяжным вздохом, руку к груди приложила. Ответили ей бурчливо, невнятно. Она заморгала, старушечьи губы её задёргались, задрожали, мутные слёзы из глаз так и брызнули. И взвыла она, как волчица:

— Ой, несчастные мы, разнесчастные! И заступиться-то за нас некому, и погубят-то нас люди злые, завистливые! Оговорили, оклеветали! Сердце моё позора не вынесет...

Столб стоял возле конторы, обглоданный столб, щепастый — коней за него привязывали, кони его и обгрызли, зубной зуд унимали. В этот столб Чернобурка плечом уткнулась — в слезах вся, в морщинах. Тихо и напряжённо глядели на неё люди и видели, что пришла она к ним за сочувствием, хоть какое-то доброе слово от них услышать. Но слов ей добрых никто говорить не хотел: не было для неё у людей таких слов. Трегубый мужик, пилорамщик, сказал, потупясь:

— Ить развылася! Не выла бы ты, Пелагея Панкратьевна... Чего взялась? Кроме вашего рода постылого кто мог такое злодейство сделать? Жили вы так — ступите шаг и подумаете: не дрожит ли земля. Расчётливо шибко жили, а тут про- считались... Не вой, не гневи народ: он и так гневен.

— Ой, лишенько, ой, что ты такое несёшь? Не мы, не мы — бог судья.

Она вынимала длинной костлявой рукой платок из-за пазухи и вынуть никак не могла: почти уж собой не владела. Но язык её слушался, и она просыпала словечки:

— Всякого выслушай, но не всякому верь... Чтобы дети мои кровь человечью пролили? Да я бы сама их на месте, сама...

Ей не хватало воздуха; в самом деле она казалась теперь больной и слабой, измученной. Но сочувствия Пелагее Панкратьевне не было ниоткуда. Наоборот: её вымученнонесчастный вид, причитания и слёзы начали нехорошо разжигать людей. Молодой парень, сплюнув, в лицо ей колюче бросил:

— Шли бы вы к чёрту все... Вам ещё старое вспомнят. Вспомнят ужо, ого!

Чернобурка не изменилась в лице, но приглушила слёзы, сухими пальцами провела по глазам.

— К чёрту, милоч, меня нельзя посылать: я верующая, Богу угодная...

Проговорила так и пошла, вздёрнув сморщенный подбородок. Но голова у неё тряслась, никла — она уже не могла держать её так, как прежде держала, — независимо, свысока.

А с Физой и вовсе творилось что-то уж непонятное: она заболела, была в горячке, к ней приезжала врачиха из Усть-Чижапки, уколы делала. Поднялась Физа — узнать её было трудно: усохла и похудела, губы от жара спекло — они шелушились и сморщивались. А глаза были как у побитой собаки: испуганно-злобные и трусливые. И было что-то ещё в этих глазах — печаль такая, что временами людям хотелось посочувствовать ей. В этот день оделась она неряшливо, уж, верно, в самое худшее, что у неё было: на ногах сапоги разбитые, на плечах сарафан — застиранный, блёклый. Покрытая красным большим платком с чёрными розами, она шла по улице спотыкаясь, и собаки из подворотен взбрехивали на неё почему-то как на чужую. Бабы глядели ей в спину и перешёптывались:

— Сбежал с бабы навар, сплыл жирок-то.

— Раньше-то хахали табуном ходили, а теперь никто не глядит. Вот и заела тоска.

— Были мужики, так жила бы как люди... Не надо было носом колупать.

— Уж куда там — доколупалась!

— А видели, как у могилы она тенью стояла? Когда крышку-то пригвоздили и гроб опускать начали... помните, помните, что с нею случилось? Будто бы смерть ей в лицо дыхнула — так она вся потемнела.

— Так, бабоньки, так... Любила, что ли, она его, Демидова- то? А то, может, со зла всё исходит, что он на неё не позарился — мимо прошёл. А она ведь какая была? Ей что ни мужик, то вынь да положь.

— Ой, да она к Демидихе прямо! Добить, dokonать она Нюшку решила, что ль? Ох, быть новой беде у нас!

Как будто калеченная какая, надорванная, вошла Физа в пустые и серые сени, постояла, не то прислушиваясь, что внутри дома делается, не то собираясь с чувствами... Постояла вот так и в дверь постучалась, хоть и не принято было здесь в двери стучаться... На стук её не ответили. Тогда она потянула скобу на себя, переступила порог.

Чистая горенка с зашторенными окошками была пуста и бедна. Ни домотканых ковриков не было во всём доме, ни фабричных ковров. Обыкновенный крестьянский домишко с русской белёной печью, с широким столом и жёлтыми мытыми лавками. Не часто, но заходила Физа сюда и раньше — за делом и так, без дела, заживала. Но раньше бедность председательской избы не кидалась ей как-то в глаза, как теперь кинулась... У них, у Щукотек, и ковры фабричные есть, и тюль дорогой на окнах, и скатерти заграничные на столах, и всего- то ещё разного много — задарма почти накупали у эвакуированных латышей и эстонцев, разжились на чужом несчастье... Физа в секунду всё вокруг себя оглядела, заметила, что за переборкой в другой половине дома ребёнок в кроватке спит — сын Александра Никитича, полусиротка. Кроватка, в которой он спал, простая-простая была: как сыну родиться, Демидов сам её делал, выстругивал да сколачивал. Помнит Физа, какая радость была у него на лице тогда: стружки с волос сдувал, улыбался, смешные, ласковые слова приговаривал. Сделал-сладил кроватку, а краски покрасить нигде не нашёл. Так и осталась она некрашенная, кроватка: была сосновая, жёлтая — пожелтела сильнее ещё...

Шорох послышался — вроде на кухне, за ситцевой занавеской. Физа вздрогнула, обернулась. Занавеска просвечивала — с той стороны свет из окна кухонного на занавеску падал, и Физа только сейчас увидела, что крышка подполья открыта была, и Нюшка оттуда большую чугунок картошки выставила — проросшую, в перепутанных белых ростках.

У Нюшки вздох вырвался, как испуг, каблуки по полу стукнули, хлопнула крышка подполья — грохнулась, не придержанная рукой, и Нюшка — худая, с опухшими красными веками, с искусанными губами, синяя — высунулась из-за ситцевой занавески. Лицо у неё свело судорогой, она выступила вперёд.

— Чего тебе надо здесь? Уходи!

Физа даже не вздрогнула — слабо-слабо опустилась на лавку, голову наклонила с таким выражением в глазах, словно готова была принять и удар топором, и самые страшные, оскорбительные слова.

— Пришла покаяться... перед тобой. Мне тяжело... Ты даже не знаешь, как мне тяжело. — Слёзы накатились ей на глаза, с болью она закусила губы.

— Какие же вы бесстыжие! — вскричала Нюшка и села, как подломилась, у печки на табурет. — Чернобурка, мамаша твоя, тоже вот к людям за жалостью лезет... без совести, без стыда. И ты туда же за ней... Убирайся, подлая! Я могу и ножом пырнуть, как вы Демидова моего...

Нюшка склонилась, закрыла лицо подолом; уши её побелели.

— Истопчи меня, истерзай, но я в этом деле не грешна! — Дикие стали у Физы глаза. — Перед тобой я в одном виновата, сознаюсь: тогда, на вечере в нашем доме, я порчу хотела на тебя напустить... с матушкиного благословения. Помнишь, как с «синенькой» худо было тебе? Это я, я, грешная, виновата! — Физа будто обезумела — сорвалась с лавки, подставила Нюшке лицо своё дикое, перекошенное, раздирает на груди блузку. — За это и мучаюсь, за это и в ноги тебе упаду. Только прости...

Нюшка тоже перед ней встала, стояла в дрожи вся, как травка тонкая на ветру: не знала, что ей на это сказать, что ответить.

— Так что же теперь... в петлю лезть? — кое-как совладала с собой Нюшка, отступила, чтобы лицо Физкино лучше видеть, в глаза ей смотреть, а то глаза Физкины близко перед ней были — в водянистые пятна сливались...

Отступила Нюшка и зашептала свистящим шёпотом:

— За «синенькую» прощу, зла не попомню, но скажи мне, скажи, как вы мужа моего загубили, за что, за что?! — Святая была перед Физой Нюшка, как на кресте распятая: глаза её правды просили. Физа от этого взгляда, от этого шёпота к порогу попятилась.

— Я тут невинная перед тобой. Убей на месте — невинная! Зла у меня было много... к Александру Никитичу, это всё правда, правда! Но и любила его я, любила... Ни по ком ещё так сердце моё не страдало! А они — матушка, братья... Они всё сулились за старое с ним посчитаться.

Физа осеклась...

— Говори, говори... — Нюшка к ней подступила вся слезами облитая. — Говори... Видишь меня: не человек я уже, а

тьень какая-то. Иссохла, горем изглоданная, а ты скажи — за что? Его-то за что?! За правду ему, болезному, мстили! Это Илья его, знаю!

— Нет-нет, Илью вы сюда не путайте! — с трудом продышала эти слова Физа. — Илья тоже был против... Против! Калистрат созлодействовал это да Евгешка-бандит, пьянчуга... Матушка им потакала, нашёптывала... Я не верила, до последнего мига не верила... Ой, что же теперь с нами будет?

Нюшка упала на пол, рассудка лишилась... Ребёнок заплакал разбуженный, заскрипела кровать. Обезумевшая Физа выплеснула ведро воды на обморочную Нюшку и выскочила на улицу. Бежала она с растрёпанной головой и кричала:

— Убийцы, убийцы мы! И что ж теперь с нами будет?

Бабы всполошились:

— Что опять она натворила? Вот прости господи-то!

— Айдайте к Нюшке! С ней что-то неладно, девки!..

Прикусили язык бабы: Чернобурка в калитку вышла — прямая, высокая, в чёрном, с железным ведром в руках. А в ведре — гнилушки чадят, дымятся. На селе слышно было, что Чернобурка собирается погреб окуривать, плесень из погреба выгонять... Дым из ведра от чадящих гнилушек клубами в лицо ей накатывался, а она не

отвёртывалась — глядела на Физику свою орущую, поджидала — калитку открыла настежь. И как только Физа в калитку вбежала, Чернобурка воротца захлопнула и на защёлку их, да петель ещё через столб захватила, узлом затянула. Физику она в спину успела толкнуть. И скрылись обе из глаз...

— Ну, бабоньки, ещё одного покойника хоронить будем: забьёт теперь Чернобурка дочь. Поди-ка, слышали, об чём Физка кричала?

Загремели вёдрами бабы и разбежались, как курицы от налетевшего смерча...

Ольга в спальне была одна, сидела на койке, поджав под себя ноги, бледная и печальная, словно после болезни. Во дворе за окном людно было и шумно, как всегда. В столовой топились печи, водовоз пятил лошадь к крыльцу, подкатывал бочку, и дежурные уже обступали его с пустыми вёдрами.

Двое мальчишек карабкались на столовскую крышу, подбирались к высоким трубам, чтобы спустить в них картошку, нанизанную на проволоку. В детдоме считалось, что нету картошки лучше, чем испечённая в трубе, на дыму: трубным жаром всю горечь из неё вытянет, подрумянит, поджарит — таким духом проймёт, ну объеденье просто. Но лазить по крышам строго-настрого запрещалось, особенно после того, как Оська Кочер сорвался и поломал себе руки... По-доброму, Ольге сейчас бы встать, пойти во двор и, как старшей, согнать мальчишек с крыши, но её охватило какое-то отупение и безразличие: второй день вот так Ольга-Пончик сидит, девчонки в спальню еду ей носят... И вчера она видела из окна такую картину, что надо бы побежать и вмешаться, но она как будто оледенела.

Вчера Корова-Сердитов принёс из лесу живую гадюку, опустил её возле пожарного щита, а Егорку Сараева послал в мастерскую за щипчиками. Пожарный щит от Ольгиной спальни в десяти метрах, и она всё до последнего слова слышала... Егорка притащил щипчики, Корова змее голову защемил палкой, ботинком на хвост наступил и стал ядовитый зуб щипчиками вытаскивать. Вытащил, а потом отпустил змею и в пасть ей мизинец сунул. Ольга как вскрикнет, и

лицом в подушку упала... Поднялась и в окошко опять глядит, как магнитом её потянуло...

К пожарному щиту Пал Палыч бежал, ребята круг перед ним разомкнули: ребят уже много успело сюда сбежаться. Иглицын без слов наступил гадюке на голову, а Корову-Сердитова взял за ухо. Мальчишки захохотали, Корова глаза опустил, что-то стал объяснять директору, но Иглицын с тяжёлым, сердитым лицом ушёл от них... Все дни эти он был в таком горе, что стало у него плохо с сердцем, и он носил с собой пузырёк с лекарствами. Ольге так жалко стало Пал Палыча, что она чуть не заплакала. Уж хоть бы эти мальчишки уgomонились на время. Неужели не понимают, бессовестные?.. Ольге хотелось со зла надавать по щекам Корове...

А сегодня, часа два назад, заходил к ней Максим, сказал, что следователь говорить с ними хочет. Ольга руками в кровать вцепилась, затрясла головой: нет-нет, она не пойдёт, ни за что не пойдёт. Максим кивнул: он понимал Ольгу...

— Ты приходи потом, — сказала она.

— Сразу-сразу... И мы на речку пойдём, а то... знаешь, так можно с ума свихнуться... Ты впечатлительная такая, я и не думал.

Максим ушёл, и вот она ждёт его, измучилась вся, во двор смотрит. Дежурные по столовой вычерпали всю воду из бочки, водовоз вывел коня из ограды на улицу, затарахтел по сухой дороге на выбоинах.

Мальчишек с крыши сгоняла Васса Донатовна, они слезали неохотно: картошка не допеклась, оставлять было жалко. Ольга-Пончик подумала, что лишь только Васса Донатовна куда-нибудь отвернётся, мальчишки снова полезут на крышу столовки и вытащат снизки из труб. Эти проныры вечно такие: как хорошо ни корми их, а они будут всегда искать себе разные лакомства — картошку на трубах печь, горох шелушить за корчёвками на колхозном поле, таскать огурцы с грядок.

Мальчишки такие... Вошёл Максим, удивился:

— Ты всё сидишь на кровати? Пойдём-пойдём, на улице так хорошо.

— Сядь, посиди минуточку... Расскажи.

Максим не сел, но стал с ней рядом.

— Ну, вспомнил я всё, как было... Я рассказывал, он записывал. Долго записывал... С лошади-то его петлей стянули, председателя-то. Стянули, а после уже начали резать. Он уже мёртвый был, а они всё его резали... Врачи так установили... А конь, выходит, шарахнулся, с гати сорвался, и в прорву его затянуло: коня-то нигде не нашли... В ту прорву попасть, что ты! — до магмы провалишься...

На Ольгиной тумбочке ручка лежала, Максим взял её, ногтем по ней пощёлкал, повертел в руках, вздохнул...

— Ты давеча что-то говорил мне про колодец, — заботливо спросила Ольга.

— Да, завтра будем колодец чистить в больнице.

— Не сорвись, — тепло и просто предупредила Ольга.

«Приговаривает, как мать», — подумал Максим.

Ольга взяла его руку и прижалась щекой к ладони.

— Год нынче такой тяжёлый — тяжелее ещё того, когда ты приехал сюда и с Кочером вы дрались... Я сандалетки сейчас надену, и мы пойдём...

Больничный колодец давно собирались чистить, да с года на год откладывали. Он замусорился, заилился, вода в нём начала отдавать ржавчиной, мутнела, и вообще воды становилось мало. И нынче бы, может, поговорили бы о колодце и замолчали б до новой осени, если бы не один случай. Больничная сторожиха тётка Зельма вычерпнула на днях ведром дохлую кошку. С тёткой Зельмой нехорошо сделалось, ворот она отпустила, цепь раскрутилась с визгом, бадья бултыхнулась, оборвала дужку и утонула.

Чистить колодец детдомовцы вызвались сами: у них подозрение было, что кошку бросил Котях. Заплесневелый, зелёный коротышка был просто неисправим: ни побоями, ни словами его не пронять было. Гошка Очангин уже давно от Котяха отступился. «Все кулаки оббил об гадёныша, а он всё своё. Не хочу больше об него руки пачкать...» А Максим с Котяхом возился: убеждал, стыдил, уговаривал, с какой только стороны не пытался к нему подойти. Тоже

напрасно. О Котяхе хорошо тётя Настенька, повариха, сказала: «Ему плюй в глаза, а он — божья роса. Таких выродков ничем не исправишь...». А может, и не Котях кошку бросил, но детдомовцы порешили колодец вычистить.

Максим пропустил между ног поперечину, короткий обрубок жерди, уселся на него в сапогах, в телогрейке, и на толстой верёвке его начали медленно опускать Гошка Очангин, Кочер и физрук Лихабаба.

Лихабаба, как это убийство случилось и Щукотек арестовали, ходил подавленный, голос осип у него: полушёпотом он жаловался Иглицыну, что Илья Титыч чуть не в друзья к нему набивался, много раз звал его на охоту, издалека заговаривал с ним, бывало. И к пианисту Ролейдеру как-то он льнул, Щукотько, в чём мог потакал ему, приносил «синенькой» то бутылку, то две. И Ролейдер, Соломон Иванович, ничем ему не платил за это — так самогонку брал, за спасибо. Лихабаба как-то опять начал Иглицыну говорить об этом, о поздних своих подозрениях, но Пал Палыч поморщился и остановил его жестом. И физрук больше об этом не заикался... Ролейдер отсюда убрался, сам Лихабаба не пострадал ни в чём, а человека угробили. Действительно, что рассуждать впустую, что рассусоливать?

Колодец глубокий был; матовый, плотный лёд на срубе за лето изгладывало, но совсем не растапливало. Пешнёй, которую подали на вожжовке, Максим сколол лёд со сруба, спустился до самой воды и уместился там кое-как. Ушло, однако, часа полтора, пока он неспешно выгрёб весь лёд и мусор и подцепил сорвавшуюся бадью. Потом одно за другим принимали от него вёдра с илом, сверху шлёпалась на него вода и грязь, фуфайка промокла на нём, он озяб, и ноги в бёдрах от неудобства уже ломило. Максим привык делать всякое дело прилежно, и тут старался, а то выполни плохо — скажут потом, что, мол, косорукий в колодец лазил, а думали, мастер. Про плохого работника и пословица есть: важный мастер, да дыра в горсти. Максим не хотел, чтобы о нём так говорили... Вот он и скрёб черпаком по углам и бортам сруба, выворачивал грязь, чтобы чистые роднички из-под земли били, живые, студёные, чтобы вода синяя, вкусная в вёдрах плескалась... И тут что-то попало в черпак, попало в том самом углу, что за спиной у него нетронутым оставался. Был это

какой-то предмет металлический — скрежетнул и тяжело в черпаке лёг.

Свет проникал сюда слабый, но глаза Максима к полумраку уже привыкли. Он запустил в черпак руку, нащупал тяжёлое, металлическое, и выдернул: это был револьвер. Сначала он этому не поверил: так неожиданно вдруг получилось, ну как во сне просто. Провёл по нему рукавом, стёр с него ил — нет, револьвер, настоящий, да и не ржавый вовсе, сильно смазанный маслом, в стволе туго забита жирная тряпка. Сердце стучало, как на бегу... Максим замешкался, а сверху заглядывали в колодец, дёргали на вожжовке полупустое ведро. Максим заставил успокоиться, себя почистил в последнем углу и крикнул, чтобы тащили вслед за ведром и его.

Много рук подхватили Максима. Сразу на ноги стать он не мог — так они занемели и затекли от длительного висения на поперечине. Максим боком упал на сухое, вытянул ноги и стал их сгибать и разгибать, поглаживая колена.

— Видать из колодца звёзды? — спросил Гошка.

В ответ Максим достал из-за пазухи свою неожиданную находку. Лица ребят удивлённо на револьвер уставились, и вдруг Оська Кочер перед Максимом припал на колени и схватился за скользкую, мокрую рукоятку.

— А ну, а ну, дайте сюда, — сказал физрук Лихабаба, отстраняя небрежно Кочера, но Максим револьвер спрятал опять за пазуху.

— Я нашёл, я и отдам. Сам отнесу. — Какое-то недоверие выразилось, просквозило в Максимовом взгляде, в его словах.

— Кто среди вас здесь старший? — обиделся Лихабаба: он почувствовал недоверие, и глаза его опечалились.

— Да чего спорить-то? Пошли в сельсовет все вместе, — рассудил Гошка. — Вот так штука... в черпак попалась!

Кочер остреньким языком облизал губы, передохнул.

— Я знаю, чей это был... револьвер, знаю. — Рябые ресницы Оськи дрожали, белые «обмороженные» глаза косили в сторону. — Это

Щукотькина штука, Ильи Титыча. Когда на Успенке в позапрошлом году мы жили, тогда я и видел... револьвер у него.

И Оська сбивчиво рассказал тут, как всё это было. Позапрошлым летом лежал Оська Кочер после покоса усталый в сенях на том самом настиле, где Илья Титыч спал. Уж поздно было, солнце уселось, за пологом комары ныли. Дед Малафейка и бабка Пана ещё раньше Оськи спать улеглись в избе: храпение слышалось. Оська Кочер Щукотьку ждал: Илья Титыч каждую ночь ложился по-разному — то завалится к стенке, то с краю. В тот раз Оська с краешку уместился, на вчерашнем Щукотькином месте...

Илья Титыч пришёл недовольный, поплевал себе под ноги, засветил в сенцах «семилинейку», увидел Оську и заворчал: «Разлётся, как пропастина... Подвигайся к стенке!». Он долго возился с постелью: подбивал кулаком матрац, перевёртывал с боку на бок подушку, потом всей тушей упал на лежанку, упал и сбил доски, настил, с козел.

Лежанка рассыпалась, и оба они скатились на пол, да как-то смешно скатились: головами вниз, а ногами вверх. Бабка Пана на них заворчала со сна, дед перестал посвистывать носом. Илья Титыч тёр ушибленный локоть, вполголоса чертыхался, а Кочер постель налаживал. Тут ему и попалась эта штуковина — револьвер: или в матраце он был, или где-то лежал под досками, но только Оська его на полу увидел. Поднял в растерянности, вертит в руках, не знает, что и подумать, что и сказать.

Щукотько выхватил у него револьвер и съездил Кочеру по уху. Оська и с ног сбрыкал... После у Кочера в голове с неделю гудело: будто горошина на дне уха у него перекатывалась.

Потом Илья Титыч Оську заласкивать начал: то табачку ему, то конфеток горсть, и на покосе ему поблажку давал. Рассказал Кочеру, что это подарок от погибшего на войне брата Гаврилы остался и что, дескать, подарку этому нету цены. Илья Титыч выжал из Кочера клятву, по-блатному, «на суку» его побожиться заставил, что Кочер нигде про это и рта не раскроет. И Оська молчал, а хотелось ему пойти рассказать обо всём Иглицыну или ещё кому...

Когда Демидова на болоте убили, Кочер вовсе стал мучиться, житья ему не было от тревожных дум. Ждал, что, может, следователь у него что-нибудь спросит, как у Максима спрашивал, тогда бы уж точно он рассказал, не удержался. Но его никто ни о чём не спрашивал, а чтобы пойти самому, он себя заставить не мог...

— Всё слово в слово ему расскажи, следователю, — удивился Максим, дослушав Кочера. — Человек сколько уж дней дознаться не может, а ты...

— Дела-делишки, — помотал головой Лихабаба. — Идёмте-ка все в сельсовет.

У сельсовета, когда они подошли, коня увидели не здешнего, не чижапского: в поту был конь, бока у него надувались и опадали, с губ пена клочками падала. В небольшой сельсоветской комнате народу было битком: все слушали, что говорил мужик с плёткой в руке, видать, приезжий. А говорил он, что Физку бьёт лихоманка, что во всём она людям покаялась, что Калистрат с Евгешкой убили Демидова, а Чернобурка, Пелагея Панкратьевна, сама себя заживо удушила.

— Да неужели до смертушки, отводиться нельзя?

— И не отваживались: в погребу и застыла.

— Неужто нарочно? Вот ведьма!

— Полезла вроде бы погреб окуривать, и крышку захлопнула. Гнилушек с ней было полнёшенькое ведро... Все у нас думают так, что старуха себя уморила. Слышали бабы — кричала она, когда в погреб-то лезла: мир порицала, проклятье сулила всем отныне и до веку... Да где же следователь? Али пойти поискать его по посёлку?

— Нам тоже он нужен, — от порога сказал Лихабаба, пропуская вперёд Максима и Кочера. — Мы в больничном колодце нашли револьвер... Щукотье принадлежал... Вот наш воспитанник Кочер подтвердить может...

«Принадлежал! Подтвердить! Большой, а выскочка, — подумал о нём Максим. — Линия Маннергейма! Свистун ты, вот кто...»

С неделю держалась воронья погода — мокрая, грязная, с низким дырявым небом и шальными ветрами. Ободрало с деревьев листья, прибило к земле; скопилась вода в низинах, и лужи на улицах стали такие широкие, что даже свиньи без радости перебродили их по брюхо в грязи.

Но кончились затяжные дожди, очистилось небо, унялись мокрые, рваные ветры, и разом как-то просыпались крупные белые инеи. Шершавой, льдистой крупой покрыли они тротуары и крыши, присеяли глину на низменной, луговой стороне чвора.

Над Васюганом уже стекленели холодные зори, к берегам по озёрам крепко припаивало тёмный ледок. В предутренней тишине, до солнца, из болот вылетали матёрые, старые глухари, усаживались на обглоданные вершины сушин и недреманно оглядывали коченеющий мир...





1970-е годы. Здесь был наш детский дом, пос. Усть-Чижалка.



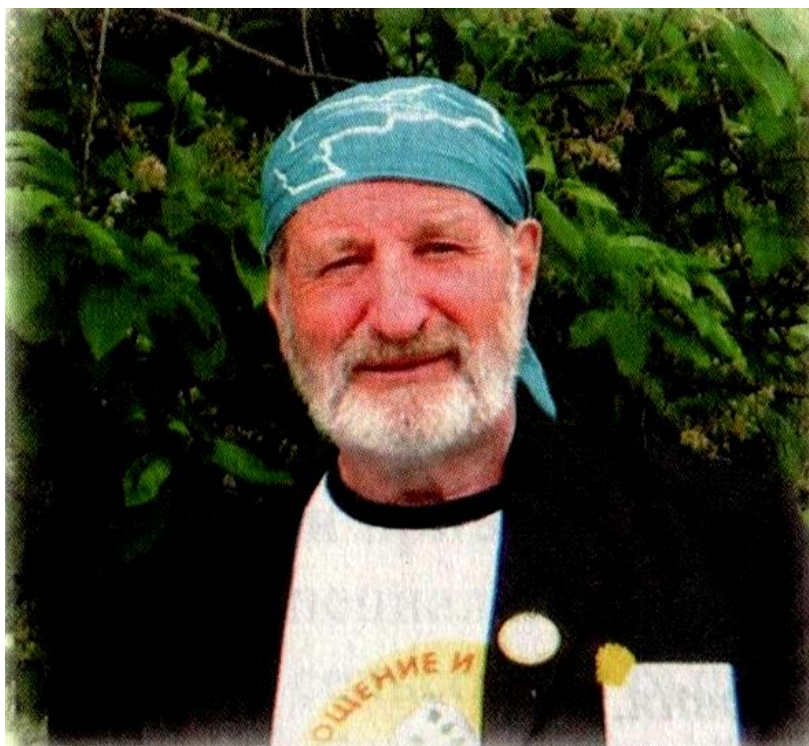
1970-е годы. Мы вернулись с Таежного озера. Директор Усть-Чижалского детдома Виктор Александрович Сухушин - образ Иглицина. 2000 г. Владимир Анисимович Колыхалов, автор книги «Дикие побеги».



2008 г. На родной Парабельской земле с Дмитрием Киржемановым народным артистом России Томского драматического театра.



1998г. Томск Дочь Мария Колыхалова и внук Алеша.



**Колыхалов Вениамин Анисимович, томский поэт и писатель.
Участник экспедиции «Прощение и память - 2007»**



На Алтае г.Белокуриха, центр городка 23 янв. 2007 г.



Вен. А. Колыхалов и Н. И. Долдин, апр. 2015г.- ледоход на Томи.



12 ноября 2015 г. Вен.А. Колыхалов и А.Я. Пшеничкин на заседании Круглого стола по обсуждению проекта Закона о жизни и судьбе «детей войны».

КОЛЫХАЛОВ Вениамин Анисимович, 1938 г.р.

В Союзе писателей СССР, России с 1976 г., принят в Союз как поэт и прозаик. Автор 38 поэтических и прозаических книг, 9 из них изданы в Москве. Многие книги автора изданы массовыми тиражами в 30-50-100 тысяч экземпляров. Общий тираж изданных произведений более 8 млн. экз.

Лауреат литературных премий:

- 1. Журнала «Молодая гвардия». Москва. 1973 г.**
- 2. Всесоюзного литературного конкурса: премия имени Николая Островского. Москва, 1974 г.**
- 3. Городского литературного конкурса «Томская книга». Томск, 2008 г.**
- 4. Является лауреатом конкурса Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Томск, 2009 г.**
- 5. Лауреат премии имени В.Я. Шишкова. Москва-Томск, 2013 г.**

Награждён:

- 1. Медалью Всесоюзного литературного конкурса имени Николая Островского. Москва, 1974 г.**
- 2. Знаком Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры «Отличник культурного шефства над селом». Москва, 1977 г.**
- 3. Медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Москва, 1988 г.**
- 4. Медалью «400 лет городу Томску» за заслуги перед городом. Томск, 2004 г.**
- 5. Почётным знаком «Заслуженный ветеран Томской области». Томск, 2013 г.**
- 6. Медалью «Василий Шукшин». Москва - Алтай. 2014 г.**
- 7. Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью». Томск 2015 г.**
- 8. Медалью «50 лет нефтегазового комплекса Томской области» Томск 2016г.**
- 9. Медалью «За особый вклад в книжное дело». Москва 2016 г.**
- 10. Медалью «Дети войны». Москва 2016 г.**
- 11. Орденом Томской Славы Сибири к Восьмидесятилетию, 2018 год.**

Адрес: 634055.Томск-55, ул.30 лет Победы, дом 9, кв.50. тел. 49-25-18.

Фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея и архива семьи Вениамина Анисимовича Колыхалова..

СЛЕДЫ

Мотаюсь вновь по северам.
Кручусь, как компасная стрелка.
Никто не скажет: стыд и срам
Твоя дорожная проделка.

Я очень молод по годам:
Ещё семидесяти нету.
И равнодушным не отдам
Обскую белую планету.

Стирается земная ось.
По шляпки звёзды крепко вбиты.
Сомненья тайные забрось –
Они не смогут сбить с орбиты.

Восток и новую зарю
Возьмет в могучие объятья.
По личному календарю
Весна произведет зачатые.

На праздник света и родин
Однажды созовет Всевышний.
Природе каждый день, что сын.
И дочка- ночь не будет лишней.

И я не лишний северам:
Во времени, в пространстве славлю.
Летаю по другим мирам,
Но самый первый не оставлю.

Столь отдаленные места.
Четыре вечности до рая.
Здесь забивает снег уста
Давно оправданного края.

Сюда ссылали, но за что?
За пять коров.. .за молотилку.
Кричали: «Делаешь не то,
Не ту просверливаешь дырку.»

Нарымский горький неуют.
НКВД. Суды-кидалы.
Вот так Отчизну предают
Политублюдки и вандалы.

Был на свободу недород.
Тьма всюду расставляла сети.
Простой, униженный народ
Секли разнузданные плети.

В стране рабов не сгнила гать.
Врагов не вывелась порода.
За что «земная благодать»
На долю нищего народа?

Обмолотили, словно рожь,
Ломали вольную натуру.
Вели на плаху, на правёж,
Последнюю сдирали шкуру.

Скоты копытят огород.
Для вшивой черни день не банный.
Считают нацию за сброд,
Кричат: электорат поганый!

Забыла знать про стыд и страх
И верит в силу наущенья.
Ты у Истории в ногах
Себе не вымолишь прощенья.

Русь на карте лежит океаном.
Переплыть эту воду не спеши.
Покрывается плотным туманом
Экология русской души.

Надо горе скорее размыкать.
Все просчеты - для памяти в том.
Позволяем мы в родину тыкать
Иностраннным нахальным перстом.

Переделы не странная шалость.
Перед долларом падаем ниц.
Неужели и гордость осталась
За холмами не русских границ?

Перед кем это бисер мы мечем?
Гнезда лести пытаемся вить.
Неужели стране такой нечем
О себе на миру заявить?

Нас века унижали, топтали.
Погибала несметная рать
Почему беззащитные дали
Мы привыкли легко уступить?

Души лет покрываются ряской.
Оседает истории пыль.
Проскрипит инвалидной коляской
Бестолковая русская быль.

Что знамена и что пьедесталы?
Прах веков по цене - ни шиша.
Может, кровь превратится в кристаллы.
Навсегда очерствеет душа.

Мир летит, как стремительный Боинг.
Кто - то видит Россию в гробу.
Душам Бог проведет мониторинг
И предскажет другую судьбу.

Швырнула молния поковку.
Огнем пригорок был залит.
Гром проводил артподготовку.
Парной июль летел в зенит.

Пронизанная горним током,
Светилась нежная лоза.
Повелевала всем востоком
Царица мудрая - Гроза.

Она не причиняла боли
И не пускала лес под нож.
Тряслось испуганное поле.
Сводило судорогой рожь.

Была разгневанною речка.
Потоки пенились во рву.
Одна заблудшая овечка
Щипала смелую траву.

ПОЛОСА РАЗЛУК И ВСТРЕЧ

Погоду нам не устеречь,
Она давно не мед.
На полосе разлук и встреч
Спокоен самолет.

Наш Стрежевской аэропорт
Вахтовиков не подведет.
Им отдает последний борт,
Но замер что-то флот.

Стоит крылатый мой фрегат,
А сердце так щемит.
Подолгу небеса штормят
И век душа штормит.

Когда, когда отлет?
Кто приземлит снега?
Но касса справок не дает.
И не дает пурга.

Нужны для вахты небеса.
Без счастья изнемог.
Надежды нашей полоса
Закрыта на замок.

На два часа задержан рейс,
А словно на века.
В рюкзак тоску не спрячешь здесь
Ведь слишком велика.

Судьбе не разрешили взлет.
Метель не подкупить.
Любовь отчаянную влёт
Разлуке не убить.

Стоит крылатый мой фрегат,
А сердце так щемит.
Подолгу небеса штормят.
И век душа штормит...

Земля хоронит не излишек.
По ней давно из года в год
Процессия качалок, вышек
По кладбищу надежд бредет.

Из недр небес пресветлый боже
Спешит послать упреков кладь:
«Земляне гордые, не гоже
С природой скверно поступать.

След за Землей не чистый, пенный.
Не впрок для времени урок.
Вы отравили во Вселенной
Пересыхающий исток.

Погоду отравили, души,
Сознание иных миров.
Унижен и полуразрушен
Зеленый беззащитный кров.

За кислород придется биться,
За оживление смрадных вод.
Я разрешу: пускай продлится
Планет соседский хоровод.

Земная ось теряет смазку.
Нефть из волнующих имен.
Вы не дослушаете сказку
Из жизни будущих времен.

Вы правде звонкой вечно врите.
Ушли назад на много миль.
Все, что прогрессом вы зовете -
Тщета, космическая пыль.

Ее одной секундой сдую,
Продолжу пламенный дозор.
Не дам я голову седую
На всекосмический позор...»

ГРЕЗЫ

Под березой сидела старуха,
Отдыхала в полуденный зной.
До ее обостренного слуха
Долетал каждый шорох земной

Нынче срок истекал полнолуныя
Много в сумерках реяло сов.

Может быть, размышляла ведунья
О последних песчинках часов.
И о том, что, сойдя ненадолго
В ледяную могильную глушь,
Будет в силу колдуньего долга
Вновь являться под солнечный душ.

И, начав череду злотворений,
Поведед добросовестный счет.
Время странных и жутких явлений
По законам карги потечет
Что бы грешница ни попросила:
Колдовства, для богатых – сумы.

- Ей поможет нечистая сила,
Покровительство бесов и тьмы.
Отведут от нее злого духа.
Век позволит свое отстрадать.
И останется просто старуха –
Всеземная печальница – мать.

ПЛАЧ О ЗАГУБЛЕННОМ ЛЕСЕ

Мои сородичи - леса.

Дела их нынче плохи.

Живые слышу голоса

Из глубины эпохи.

«Мы были радостью Земли,

Природе дав присягу.

Зачем нас только извели

На грешную бумагу?!

Да лучше мокнуть от дождей

В глухую непогоду,

Чем в сочинения вождей

Уйти, как кануть в воду.

Не поприсутствовать уже

На шумном хвойном вече.

Нас перегнали в тиражи,

В генсековские речи.

Кубы томов сожгут в печах

И время сдует с полок.

Не превратится книжный прах

Ни в рощу и ни в околок.

Собратья, помяните нас
Заздравным гулом майским.
Храните силы про запас
Под Солнцем - местом райским» ...

Мои сородичи - леса.
Дела их нынче плохи.
Живые слышал голоса
Из глубины эпохи.

Будто время повернуто вспять:
Вот в трактир открываются двери
И доверчивый Моцарт опять
Пьет вино со злодеем Сальери.

Отрешенный у гения взгляд.
Скоро реквием он доиграет.
А в вино золотистое яд
За спиною завистник бросает...

Капля крови и капля чернил –
Между вами великое сходство.
Если запросто друг очернил –
Значит в капле чернил Превосходство?!

После острой кинжальной строки
Ты отлил ядовитую точку,
И рассудку, душе вопреки
Брякнул совесть, как кружку, на бочку.

Капля крови и капля чернил –
Между вами великое сходство.
Если запросто друг очернил –
Нет в чернилах тогда Превосходства.

Кем мы были? И кем мы стали
В век террора и лживых речей?
Возводили на пьедесталы
Коронованных палачей.

И душа становилась убогой,
Красный мрак заливал страну
Забывая небесного Бога,
Славословили сатану.

И покорность входила в привычку.
И терпели жестокость судьбы.
Попадали под обезличку
Верноподданные рабы.

Был народ в состоянии комы.
Воцарилась отборная гнусь
И душили, терзали наркомы
Без вины виноватую Русь.

Да очнись же, народище бедный,
И вокруг хорошо посмотри.
Вот и новый октябрь победный,
И помазанники-цари.

Но и эти изрядно наврали,
И под соусом новым - беда.
Развиваемся по спирали
И летим неизвестно куда. . .

Город врос в болота смело,
Белизной прибавил свет.
Даже небо повзрослело
Аж на 40 бойких лет.

Наша юность разместится
На плацу любого дня.
Каждый дом вобрал частицу
Комсомольского огня.

Вспомню прошлое по звуку.
Облака собью в гурты.
Очарованному внуку
Ключ вручу от широты.

Давно журавли отрыдали.
Выходит тепло из игры.
Люблю полусонные дали,
Притворство предзимней поры,

.....
Появится удаль морозца.
Спасением явится снег.
Надежда с пути не собьется.
И время продолжит свой бег.

Должно оно так постараться,
Чтоб был ты светилom любим
Под звездами Севера, братцы.
Любую печаль истребим.

Зима на подступах к земле,
Накрытой пеленой тумана.
Стоит во влажной полумгле
Остаток бывшего урмана.

Давно сражен предзимний страх
Листве у ног не до балета.
И у деревьев на устах
Не будет долго сказки лета.

Осень сделала наркоз
Пасолу, заречью.
В ликах кедров и берез
Что-то человечье.

Ствол корявый обниму,
Надышусь смолою.
Грусть вершинную пойму
Перед стужей злою.

Недолго до зимней облавы.
Все небо по цвету свинца.
Березы - ровесницы славы -
Готовы стоять до конца.

Накроет всполошная заметь,
Стволы испытает всерьез.
Но крепкую белую память
Не выжжет коварный мороз.

Росли они долго, упорно.
Года отступали, как даль.
Высокое небо покорно
На них опускало перкаль.

Крутились пластинками кольца.
Росли годовые витки.
Я слышу - звенят колокольца.
В предснежье ни капли тоски.

С годами становитесь краше.
Сильнее сердце перестук.
Березы - лебедушки наши,
И вы не стремитесь на юг.

Стоит буровая, как джинн,
Все телеса - из металла.
Черная кровь глубин
Почву вокруг пропитала.

«Зачем извлекли на свет,
Бросили на поруганье?»
У джинна ответа нет,
Ему лишь дано стоянье.

Трудяги-качалки мертвы.
Недра прочли скрижали.
От аспидной, жуткой травы
Черви, зверюшки сбежали.

Ни дятлов, ни белок вокруг.
Лес позабыл об озоне.
Облако - смелый струг -
Правит к опасной зоне.

Джинн распахнул врата,
Выглядит он узорно.
За что же тебя, широта,
Так отстегали позорно?

У северного города
В судьбе гитарной молодо.
Не хмурится, не хныкает
И славу не занывает.

Он - Стрежь необоримая,
Отвага яснозримая.
Под ним земля исконная.
Он - быль многооконная.

Заманили не пряником.
Свой в суровом краю.
На проспекте Нефтяников
Равноправно стою.

Замер факел стремительный,
Свет надежды храня.
Человек я не мнительный -
Верю в силу огня.

Пусть слова не елейные
Не закрутятся в жгут.
Торжества юбилейные
Память лет разожгут.

Не сменяем гнев на милость.
Пожелаем рай себе.
Вышка словно удавилась
На разгневанной трубе.

В пустоте утонут сроки.
Есть у скважин свой запой.
Все приبلудные пороки
Не уходят на покой.

Вот болотная равнина -
Поневоле крикнешь: ох!
Притаившаяся мина —
Словно порох, черный мох.

У Природы тоже беды.
Хрупок вековой сосуд.
Миллионные победы
Далям горюшко несут.

Север дикий, полоротый.
Так недолго и пропасть.
Занята большой работой
День и ночь стальная пасть.

Здесь как будто свет разрушен.
Лес погиб от многих жал.
Монотонный ветер уши
О болотах прожужжал.

Даль - равнинная беспечность,
Ты веди меня, веди.
Укороченную вечность
Различаю впереди.

Ложь речки, словно падь.
Дождь - сплошная сеча.
До Оби рукой подать,
Значит скоро встреча.

Для земли господний Спас
Не прошел впустую.
Приготовил про запас

Радость золотую.

Растерялись облака –

Не находят места.

Обь моя течет в века –

Славная фиеста.

Здравствуй Пасол, охранник Стрижей!
Скоро ринется ветер завойный.
Ты зимой городских миражей
Не увидишь сквозь лед многослойный.

Вновь Луна наведет телескоп,
Разглядит ледяные оковы.
Май не крикнет отчаянно: стоп!
Блицводе у песчаной подковы.

Победишь и в весеннем бою,
А трофеем - вся летняя нега.
Город чует свободу твою
И под гнетом дозорного снега.

Растопил рассвет печаль.
Помолюсь святому.
Катер юности причаль
К берегу крутому.

Повздыхай и посмотри
Просто для приличья -
Что осталось от зари,
От ее обличья.

Ветер просится в загул.
Небо запотело.
Вертолетный долгий гул
Просочился в тело.

Топь. Бревенчатый настил.
Вышка башней с виду.
Русский Север не простил
Горькую обиду.

Сеет черная пора
Вредные привычки.
Редкая стоит жара,
Уберите спички.

Небо ночи вечной горкой.
Звезды спрятались в садок.
Загляделся месяц зоркий
На опрятный городок.

Так под синим миром тихо
И обряд снегов такой,
Что всегда зима - шутиха
Стережет его покой.

Хороши дома дневные
И ночные* тоже гут.
Наши айсберги земные
Никуда не уплывут.

Оттого душе отрадно,
И струится свет во мне,
Что дома стоят парадно
На прославленной земле.

* По-немецки: хорошо.

Тучи дымом несутся без риска.
Не скопилось в них признаков зла.
Стрежевская зима- декабристка
В добровольную ссылку пришла.

Все в природе нарымской красиво,
Красоту ощущаю сполна.
Оглядеть это белое диво
Прилетела бесшумно луна.

Постеснялись бесплодные тучи,
Торопливо за Обь отошли.
Не смогли они снежью летучей
Разродиться в пределах земли.

Мир снегов и без них озаренный,
Словно парк пребывает в раю.
Лунным новшеством покоренный
Среди ангелов ночи блаженно стою.

Природа - рай, любовь, отрада
И ощутимая звезда.

Из тихого немого града
Нет возвращения сюда.

Душа не связана с химерой.
Душа хранит иную нить.
Навязчивой, слепою верой
Не побороть, не полонить.

Но пусть останется полгрезы,
Что луч проникнет в мой уют,
Что корни родственной березы
Меня любовно обовьют...

* * *

*Крещенский сочельник.
В разгаре зима.
Морозы не шибко-то злы.*

*Одно только время
Не сходит с ума,
Все вяжет и вяжет узлы.
Людей полоумие
Видно давно,
Но будет и четверть ума.
Крещенский сочельник.
В узорах окно.
И прутья набирает зима.*

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

Куда ушла?
В какую просинь?
Летишь в какой
Кромешной мгле?
Такая Болдинская осень
Не повторится
На земле.

Когда таинственные звуки
Коварный оборвал
Свинец,
Все прекратилось:
Травля, муки -
Ушел в бессмертие
Певец.

В привычной смене
Бесконечной
Креп ночи
Ляжет на поля,
Так по поэту
Траур вечный
Справляет
Матушка земля...

Бродит дождик по лугам,
Прибавляет канители.
Травы брошены к ногам,
Кое-где уже сопрели.
Дождик, дождик, перестань!
Ребятня просить устала.
Город божий Арестань
Помогает травам мало.
Струи слабнут на часок,
Снова, словно по откоосу
Васькин крепенький брусок
Точит бодренькую косу.
Как и я, дружок мой бос.
А осока веселится.
Васюганский сенокос.
Сеногнойная страница.
Левый берег луговист.
Травы тянутся враскатку.
Небо, брось под птичий свист
Радуги большую скатку.
Каждый в дождик славно рос.
Вырастали не филоны.
Наш детдомовский покос
Белым мухам бил поклоны.
В балаганах на лугу
В сны влетали, словно в нишу.
- Слышишь, детство? Ни гу-гу.
Не молчи. Тебя я вижу...

Вторая часть

ВЫЖИЛИ ВОПРЕКИ ВОЙНЕ

Виктор Андреевич Миронов , 20 апр. 1938 г.р.

Томск 22 ноября 2017 г.

В трехлетнем возрасте (1941 г.) я услышал первые взрывы бомб и пулеметные очереди с бортов самолетов, сеющих смерть всему живому. Первая пуля настигла мальчика Фильку, с которым мы дети, как воробьи, «купались» в теплой пыли смоленского большака. Так я увидел первую, но не последнюю жертву этой страшной войны.

Мы, дети войны, в округе деревни Облецы находили множество всевозможных боеприпасов. Никто из нас, как и сейчас дети Донбасса, Луганска, не могли пройти мимо всяких патронов, капсулей, бикфордовых шнуров, снарядов разнокалиберных и многого чего другого, что лежало в истерзанной Смоленской земле. Конечно, калечились и погибали в том числе и дети от озорства. Кто мог пройти мимо брошенной винтовки, патронов и прочего военного «добра»? Нас детей призывали на помощь солдаты, когда убивали убитых военных красноармейцев из траншей. Наша помощь заключалась в том, чтобы мы вынимали из карманов убитых солдат личные предметы, а именно всякие опознавательные знаки, записки, фотографии и другие предметы, которые могли помочь в опознании погибших. Вот уж мы насмотрелись в то время - какая она смерть.

Раны у многих бойцов были страшные, пришлось видеть солдат без рук и без ног и разорванных на части... Изуродованы войной тела до неузнаваемости. Сейчас трудно понять, как это мои ровесники смогли перенести и выдержать. Вещи из карманов убитых мы сносили в определенное место, указанное нам одним из офицеров. Конечно, нас одаривали солдаты чем-то вкусненьким из еды. Также мы проверяли карманы и убитых немцев. Находили у них какие-то жетоны, знаки, незнакомые нам деревенским мальчикам, предметы, губные гармошки, например, и многое другое.

После того как немцев прогнали из нашей деревни, мы много бродили по полям и оврагам, в лесу, где находили много брошенного отступающими немцами: ящики с какими-то баночками (консервы?), бутылки с жидкостью, (как сведущие старшие ребята говорили, что это «шнапс»). Что-то пробовали боязливо, (ну как можно было устоять, когда кругом была голодная разруха!). На месте сгоревших домов (немцы всю деревню Облецы сожгли), мы открывали подполья, где находили сгоревший картофель, чем и утоляли свой голод.

Весной ходили по огородам и находили оставшийся после копки картофель (он, конечно, был похож на студень) и, обваляв его в пепле костра, бросали на угли и поедали наполовину готовую еду, чем тоже утоляли свой голод. Не погибнуть чтобы, много ели всяких трав, не зная их названий. Питались без разбору листьями ольхи, липы, и многими ягодами и грибами (что с голодухи не съешь?). Конечно, бывало, и травились ребята... Вши, как мухи, по нашему телу и голове ползали. И когда мы чесали волосы над раскаленной печкой «буржуйкой», то вши падали на раскаленный металл и лопааясь подпрыгивали. А сколько мы перенесли всяких разных болячек?..

В детский дом я попал и жил с сестрой Машей в 1943- 44 г.г. по инициативе доброго человека Антона Степановича – бывшего учителя. Собирали детей сирот малолетних по разрушенным селам под одну крышу... Так я оказался в Борисковском детском доме, который разместился в колхозной хозяйственной постройке, уцелевшей после сожжения всех жилых домов врагами при отступлении. Это строение для детей было мало приспособлено. Студеное помещение с буржуйкой в нем.

Стены дощатые, пол из не струганных досок, нары наскоро сколоченные доски... После мытья, пол покрывался льдом, разбежавшись по нему мы катались на ногах, кто в чем был обут. Питание было такое, какое можно себе представить в разрушенной войной смоленской деревне. Дети ходили в чем пришли в детдом и с постоянным чувством голода. Нам варили супы постные, но с большим набором всякой зелени и по пайке (грамм 150) хлеба, который отбирали у нас ребята повзрослее нас. Здесь находились дети от 2 до 15 лет. Все жили в одинаковых условиях. Когда малыши мочились, то примерзали к матрацам. Там я был записан в 1 класс. Бумаги и ручек не

было. Писали на чем попало, но писали буквы от А до Я. Не нравилась мне буква В(война), так как с ней была связана вся моя боль с лишением меня родителей. Вши, Вонь, Волосы (где много было вшей). Вой (самолетов и снарядов), Визг (гусениц танков), Время (другое) – когда оно наступит?... Слова, точнее буквы О и М (отец и мать), мы писать не любили, потому что родителей лишились многие из нас из-за войны...

В 1945 году старшая сестра Дуся (1924 г. р.) вернулась из Армии с войны и разыскала нас с сестрой Машей, погасила мои долги (задолжал старшим ребятам 300 паек хлеба) и забрала из детского дома. Так закончилось наше пребывание среди беспризорников. С того времени я стал жить у тети Мавры (сестры отца), где проучился по 7 класс, ходил в школу за четыре километра. Школа представляла собой небольшой домик у Пантелеевского кладбища, где в 1938 году была похоронена моя мама Анна Алексеевна (1903 г.р.).

Окончив 7 классов школы в 1955 году, я был привезен на житье к старшему брату Михаилу (1926г.р.) в Москву. Он устроил меня на закрытый завод почтовый ящик № 901 учеником фрезеровщика и обязал поступить в школу рабочей молодежи при заводе. После окончания 8 класса в 1957 году меня призвали служить в Советскую Армию...

Мой дед Мирон Феофанович Миронов был каменщиком - каменотесом по мрамору и занимался отхожим промыслом в Петербурге и Москве в царское время. Точного времени рождения его не знаю, но известно мне, что скончался он в 1914 году в возрасте старше 50 лет. Все документы и фотографии нашей семьи сгорели, когда немцы сожгли родительский дом в деревне Облецы Смоленской области. Сохранилась некачественное фото, где мама держит на руках меня трехмесячного и рядом две мои сестры Лида (1934 г.р.) и Маша (1933 г. р.).



Андрей Миронович Миронов (1898 – 1943 г.г.), председатель колхоза с.Облецы, призван в июне 1941 г. на войну, пропал без вести в боях у г.Смоленска в 1943г. Анна Алексеевна Миронова (1903 – 1938г.г.) и сын Витя (Змес.) фото 1938 г.

Красноармейскую книжку иметь всегда при себе. Не имеющих книжек — задерживать

I. Общие сведения

1. Номер военно-учетной специальности _____

2. Грамотность и общее образование (если окончил техникум, рабфак или ВУЗ, то указать его название) _____
10 кл.

3. Национальность Русский

4. Год рождения 1925

5. Год призыва (указать такую же — нормальный или досрочный призыв) _____
25.02.45 по мобилизации

6. Каким военкоматом призван _____
полевому РКМ

7. Специальность до призыва _____
участков

1. Фамилия Миронова

2. Имя и отчество Евдоким Андр.

3. Звание и должность прапорщик
армии

4. Наименование части (учреждения) _____
214 АЗ сн.

5. Наименование подразделения (батальон, рота) _____
Рота 1106

6. № личного знака _____

Личная подпись владельца книжки _____
Миронов

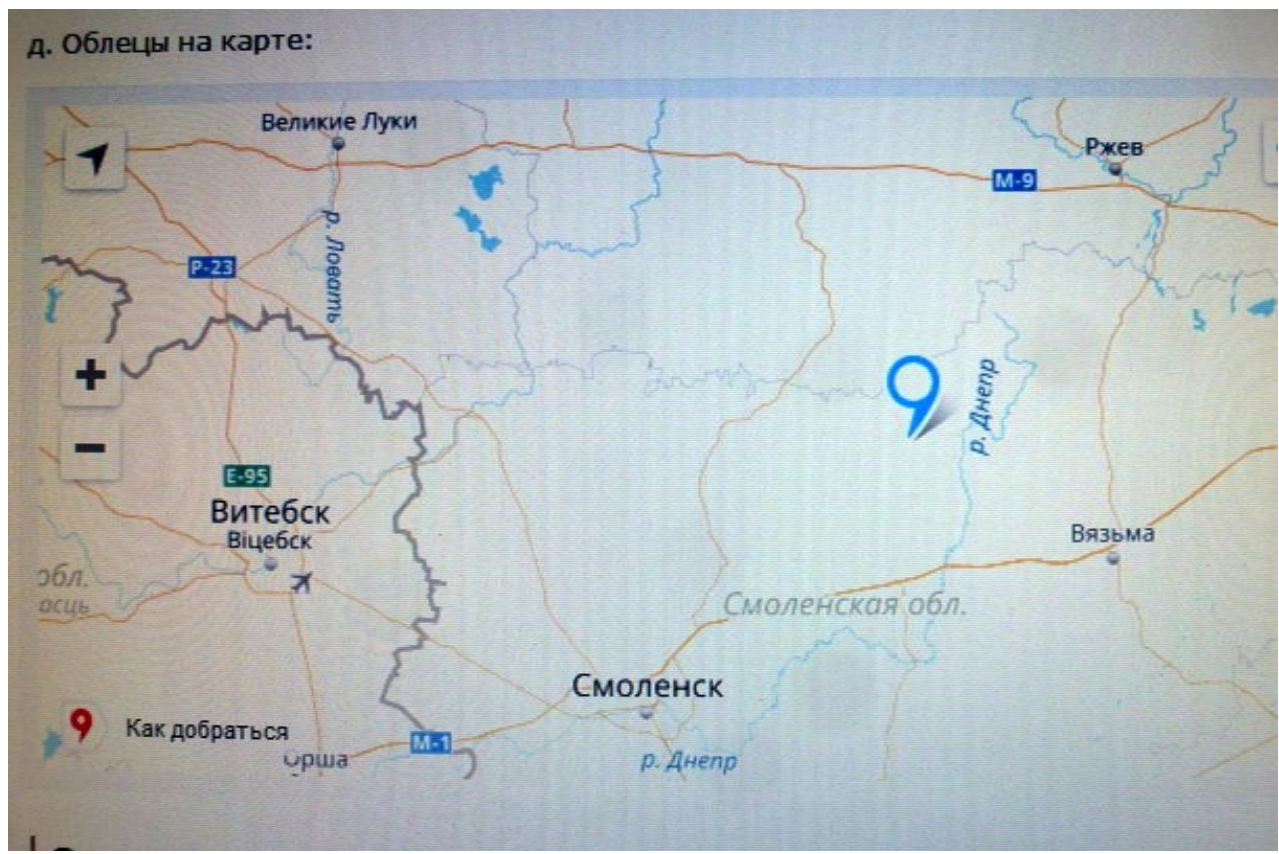
Место для фотокарточки владельца книжки _____

Командир роты _____
30 мая 1941 г.

3

Красноармейская книжка (1945 г.) сестры, Мироновой Евдокии Андреевны.

8. Место рождения и постоянного жительства. Домашний адрес, фамилия, имя и отчество жены или родителей	II. Прохождение службы		
Смоленская обл. Холм-Жирновский р-н с. Филипповское Андрей Николаевич	Часть, подразделение, занимаемая должность и звание	Время и место	Время и место окончания службы
9. Группа крови по Янскому	214 АЗС 1710 КС		
			
Примечание. Общие сведения записываются в штабе части. Сведения о групповой принадлежности крови вносятся санитарной частью.			
4	5		



Место нахождения дер. Облецы, Смоленской области

Мой отец, Андрей Миронович, родился в 1898 году, работал председателем колхоза д.Облецы и в 1941 году с началом Великой Отечественной войны, ушел добровольцем защищать Родину от фашистов. Когда я жил у тети Мавры (1901 г.р.), то она показывала мне извещение о том, что мой отец пропал без вести в 1943 году. Много времени я искал любую информацию об отце, но никаких дополнительных сведений из архива Министерства обороны г.Подольска не удалось получить. Так мы и не знаем, где и при каких обстоятельствах отец пропал без вести?... Специалисты архива МО сообщили, что пропал без вести, и все. А год рождения отца почему то был указан 1907г., а он точно родился в 1898г.

Брат отца Василий Миронович (1910 года рождения), окончив школу НКВД в Москве в 1935 году, был направлен в Якутию, где служил на разных должностях в Олекминском районе. Там же в 1942 году был осужден условно, но направлен в школу начальствующего состава тюрем НКВД. После окончания учебы в 1945 году был направлен в распоряжение НКВД Латвийской ССР. Имеется справка о том, что в 1945 году он исключен из списка офицеров НКВД в связи со смертью... В 1960 году он объявился городе Виноградове Закарпатской области Украинской ССР с женой и двумя детьми, инвалидом и умер в том году. **Вся жизнь дяди Васи была инкогнито.** Я пытался через ведомство Юстиции Закарпатской области навести о нем справки, но без результата. Работая в Якутии он женился там и у него в 1940 г.р. родился сын Борис. Сведениями о сыне и жене дяди Василия не располагаю. Документы и архивы района Смоленской области и села Облецы, где я родился, уничтожены фашистами ...

Верю, пути земные наши не прервутся, надеюсь, продолжат их дети и внуки и сохраняют память о предках... Во время войны мои ровесники все переболели тифом и многими разными болезнями, перенесли жестокие физические страдания и психические испытания, но выжили вопреки войне.

Мироновы

Андрей Миронович Миронов (1898 – 1941 г.г.), отец до Отечественной войны работал председателем колхоза «Природа» в Холм - Жирковском районе Смоленской области. Ушёл добровольцем на фронт с начала войны и погиб в августе 1941 г., защищал семью и родную Смоленщину, находясь в части под руководством комкора Петровского Леонида Григорьевича... На запросы в архивы органов власти получены ответы «считается пропавшим без вести»...

На Днепровском рубеже. Полковник в отставке Г.Кулешов.

Из интернета <http://www.rkka.ru/oper/63sk/main.htm>

"С рассветом 14 августа 1941 г. противник перешел в наступление, прорвал оборону 154-й стрелковой дивизии, разрушил переправы через Днепр в районе Жлобина, подбрасывая новые части для захвата Гомеля и окружений 63-го стрелкового корпуса. К вечеру гитлеровцы захватили населенные пункты Лозов, Неговка, Кошелев, расположенные в тылу корпуса, а на левом его фланге овладели Боровухой, Скепней, Заводом.

... Командный пункт корпуса с утра 15 августа был перенесен в Святое. Но в это время немецкие подвижные части отрезали штаб и некоторые части корпуса (307-й стрелковый полк 61-й стрелковой дивизии и 1-й дивизион 318-го гаубичного артиллерийского полка большой мощности РВГК) от основных его сил, зайдя с тыла со стороны Неговка. Тогда генерал-лейтенант Петровский Л.Г. с группой офицеров штаба возглавил атаку подразделений, чтобы прорвать окружение. Стремительный удар заставил гитлеровцев отступить. Петровский повел части на юго-запад и в тот же день прибыл в расположение 154-й стрелковой дивизии и других войск корпуса.

... 17 августа в 2.30 северо-восточнее Четверни у второй просеки леса, выходящей на поселок Завод, на направлении атаки 510-го стрелкового полка собралось командование корпуса и дивизии.

... Ровно в 3 часа 17 августа после короткого, но мощного налета артиллерии 473-й стрелковый полк начал прорыв. За ним последовали атаки остальных частей дивизии. Атака застала противника врасплох, и части 154-й стрелковой дивизии, легко прорвав кольцо вражеского окружения, быстро двинулись вперед. В населенном пункте Губич был разгромлен штаб 134-й пехотной

дивизии противника и захвачены в шести портфелях ее боевые документы.

...И командир корпуса с группой командиров штаба и резервом направился туда, где шел ожесточенный бой, чтобы личным руководством обеспечить отрыв сил прикрытия отседающего противника, ускорить их присоединение к дивизиям, сократив по возможности потери.

...Прорвавшись в одном месте, подразделения попали в еще более сложную обстановку у деревни Скепня, где проходила вторая линия вражеского кольца. Здесь погиб адъютант командира корпуса лейтенант В. Колосов; Петровский, раненный в руку, продолжал руководить боем. Прорыв все же удался. Но сам Леонид Григорьевич Петровский при атаке противника, укрепившегося на северных окраинах Скепни, был смертельно ранен замаскировавшимися в кустах автоматчиками. Об этом рассказал спустя два часа после прорыва второй линии кольца окружения командиру 154-й стрелковой дивизии Я.С. Фоканову начальник артиллерии корпуса генерал-майор артиллерии А. Ф. Казаков, который был тяжело ранен в этом же бою и вынесен группой бойцов."

До 1944 года Л.Г. Петровский считался «пропавшим без вести». Когда советские войска вернулись, по указаниям местных жителей, могила комкора была найдена. Во время оккупации по распоряжению командования немецких войск тело комкора с почестями было захоронено и на могиле был установлен крест с надписью на немецком языке: "Генерал-лейтенант Петровский".

Мать: Анна Алексеевна Миронова (1903–1938г.г.) умерла от травмы, полученной на сельских хозяйственных работах, когда мне было 3 месяца.

Дед: Мирон Феофанович Миронов (по отцовской линии) (1860-1914 г.г.) занят был отходным промыслом каменотёса по мрамору в Москве и Ленинграде.

Бабушка: Ефросинья Ивановна Миронова (? - 1919 г.г.) была домохозяйкой и воспитала пятерых детей: Пелагея, Мария, Мавра, Андрей и Василий.

Дед по материнской линии Алексей Власов (? - ?) служил церковным старостой, за что был репрессирован и расстрелян в 1930-е годы.

Бабушка Евдокия Власова (? -?) воспитала двоих детей Анну и Алексея, погибшего в 1942-43 годах на Волге в боях под Сталинградом...

Мой брат Михаил Миронов (1926-1992 г.г.) имел высшее образование и работал Главным контролёром завода п\я №901 г.Калининград Московской области.

Сестра Евдокия Андреевна Миронова (1924–1978 г.г.) была участницей Великой Отечественной войны, демобилизована в 1945 году. Имела высшее образование и трудилась заведующей лабораторией оптико-механического завода г.Красногорска Московской области.

Сёстры Мария Андреевна Миронова (1933 г.р. - ?) имела среднее образование трудилась рабочей на заводе п\я №901, а Лидия Андреевна Миронова (1934-2016 г.г. глухонемая) воспитанница детского дома г. Вязьмы и работала после ремесленного училища рабочей завода в Московской области.

Виктор Андреевич Миронов (20 апреля 1938 г.р.) трудовую деятельность начинал на заводе п\я №901 Московской области в 1955-56 г.г. , служил в Советской Армии в 1957–60г.г., обучался на юридическом факультете Томского государственного университета в 1962-68г.г., трудился следователем Прокуратуры г.Томска в 1965–73 г.г., прокурором Томского района в 1973-76г.г. Служил безупречно: судьёй с 1976г., заместителем Председателя с 1976 г. и Председателем Томского областного суда с 1994 по 2005 годы.

В.А.Миронов

10 октября 2018 года.

Там, где цвела деревня Облецы.

Только уйдя в отставку после многолетней работы в должности председателя Томского областного суда, Виктор Андреевич Миронов смог осуществить свою давнюю мечту и побывать в тех местах родной Смоленщины, где он появился на свет и где погибли в неравной схватке, защищая Отечество, воины томской 166-й стрелковой дивизии.

— Виктор Андреевич, с чего началась ваша встреча с прошлым?

— Я знал, что записанная в моем паспорте деревня Облецы, где родился 20 апреля 1938 года, сожжена дотла немецко-фашистскими захватчиками в марте 1943 года и не восстановлена. Знал и о том, что томские студенты-политехники установили памятный обелиск на месте последних боев воинов 166-й стрелковой дивизии, участвовавших в Смоленском сражении в июле-сентябре 1941 года.

Фашисты рвались к Москве, сосредоточив здесь 80 отборных дивизий. Попав под направление главного удара, а затем и в окружение вместе с другими соединениями Западного фронта, бойцы и командиры 166-й дивизии проявили невиданный героизм и стойкость, помогая подготовиться к обороне Москвы. Лишь 517 человек сумели вырваться из окружения.

Героическая 166-я дивизия погибла, защищая в грозный час столицу нашей Родины. Для увековечивания памяти томичей создан Томский сельский округ, установлен обелиск, а также весной 2005 года руками томских политехников сооружена часовня. Побывать на своей малой родине и поклониться славной памяти сибиряков — с такими целями я и решил отправиться на встречу с прошлым. В Подмоскovie и на древней земле Смоленщины нас буквально на каждом шагу ждали встречи с историей Отечества, памятью людей, составивших ее славу. Наш район называется Холм-Жирковский. На большой дороге находится село Холм. Первое упоминание о нем датируется 1708 годом, когда здесь обосновались бояре Жирковы. В селе сохранилась усадьба знаменитых братьев Уваровых. Сергей Семенович в XIX веке 15 лет возглавлял народное просвещение России, а его брат Федор Семенович, генерал-майор, отличился в войне 1812 года. А еще братья Уваровы прославились тем, что стали создателями Исторического музея в Москве.



В.А.Миронов у памятной плиты на месте деревни Облецы

Смоленщина до 1929 года входила в состав Западной области. Наша деревенька Облецы располагалась в шести километрах от райцентра.

— Чем вам больше всего запомнилась война? Ведь и Облецы тоже оказались на линии главного удара наступавшего на Москву противника.

— Один возле нашего дома, а другой поодаль — на улице росли два высоких дуба. Бойцы, наблюдавшие с этих постов оперативную обстановку, при появлении авиации противника громко оповещали: «Воздух!» Взрослые бежали в укрытие, а мы, мальчишки, бросались врассыпную, прятались кто куда, падали, вжимались в теплую, густую пыль большака. Словно хищные птицы, нас накрывали огромные черные тени самолетов. Когда мы так лежали в очередной раз, повернув голову, я заметил, что пыль вокруг лежавшего со мной мальчика Фильки стала темнеть. Это была первая жертва войны, которую я увидел...

Потом начали бомбить нашу небольшую деревню. Мы всей семьей лежали в окопе рядом с домом и ждали, что произойдет. Я был еще слишком мал, чтобы понять весь трагизм и безысходность ситуации. Дом горит: пламя, жар, дым, искры... И цепью прямо на нас наступают немцы. Вслед за автоматными очередями солдаты деловито бросают гранаты в каждую земляную щель.

Сестры Дуся и Маша в ужасе. Это неминуемый конец! Солдатская цепь приближается. Остается каких-то 5-7 метров до нашего укрытия. Но солдаты проходят мимо. Как уж они нас не заметили? Наверное, дом родной, сгорая, спас нас своим густым дымом. А сестра Маша, всякий раз вспоминая о пережитом ужасе, благодарно говорит: «Есть Бог на свете!» Но, как оказалось, наши злоключения только начинались.

...Мы сидим на левом берегу Днепра в каменоломнях. В смоленских краях эта великая река не шире Ушайки. На правом берегу, совсем рядом, хозяйничают здоровые мужики в рубашках с закатанными рукавами. Немцы настолько близко, что зоркие детские глаза различают блеск рыжих волосков на их руках. И снова смерть проходит мимо...

—И началась оккупация?

— Да, в Облецах немцы стояли около года. Старшую сестру, 16-летнюю Дусю, угнали в Германию вместе с другими молодыми и работоспособными односельчанами. Мачеха Александра Николаевна, чтобы избежать отправки и тем самым спасти остальных троих мал мала меньше детей, прижгла себе раскаленной сковородой ногу, заболев «проказой».

Эти и другие воспоминания нахлынули со всех сторон, как только мы с сопровождавшим нас главой администрации района В.Шашковым приехали на место бывшей деревни. Поля засеял овсом местный фермер, а место, где установлен памятный камень, окружил со своей усадьбой двухметровым забором. Пока я примерялся, как вынуть доску, сын Сергей, играючи, вытащил секцию ограды, и мы подошли к камню, чтобы сделать наши семейные снимки.

Признаюсь, не удержал слез при виде памятной плиты, поставленной в честь тех, кого давно уж нет на свете. Господи, сколько же таких захоронений в нашей России! А в Беларуси, на Украине, в других

республиках бывшего Советского Союза... Ладно еще пахарь приходит в эти места, а то ведь чаще быльем они порастают.

— Довелось ли вам увидеться с кем-либо из бывших соседей?

— В селе Глушково, куда перебралась жить наша семья после пожара, мы повидались с бывшими соседями Денисовыми. Помню, наши дома, стоявшие напротив, разделяла огромная, более пяти метров в диаметре, бомбовая воронка. На стук в ворота из дома вышла женщина с опухшим от болезни лицом.

— Простите, Денисова Зина — не вы? Помните, еще Мироновы напротив вас жили. Дуб у нас на задах огорода высокий рос...

— Витя, это ты? Облецы спалили, а дуб ваш спилили. Так ты аж из самой Сибири? Куда забрался...

Такая же щемящая душу встреча произошла и с другими соседями — Михайловыми. К калитке вышла старушка, вся сморщенная как печеное яблоко, а глаза живые, умные, с веселым прищуром.

— Нина Михайлова здесь живет? — В баню пошла.

— А вы кто? — Миронов.

— Витенька! Так я ж тебя помню. И мачеху вашу Александру. И батьку твоего Андрея, председателя колхоза. Такой красавец удалой был. И маму твою, Нюшу (Анну Алексеевну). Умерла сердечная, когда тебе три месяца исполнилось...

В машине сигналят... Пора ехать дальше, а сколько еще не задано вопросов 92-летней хранительнице живой памяти о людях исчезнувшей с карты Смоленщины деревни...

— А с кем удалось встретиться в Томском сельском округе?

— В Верховье нас встречал глава администрации Томского сельского округа Вячеслав Михайлович Персидский. Его отец, Михаил, 17-летним парнишкой ушел в партизанский отряд. Именно он, Михаил Александрович Персидский, основал музей боевой славы смолян с обширной экспозицией в честь воинов томской 166-й стрелковой дивизии под названием «Томичи на защите Москвы». Здешние места

стали последним полем кровавой брани для 14 тысяч наших земляков и десятков тысяч солдат и офицеров других соединений.

— Кто инициатор идеи установить обелиск воинам-томичам на Смоленской земле?

— Это произошло в 80-е годы прошлого века по инициативе известного томского краеведа и летописца Томского политехнического университета И.Т.Лозовского. Игорь Трофимович встретился с тогда еще здравствовавшим Михаилом Александровичем Персидским. Эти неравнодушные, инициативные люди раскрутили музей и организовали студенческий десант из Томска в Смоленск.

— Кто же, если не мы, сохранит память о славных делах отцов наших и дедов, — говорит глава администрации Томского сельского округа В.М.Персидский. — Томск и Смоленск навечно породнились на кровавых полях минувшей войны.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ

Виктор Андреевич Миронов - многолик и одновременно удивительно целен. Даже отбросив частности, можно долго перечислять ипостаси, которые видны многим. Он — уважаемый и авторитетный человек в судейском сообществе. Немало пришлось ему пережить, но перипетии судьбы еще больше закалили в нем то качество, которое называется человечностью. С особой теплотой он вспоминает деревню Облецы, где родился, откуда в 1941 году его отец ушел добровольцем на фронт, где он потерял свою маму. Некоторое время ему пришлось провести в детдоме, пока старшая сестра Дуся не забрала к себе.

Служил в морских частях погранвойск на Чукотке. При увольнении в запас по приглашению сослуживца Юрия Киселева оказался в Томске, да так и остался. Семья друга стала его семьей, а сестра армейского товарища — верной спутницей на всю жизнь. В Томске он окончил школу рабочей молодежи, вечернее отделение юридического факультета госуниверситета. С 1965 по 1976 год работал в правоохранительных органах стажером следователя прокуратуры, потом старшим следователем, прокурором Томского района.

В Томский областной суд Виктора Андреевича пригласили в 1976г. на должность заместителя председателя по уголовным делам, а в 1994 году был назначен председателем. Он посвятил себя без остатка правосудию. Но когда в 1986 году его пригласили на работу в Верховный Суд РСФСР, взвесив все «за» и «против», он все же остался в Томске.

В.А.Миронов имеет высший квалификационный класс судьи, звание заслуженного юриста. Сегодня Виктор Андреевич — член Совета ветеранов судей Томской области.

Подготовил В. И. ФЕДОРОВ, член Союза журналистов России.





Виктор Миронов – морской пограничник в свои 20 лет.

"Я ВЕРЮ В ДОБРО И ЧЕЛОВЕКА..."



Писать о Викторе Андреевиче Миронове, председателе Томского областного суда, легко и очень непросто. С чего начинался его долгий путь к высокой и ответственной должности главного судьи области? При каких обстоятельствах закладывался характер, рождался неповторимый профессионал с удивительно точным внутренним видением судебных проблем, что позволяло ему десятилетиями служить Фемиде честно, справедливо и беспристрастно?

Виктор Андреевич Миронов 1938 г.р. сегодня на заслуженном отдыхе, но он не теряет связь с коллегами, несмотря на возраст и болезни. Он живет полноценной жизнью, любит рыбалку, охоту, семью, внуков и правнуков. Изда книгу по истории России «Времен ушедшихотражение...» о жизни и деяниях русских князей и правителей — эта тема давно стала предметом его жизни. Но и жизнь самого Миронова — это захватывающий роман о настоящей мужской дружбе, большой любви и верности, о бесконечном служении делу, чести и справедливости...

МАТЬ - МАЧЕХА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА...

С первых дней жизни Миронову ничего не давалось легко. Его дед Мирон Феофанович и отец были сельскими труженниками. Матери, Анны Алексеевны, он не помнит: она умерла, когда младенцу исполнилось едва три месяца. Отец привел молодую мачеху в дом, где осиротели пятеро детей, которых надо было накормить, обстирать и обшить. Отец ушел на фронт, в первые дни войны и пропал без вести. А вскоре деревеньку Облецы, что на Смоленщине, оккупировали немцы...

... Сколько раз потом в самые трудные минуты своей жизни он мысленно обращался к ней, Александре Николаевне (1912 г.р.), спрашивая, как бы она поступила. И всегда получал единственно верный ответ. Всем примером своей удивительной, самоотверженной жизни, отданной без остатка им, чужим детям, преподала ему мать-мачеха великий урок честности, мужества, человеческого достоинства и порядочности...

Однажды в их доме расположились на ночлег немецкие солдаты. Вечером они устроили шумный ужин с выпивкой. Забравшись на русскую печь, дети с голодной тоской следили, как солдаты режут тесаками белый хлеб, пласты сала, густо намазывают на ломти пахучее сливочное масло. Кружились головы от запаха еды, приближался голодный обморок. Вдруг один из солдат, как бы прочтя их мысли, швырнул за ситцевую занавеску на «драку собакам» буханку хлеба. И громко загоготал, предвкушая яростную возню на печи. Так бы и случилось: словно голодные волчата набросились мальчишки и девчонки на хлеб. Но громкий властный голос мачехи ошеломил не только детей, но и солдат.

- Не смей брать! - гневно крикнула Александра Николаевна. Она метнулась на печь, вырвала хлеб у старшего и бросила на стол солдатам: «Подавитесь!». И замерла, ожидая расплаты за свою невиданную дерзость. Оцепенели и немцы. Уж чего-чего, но такого они никак не ожидали от «русской тетка». Даже врагов обезоружила эта человеческая и женская гордость.

А когда стали угонять работоспособных в Германию, пришли и за Александрой Николаевной. Мол, собирайся утром в путь-дорогу. Вечером она натопила жарко печь и сунула на раскаленные угли сковородку. Выхватила ее оттуда, попросила: «Отвернитесь, дети!» Виктор невольно повернул голову в тот момент, когда Александра Николаевна, приложив сковороду к обнаженной ноге, громко застонала от нестерпимой боли. Так она заболела «проказой»... ради спасения жизни приемных детей, которые без нее, несомненно, погибли бы...

Детская память — как волшебный фонарь. Чуть прикроешь глаза, и ясно видишь языки пламени, пожирающего соломенные крыши родной деревеньки Облецы. Отступая в 1943 году, немцы оставляли за собой руины и обугленные трубы печей. Голодная смерть подошла вплотную. Сгорели последние семена картофеля и все, чем можно питаться. Александра Николаевна перебралась с детьми в соседнюю деревню, где сиротам соорудили маленький домишко. Люди тогда были отзывчивы и сердечны.

После войны Виктор попал в детский дом, где малолетние воспитанники жили по «закону джунглей». Пятилетние и пятнадцатилетние вместе. Старшие установили свой «порядок», отбирая у малышей пайки хлеба. Ставили на «счетчик» тех, кто их съедал, били и издевались. Сирот кормили бурдой, сваренной из мороженой свеклы. Найденные на помойках кости от холодца ребятишки дробили камнями. Вываривали в котелке. Эта бурда считалась шикарной похлебкой. Весной собирали мерзлую картошку, обваливали в золе и пекли. Тем и питались. Летом ловили на Днепре рыбу. Уха была праздничной едой. Фактически это был настоящий лагерь, в котором «отбывали срок» без вины виноватые дети. Когда старшая сестра Евдокия, успевшая повоевать, нашла Виктора в детском доме, он был «должен» 300 пайков! Она «выкупила» брата за тряпье, привезенное из армии. Семья перебралась в Москву. До армии Виктор работал фрезеровщиком на номерном заводе.

Виктор Андреевич сегодня, вспоминая о своем детстве, не может сдержать слез: «Тяжелое время, тяжелое» — и горько вздыхает... В 1957 году его призвали в армию.

— Я с радостью пошел служить, — вспоминает сегодня Виктор Андреевич. — Всегда был расположен к армейским людям с их выправкой и закалкой, и форма, конечно, нравилась. Первым местом моей службы стал город Анапа. Был направлен в отдельный пограничный отряд морских специалистов. Попал в роту мотористов. Прошел специальное обучение, учился хорошо, поэтому после окончания было право выбора, и я выбрал почему-то Дальневосточный край. Через всю страну проехал до Владивостока. Там на теплоходе «Россия», а в прошлом он назывался «Адольф Гитлер», кстати, прибыл на Чукотку в бухту Провидение. Мы называли ее «Привидение». Это голые скалы-сопки. Край света. Так в 1958 году я стал морским пограничником.

— Служба — не мед, — продолжает рассказ Миронов. — Морозы, штормовые ветра. Воду для бани вытапливали из спрессованных снежных кирпичей. Меня закрепили за катером, как сейчас помню, его номер — 258-й. Сторожевой пограничный катер. Служил мотористом. Команда наша была из 5 человек. Задача — охрана морской границы. На катерах уходили в сторону Аляски за сотни километров. Хороший командир у нас был, Николай Александрович Ерохин, обращался к нам не иначе как «сынки». Что характерно, прошел весь фронт на флоте, а при нас стеснялся того, что морской болезнью страдает...

В моей жизни тогда произошло еще одно знаменательное событие. Во время прохождения службы на флоте стал кандидатом в члены КПСС.

— Служба у меня складывалась хорошо, я старался ответственно выполнять поставленные задачи, легко ладил с людьми, делить-то нам было нечего. Морская служба всех проверяет на стойкость и выносливость. Флотские — это особая каста. До сих пор горжусь своей принадлежностью к ней, — говорит Виктор Андреевич и продолжает: — Именно там, на Чукотке, познакомился с Юрой Киселевым, томичом. Именно это знакомство впоследствии сыграло неожиданную роль в повороте моей судьбы, я бы сказал — крутом повороте. Юра Киселев — брат моей жены. Но тогда я не мог еще этого знать. Все только начиналось...

- Со мной службу проходили два паренька из Томска, и оба — Юры. Один Киселев, другой — Скворцов. Хорошие такие ребята. Мы очень сдружились, были как братья, настолько близкие, друг за друга готовы

были постоять. Юра Киселев демобилизовался чуть раньше нас. Он получил вызов из университета. Тогда по правилам при наличии такого вызова можно было отслужить досрочно. Мы с другим томичом Юрой Скворцовым остались и продолжали верой и правдой нести свою нелегкую флотскую службу. Надо сказать, что на наше поколение пришлось сокращение вооруженных сил, поэтому мы демобилизовались раньше положенного срока. Службу прошли за три года, а не за четыре, как было принято ранее на флоте. Итак, в 1960 году наступил срок моей демобилизации.

Надо сказать, что когда провожали Киселева домой, в Томск, на прощание все трое обнялись и сказали друг другу: «Парни, давайте и после службы не расставаться! Хорошо, если будем и дальше общаться, дружить. Договорились?!». Нам очень хотелось быть вместе, одним таким комочком. Понимаете?

И вот едем мы со Скворцовым во Владивосток, оттуда поезд — в сторону Москвы, Юра, товарищ мой, едет до станции Тайга. До нее остались считанные минуты, и вдруг он и говорит: «Витюха, а давай вместе сойдем в Тайге, встретимся с Киселевым, вспомним наше братство. Мне идея понравилась, я сразу загорелся нашей встречей. Юра Киселев знал, когда поезд прибывает в Тайгу, и встретил нас.

Мы обнялись, так рады были друг другу, что мы опять вместе. Решил я сделать небольшую остановку в Томске, город поглядеть, себя показать. Я ж до того времени толком-то ничего и не видел. Парень видный, в форме, бушлате, хотелось жить, радоваться, обнять весь мир!

Время пролетело быстро. Подошел срок моего возвращения в Москву. Меня там ждали мои старшие брат и сестры. Мы переписывались, и они были извещены о дате моего приезда. Почему я так подробно рассказываю об этом? Время было больно хорошее. Столько дорог открывалось, новых возможностей! Еще это очень важное для меня время, как будто опять вела сама Судьба. Мне был выдан проездной билет Владивосток — Москва. А здесь я остановку сделал. Надо компостировать билет. Закомпостировал. На следующий день у меня назначен отъезд, поезд отправлялся с вокзала Томск-2. Мама друга, Юры Скворцова, напекла пирожков в дорогу, собрала нехитрый узелок

со снedyю. Со мной в поезд сел Юра Киселев, решил не на трамвае ехать, а со мной в поезде проехать одну остановку до Томска-1, где жил рядом. Время в пути между этими небольшими станциями минут 15–20. Вот за эти 15–20 минут и решилась моя судьба.

Киселев начал говорить: братья-сестры — это хорошо, но мы же обещали друг другу быть вместе, держаться одним кулачком? Как же так? Знаешь что, давай-ка оставайся в Томске!

Передо мной встала жизненная дилемма: что делать? В кармане билет до Москвы, в руках чемодан. А армейский товарищ не отступает, говорит: «Выбирай свою судьбу, Витя, ты сейчас витязь на распутье. Дальше поедешь, москвичом будешь. Останешься — университет окончишь, любовь встретишь, семью заведешь, большим человеком станешь...».

— Словом, заговорил он меня, — вспоминает Виктор Андреевич, — до такой степени, что на станции Томск-1 положил я свой билет до Москвы на полку в купе, подхватил чемодан и шагнул на перрон, в полную неизвестность... ... В бушлате нараспашку, в бескозырке, с одним чемоданом в руке бывший старшина 1 статьи вышел из поезда дальнего следования «Владивосток — Москва». Вышел на незнакомой ему ж/д станции Томск-1. Решение было принято в течение 15–20 минут. Так остановка в сибирском городе перевернула всю его жизнь. Что заготовила ему судьба?

— Я всегда прислушивался к знакам судьбы, — вспоминает сегодня Виктор Андреевич. — Мне до сих пор кажется, что вело меня провидение. Никогда не сомневался в выбранном пути, но не мог предположить тогда, что эта остановка в Томске растянется на всю жизнь...

С вокзала мы поехали на переулок Комсомольский, где жили родители Юры Киселева, моего друга и верного товарища. Решение принято безоговорочно — не нарушать святых принципов дружбы и быть единым комочком и в горе, и в радости. Правда, не скрою, какие-то сомнения все же были, но они касались в первую очередь проживания в чужой семье, на чужой жилплощади. Ведь кто я, по сути, для них — чужой человек! Но сомнения быстро развеялись. Мы постучали. Дверь открыла Юрина мама, Мария Григорьевна, добрейшей души человек. Юра с порога ее огорошил: «Мама, это Витя.

Он будет жить у нас». Вот так сразу. «Что ж, где пять, там и шестой будет, — ответила с улыбкой Мария Григорьевна, — пусть живет!». Так я остался в этой семье. Люди были исключительные...

Новая семья

Первым делом, оказавшись в Томске, сразу спросил: **«А машины у вас по городу ходят, транспорт какой-нибудь? У вас сугробы поди выше крыши?»** Этим я насмешил не только Юриных родных, но и всех знакомых. Сам без смеха вспоминать это не могу. Для меня тогда этот вопрос был вполне резонный. Приехал жизнь свою устраивать. На дворе осень, скоро зима. А Сибирь для меня — это как раз снега и морозы! Я ведь парень был со Смоленщины, уже потом в Подмоскovie перебрался, мир только познавал, как говорится!

В этой семье приютили меня. Первое время мне было настолько неудобно, что когда за стол садились, я старался примоститься где-нибудь на уголке. Мария Григорьевна, глядя на это, всегда говорила: Витя, ну что ты на уголок садишься, так ненароком прогневаешь судьбу и не женишься долго. А я возьми и скажи в ответ: **«Жениться долго не буду, лет десять гарантированно!»**. Сам в то время, честно признаюсь, заметил уже девочку, сестру Юры — Таню! Но мысли о ней гнал. Она же школьница — 17 лет всего, а я уже флотский служака! Но и здесь видна рука судьбы. Она ко мне благоволила, судьба-то. Вот и с Таней как в воду глядел. Не зря в томлении сжималось сердце...

Рабочая закалка

Мысли о женитьбе гнал не напрасно. Мне надо было тогда по жизни устраиваться. Сначала работа, потом учеба. С выбором пути профессионального помог отец Юры Киселева — Сергей Иосифович. В Томске тогда, в 60-х, начинал только строиться приборный завод, они кадры набирали. Но корпусов и производственных помещений еще не было, и всех новобранцев, в том числе и меня, распределили временно по другим предприятиям.

Поскольку я уже до армии работал фрезеровщиком, меня направили на ГПЗ-5. Я переучился там на зуборезчика, освоил новую рабочую профессию. Впоследствии, когда уже появились корпуса, меня

перевели в ремонтно-механический цех приборного завода. Это были где-то 1960–1961 годы. Там я отработал три года.

На заводе работать мне нравилось, заводская жизнь — настоящая школа для паренька, вступающего в эту самую жизнь. Завод — это гудок, пропуск, разрешение мастера, здесь стержень вырабатывается у человека. Это была хорошая рабочая школа, где освоил не только профессию, но, главное, приобрел мастеровую закалку. Завод — это еще и дисциплина, ответственность, помощь и взаимовыручка товарищей, единение особого духа!

Мечты об университете

Но меня не оставляла мечта об образовании, а за плечами всего 8 классов. До армии так и не успел доучиться. В Томске поступил в школу рабочей молодежи № 1, что на улице Розы Люксембург была тогда, где и закончил девятый-десятый классы, в 1962 году получил аттестат о среднем образовании.

Впереди — новые вершины, поступление в вуз. С факультетом почти сразу определился. Правда, точно сказать не могу, что повлияло на выбор, скорее в приемной комиссии подсказали, видят — моряк, пограничник. Получил аттестат и сразу поступил на юридический факультет Томского государственного университета. Но до зачисления было далеко, и сомнения одолевали — как экзамены выдержу, ведь не мальчик уже, а старшина запаса. Надо сказать, смелости мне придавало, что сочинения мог писать. Мои литературные способности еще в школе отметила преподаватель русского языка и литературы. Да и в армии тянулся к сочинительству, всегда писать хотелось, даже очерк опубликовал в газете «Тихоокеанская правда»...

Так вот, сочинение писал на тему Рабиндраната Тагора **«Если ты покинешь друга в беде, то познаешь горечь обид»**. Тему такую выбрал не случайно: про дружбу, про армию, описал реальный случай, как матрос, один из нас, выпал за борт во время похода, как мы его спасали... Тема была близка мне и тем, что именно благодаря товариществу, настоящей дружбе оказался в Томске, городе, который сразу стал родным для меня. И этот город тоже принял меня...

Даже сегодня Виктор Андреевич не может без волнения вспоминать тот день, когда он в бушлате и тельняшке зашел в третий корпус ТГУ, где располагался деканат юридического факультета, и увидел в списке студентов-вечерников свою фамилию. Судьба, будто компенсируя детские страдания, продолжала ему благоволить.

— Как я искал себя в списках — не передать словами, волнительно очень, — вспоминает Виктор Андреевич, и голос дрожит от волнения:

— Увидел среди поступивших свою фамилию — Миронов В. А. Такое радостное чувство захлестнуло: я студент!

Годы ученичества пролетели незаметно. Так, в 1968 году окончил юрфак, защитился. Получил диплом. Были у нас преподаватели — невозможно их забыть: Ким Андрей Иванович, Ременсон Александр Львович, всех перечислять не буду. Но всем низкий поклон. Помню всех! Они вложили в нас, студентов, много юридического понимания, что такое работа юриста, какая ответственность ложится на нас на конкретных примерах. Раз ты студент-юрист — то должен быть образцом!

Учителя и наставники:

По педагогической линии – Андрей Иванович Ким, Александр Львович Ременсон, Владимир Федорович Волович, Михаил Константинович Свиридов;

По прокурорской линии - Георгий Георгиевич Мурзов, Алексей Иванович Князев;

По судейской линии – Владимир Федорович Скрябин, Евграф Демьянович Иванов;

По жизни – приемные родители Сергей Иосифович и Мария Григорьевна Киселевы.

Женитьба на любимой Тане

Виктор Миронов учился и работал, получив диплом, делал успешные шаги в постижении профессии юриста. Но не покидала мысль о своем собственном доме, о своей семье с любимой девушкой. Закроет глаза и видит ее — свою ненаглядную Татьяну. — Помните, я как-то сказал при всех маме своего товарища, что 10 лет жениться не буду — мы тогда поспорили на ящик шампанского. Мария Григорьевна была женщиной проницательной, она первая заметила, что я кидаю взгляды на их Таню. А с того момента прошло уже 7 лет. И все у меня вроде бы складывалось хорошо. Выбрал свой путь, шел по нему честно, с гордо поднятой головой, сам жил правильно, никого не расталкивал локтями, людей уважал за это. Меня, например, всегда возмущало — стоишь в магазине, а кто-то говорит: заверни мне получше кусочек. А я всегда думал, если ей получше, значит, кто следующий в очереди — тому похуже достанется?! Простые мысли обыкновенного паренька о справедливости, чести и человеческом достоинстве.

Мария Григорьевна и Сергей Иосифович, мои названные родители, видели, что я уже стал вполне зрелым и самостоятельным человеком, и решили поторопить события. Отец любил устраивать Осенний бал — фрукты и вино легкое. Мы с Татьяной на этом балу переглядываться стали. Нас тянуло друг к другу. А тут вдруг Сергей Иосифович вызвал меня на балкон и в лоб спрашивает: «Какие у вас отношения с Таней? Чувство у тебя есть? Оно настоящее?». Я впервые тогда вслух произнес, что очень люблю ее. А гости в это время сидят за столом. Он входит и говорит: «Объявляю помолвку Виктора и Татьяны». А она была на кухне, через форточку услышала, зажалась в угол, затрепыхалась, как птица...

Потом регистрация. День этот помню отлично — 7 октября. Раньше именно в этот день отмечали День города. Так в Томске в День города в 1967 году родилась новая семья. А я, Виктор Миронов, бывший беспризорник и сирота, флотский служивый, старшина первой статьи, начинающий юрист, обрел свое счастье с дорогой моему сердцу, бесконечно и нежно любимой Татьяной. И вместе мы шагаем рука об руку более 50 лет...

Еще древние заметили, что человек, перенесший муки раннего сиротства, жестокие испытания голодом и холодом, приобретает характер непоколебимого бойца и вместе с тем становится участливым и отзывчивым к чужой боли, способным к милосердию и благотворительности. Это напрямую относится к Виктору Миронову. В каких житейских обстоятельствах закладывался характер, рождался настоящий профессионал с точным, удивительно верным и масштабным видением судебных проблем? Какие качества позволяли ему десятилетиями служить Фемиде, оставаясь честным, справедливым и беспристрастным?

Колхоз, завод. Служба в морских войсках на Чукотке. Учеба в Томском государственном университете. И всюду Виктор был верен материнской жизненной логике: «Человек обязан быть честным и никогда не идти на сделки с совестью». Эту простую мудрость, завещанную дорогим и уважаемым человеком, Миронов активно утверждает всю жизнь.

Виктор Андреевич никогда не был карьеристом. И на высокой должности оказался прежде всего по своим исключительным профессиональным заслугам и человечности. Ему первому предлагали перейти на работу в Верховный суд РСФСР, но он отказался. В деле он всегда выкладывается основательно, работая старшим следователем областной прокуратуры, прокурором Томского района, заместителем Председателя и Председателем Областного Суда,.

Сегодня он на вершине опыта, знаний, вхож в самые высокие инстанции Томска, области, столицы. Есть у Миронова еще одно ценнейшее качество - умение работать с людьми, коллегами. Он учился этому у бывшего председателя суда Е.Д. Иванова, с которым они трудились бок о бок почти 20 лет. Евграф Демьянович был прекрасным организатором, умело и требовательно подбирал кадры. И сегодня в областном суде сложился дружный и стабильный судебский коллектив.

Оглядываясь на пройденный путь, Миронов считает: ему повезло в жизни, что сложилось все именно так, как сложилось. Он радуется жизни, самозабвенно любит природу. И мечтает посидеть у ночного костра, вслушиваясь в звуки таинственной жизни, полюбоваться звездным небом и еще много лет творить для людей Добро.

Мнение Председателя Суда о смертной казни

- Мое отношение к смертной казни как таковой отрицательное. Об этом уже много говорилось. Но как поступить с человеком, в отношении которого исчерпаны все меры возможного воздействия?

Помню, как впервые выносил приговор с применением исключительной меры наказания. Иногда едешь на такой процесс и прокручиваешь в себе дело, определяешься примерно. Конечно, бывает, что ситуация меняется по ходу суда.

В Бакчаре отец девочки и мальчика, трех и пяти лет, на глазах матери схватил детей за ноги и убил, приревновал жену к своему родному брату. Думаю, Господи, как такому человеку сохранять жизнь? Наверно, придется идти на исключительную меру наказания. В ходе процесса выясняется, что жена действительно изменяла мужу с его родным братом. Этого брата они приютили, когда он вернулся из армии. Жена провоцировала мужа: «Да, я жила с твоим братом и буду жить!». По мере того, как выясняется ситуация, меняется отношение. Сам подсудимый просит: «Расстреляйте меня, я не хочу жить!». Определили ему 15 лет. Посидев, подумав, он еще жалобу написал, что много дали.

«Омой меня, дождик, чистою водою ...»

Из 18-летней практики в должности заместителя Председателя Томского Областного Суда по уголовным делам Виктор Андреевич, наверное, никогда не забудет первый процесс в рабочем поселке Тогур Колпашевского района. Дело было совершенно неординарное. И глубоко символично, что судили насильника и убийцу 1 июня - в День защиты детей.

А началось все с того, что в поселке исчезла семилетняя девочка Оля. Ее искали долго, упорно и безуспешно. Как в воду канула. Впрочем, так и оказалось. Трупик обнаружили в колодце, откуда местные жители брали воду для питья. Пили до тех пор, пока вода не стала пахнуть... Когда девочку поднимали из колодца, больше всех суетился и кричал ее родной дядя Владимир. Он грозил своими руками «задушить того, кто это сделал». Но в процессе расследования выяснилось, что сотворил это неслыханное злодеяние он сам. Владимир недавно вернулся из мест заключения, где отбывал срок за изнасилование...

двух бабушек восьмидесятилетних, хотя от роду ему исполнилось тогда всего 15 лет.

Судили его в просторном и светлом Доме культуры, где уж совершенно точно яблоку негде было упасть. Кажется, весь поселок пришел сюда. Виктор Андреевич чувствовал, как дышал негодованием переполненный зал, и опасался, что еще до вынесения приговора народ может учинить самосуд убийце. И когда приговор об исключительной мере наказания был оглашен, люди пришли в движение. Вызвали пожарных, и те с помощью лестницы помогли осужденному выбраться через слуховое окно, и конвойные увезли его в изолятор.

У Виктора Андреевича после процесса было такое состояние, как будто он много часов работал лопатой в зловонной яме: не хватало воздуха, руки било мелкой дрожью, сердце рвалось из груди. У кого-то попросил сигаретку, хотя не курит... И только на улице, подставив разгоряченное лицо под струи летнего дождя, он шептал, как доброе заклинание:

«Омой меня, дождик, чистой водою...». Тогда Миронов еще не знал, что впереди у него 18 лет работы в коллегии по уголовным делам - самым кровавым и криминальным делам. Сколько прошло перед ним душегубов и насильников! Сколько потребовалось душевных сил, полной самоотдачи и напряжения воли! Особенно на тех процессах, где суд оглашал особый вердикт - смертную казнь. Такие дела Виктор Андреевич чаще всего брал на себя, щадя коллег женщин.

Всего под его председательством оглашено более десяти приговоров к мере исключительной. И все они приведены в исполнение, кроме одного.

«Прошу меня расстрелять...»

На первый взгляд, фабула дела была предельно ясна. Мы определили, что управимся в дня три. И уж «расстрельный приговор» выносить вряд ли придется. Уроженец Узбекистана, отслужив в армии на «почтовом», остался жить в Томске. Он подружился с молодой семейной парой, особенно с их сыном-школьником. Был всегда желанным гостем. Устроившись на работу и определившись с жильем, Рафик продолжал навещать своих русских друзей. Однажды Рафик

заглянул к Володе в гости, когда родители были на работе. Мальчик доверчиво открыл дверь старшему другу. А когда вернулся с кухни, где готовил чай, заметил, как Рафик выгребает из шкатулки семейные драгоценности.

- Зачем ты золотые вещи взял, Рафик? Они же мамины...

Вместо ответа Рафик набросил мальчику на шею поясок, свалил на кровать и стал душить. Силы были неравны, и вскоре мальчик затих... И вот суд. Родители собрали сотни подписей с требованием казнить убийцу. А подсудимый в последнем слове неожиданно для всех присутствовавших, в том числе и для судейской коллегии, заявил: «Граждане судьи! Я признаю, что совершил гнусное преступление, и прошу меня расстрелять...»

Мы долго сидели молча в совещательной комнате, а зал напряженно ждал решения. Тайна совещательной комнаты. Только судьи знают, сколько нервов, сердечных мук и волнений стоит пребывание в ней. Как глотают здесь валерьянку, спорят до хрипоты, докапываясь до истины, отмеряя на незримых весах положенное наказание... А Рафик наутро раздумал умирать и накатыл на приговор жалобу, где очень просил сохранить его драгоценную жизнь, уверяя, что молод и много принесет еще пользы обществу. И президент в порядке помилования заменил ему высшую меру 15 годами лишения свободы.

Испытание золотом

На суде не бывает полностью удовлетворенных решением суда. Одной из сторон кажется, что суд подошел к делу слишком гуманно, другой - жестоко и предвзято. Помню завершение процесса по обвинению в убийстве сотрудника милиции. Поскольку убийцы были несовершеннолетними, то и меру наказания избрали не исключительную, как того требовали родители погибшего. Когда выходили из зала, кто-то, словно пощечину влепил: «Купили суд с потрохами! Человека убили, а им - лишение свободы...».

Еще работая старшим следователем областной прокуратуры, Миронов расследовал очень запутанное дело. В Томске исчез мужчина, а через несколько месяцев его останки нашли в золе костра на берегу Оби. Шли поиски. А по городу вдруг активно поползли слухи: Миронов получил взятку - 8 килограммов золота. Нелепое обвинение

нервировало, мешало сосредоточиться. Позвонившая знакомая иронизировала: «Виктор Андреевич, отруби кусочек на коронку...». С делом об исчезновении мужчины Виктор Андреевич справился блестяще. Но финал оказался неожиданным. За останками сына к нему в кабинет явился отец погибшего. Виктор вручил ему деревянный ящичек с прахом и вдруг спросил: «Ну а вы, неужели верили всем этим слухам насчет золота?». Отец в свою очередь удивился и ответил: «А разве вы сами сомневаетесь в этом? Лично я не сомневаюсь». И ушел, хлопнув дверью.

Деньги, деньги...

Миронов вспомнил визит «человека из средней Азии». Его сынок, учась в университете, совершил грязное злодеяние. Накануне рассмотрения уголовного дела человек этот явился к Виктору Андреевичу. Деловито, по-хозяйски вошел в кабинет, уселся на стул и без предисловия перешел к делу: «- Вот что, товарищ судья, я знаю, по какой статье вы будете судить моего сына. Так вот, если с третьей части приговор измените на вторую, то получите сейчас же пять тысяч наличными, а уж если переведете на первую, то в придачу - еще и новый автомобиль...»

Закон предоставляет судьям достаточно широкую возможность выбора. Есть статьи, нижний предел которых ограничивается годом, а то и месяцами лишения свободы, а верхний доходит до десяти лет. «Золотую середину» судебная коллегия вправе определять по своему усмотрению, исходя, разумеется, из сути дела и личности провинившегося. Это и имел в виду «грамотный» посетитель. Он не учел только, что главное мерило человеческой порядочности не деньги. Есть честь, долг, совесть, закон для неподкупного судьи...

Жизненное кредо Миронова. Я всегда старался относиться ко всему с полной отдачей, не лукавить, не ловчить, не пытаться кого-то обойти, оттолкнуть. Мне кажется, есть такая закономерность: если ты ведешь себя правильно, к тебе все это вернется.

Политические дела прежних лет

- Мне приходилось рассматривать дела по статье 190' УК РСФСР - дело Вячеслава Бахмина, например. Выехали мы в Асино. В то время такие дела (клевета на государственный и общественный строй) были

на контроле вплоть до партийных органов. Провожу процесс, но чувствую в деле элементы провокационного порядка. Подсунули Бахмину в асиновской колонии врача местного, который стал с ним вести разговоры о произведениях Солженицына и других, вынудил на откровенность. Москвич Бахмин уже сидел по той же статье 1901, причем получил по ней максимум - три года. Было понятно, что меньше новых трех лет ему не видать. Но душа у меня не лежала «на всю катушку» определять ему меру наказания. К моменту суда Бахмин отсидел уже девять месяцев. Суд ему назначил один год лишения свободы. Приезжаю в Томск - председатель мне говорит: «Что ты наделал?! Тут уже в обкоме все знают». Говорю ему: «Не мог я выше, а по-доброму - он и этого не заслужил».

Сейчас об этом можно и открытым текстом говорить. Через два дня приходит к нам работник КГБ, тут же тогдашний прокурор области Князев пишет по этому делу протест на мягкость наказания, тот берет дело - и нарочным в Москву. Думаю, «полетит» мой приговор. Но и там нашлись люди отзывчивые и мудрые. Протест был снят прокурором республики Кравцовым.

Времена меняются. Написал я Бахмину письмо в порядке покаяния. По нашей же инициативе мы направили этот приговор и еще несколько дел в Верховный суд для проверки законности наших решений. Там их отменили. Я сообщил Бахмину, что он может получить материальное вознаграждение за необоснованное осуждение. Этот порядочный человек ответил: «Бог с ним, с этим вознаграждением. Для меня достаточно того, что восторжествовала справедливость».

И судья — человек

- Кто мне запретит внутренне симпатизировать подсудимому? Я же живой человек, бывает жалко. Но никаких эмоций я проявлять не должен, а должен быть всегда беспристрастным. Но бывает до слез жалко какого-то человека на скамье: чувствуешь, что это случайность, что в жизни у него и так все пошло кувырком. Хочется помочь, а как? Вот статья закона, и за рамки не выйдешь. Дома я об этом никогда не говорю. Стараюсь отвлечься хозяйскими заботами. Но мысли о процессе со смертной казнью долго вот тут сидят. Так просто это не проходит...

Чтобы тот или иной документ имел юридическую силу, необходима подпись председателя областного суда. Но Виктор Андреевич знает, что от его подписи нередко зависит и дальнейшая судьба человека.

Подсудимые глазами судьи

Как это не покажется странным, за подсудимым и осужденным по закону закреплено «право врать». Защищая себя, он может нести любую околесицу. Это его средство защиты. А мы должны дать его словам объективную оценку. Попадаются артисты, так слезу пустят, что начинаешь верить. Один такой убеждал, что он невиновен, что это ошибка, что у него маленькие дети, мать-старушка. Мы действительно подумали: «Может, здесь какая-то следственная ошибка?». Потом перехватывают записку, которую он пишет своему другу: «Кажется, суд клюнул на гнилой крючок».

Миронов твердо убежден: уголовщина появляется там, где нет настоящего контроля и учета, где дела запущены, отданы на откуп сомнительным личностям, где «рука руку моет».

Недавно похоронили они на городском кладбище своего коллегу, много лет проработавшего в областном суде. Сколько хлопот понадобилось коллективу, чтобы похоронить товарища на почетном месте! И... злая ирония судьбы. Рядом возвышался мраморный дорогостоящий обелиск над могилой усопшего расхитителя, которого однажды коллегия приговорила к длительному сроку лишения свободы...

Среда обитания — природа

Об этой экспедиции в малоизведанные края нашей области, куда не «ступала нога человека», мы с Виктором Андреевичем Мироновым, мечтали, можно сказать, всю свою сознательную рыбацкую жизнь - около четверти века. Нам даже снилось это таинственное озеро, где упруго ходят под водой килограммовые красавцы-окунь, а пудовые щуки с жадностью набрасываются на блесны, мормышки и рвут из рук легкие удилища.

Красота озер, на которые нас доставили местные охотники, ошеломила. Две огромные чаши, обрамленные кедрачом и пихтачом, соединены узким перешейком. Издали кажется, словно сама Земля всматривается в небо своими огромными черными очами. Глубина одного озера всего около двух метров, на другом распускали леску до двадцати.

Мы радовались этой первозданной красоте, как дети. Еще, наверное, и потому, что вокруг на сотни верст лежали непроходимые Инкинские болота и не было живой души, кроме нас. В новой, пропахшей смолой избушке нам предстояло жить целых двенадцать дней. Вдали от всего мира, суетной цивилизации, напряженной работы...

Напутствуя нас, местные охотники говорили, что окуни здесь клюют от одного до двух килограммов, а щуки - до десяти. Мы посчитали эти рассказы обычными рыбацкими преувеличениями, но все оказалось именно так. Вес пойманных окуней составил от 1600 до 1900 граммов. Таких мы не ловили нигде и никогда.

В мои обязанности входило топить печь, разжигать «керосинку», ходить на речку за водой, убирать в избушке, мыть после обеда посуду. Виктор Андреевич за многие годы странствий отменно поднаторел готовить обеды, первые и вторые блюда. А делать это в походных условиях совсем непросто. Назвать его просто кашеваром - язык не поворачивается. Надо видеть, как он колдует, чародействует над котелком с варевом под общим и непонятым названием «суп-кандей». В дыму, в копоти, когда дым разъедает глаза и выжимает из них слезы, он то и дело выдергивает котелок из раскаленной печи, что-то подсыпает, подмешивает, нюхает, пробует, смакует, кряхтит, негодует, затем вдруг радостно объявляет: «Все, готово, режь хлеб». И ставит на стол еще булькающий котелок. К горьковатому привкусу дыма примешивается неповторимый аромат «кандея».

Однажды знакомый шофер страшно удивился, когда подвез нас прямо к щелястому вагончику на своей машине. «Вы что, действительно хотите здесь жить? Да вы же обледенеете в первую ночь. И все это терпеть ради каких-то окунишек?.. Собирайтесь-ка, я увезу вас обратно в город.»

В его понимании - это неразумная дикость. Для нас - родная стихия, привычная среда обитания. Запах прокопченной избушки для него был удушающим, для нас - манящий и волнующий аромат. Что же дают подобные встречи? Конечно же не только вожделенных окуней и щук. Надолго остаются в памяти незабываемые впечатления, ощущения праздника души, мощный заряд бодрости и оптимизма, умение радоваться душистой ухе из свежих окуньков, шуму тайги, непуганым птицам и зверью в краю нехоженых троп, всему, чем одаривают нас Великая Мать-природа и ее Всемогущий Создатель.

Из профессиональной программы Миронова В.А.

При принятии соответствующих решений руководствоваться Суды должны не экономическими и политическими соображениями, а нормой права, в то же время в этих решениях необходимо учитывать моральные и нравственные категории.

В связи с осложнением положения дел с преступностью от судебных органов требуется большая собранность, неукоснительная процессуальная дисциплина. Следует избегать перекосов в карательной практике с тем, чтобы рецидивисты и лица, совершившие тяжкие преступления, несли повышенную ответственность, предусмотренную законом. Суды должны более активно содействовать социальной, правовой и имущественной защищенности граждан.

Говоря о правовой защищенности, мало решить дело в пользу гражданина. Нужна принципиальная постановка вопроса об ответственности лица, допустившего нарушение закона, независимо от социального и должностного положения; выстраивая линию борьбы с преступностью, нельзя забывать о нравственности и духовности, а эти категории требуют развития, углубления и культивирования.

Я мечтаю... «Чтобы люди были добры и уважительны друг к другу. Если бы в каждом было заложено главное - совесть, честь, сострадание, - насколько лучше была бы жизнь!»

Уважаемый Виктор Андреевич! Примите сердечные поздравления с Юбилеем. Желаю крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Томской области.

Глава Администрации (Губернатор) Томской области Виктор КРЕСС

Уважаемый Виктор Андреевич! Человеку свойственно надеяться на чудо, но все-таки задумайтесь и над тем, что немало хорошего и доброго навсегда уходит в прошлое. Вспомните все счастливые дни и возьмите их с собой: понимание и преданность друзей, верность любимых, доброту родных, успехи детей... и пусть это останется с Вами на долгие годы! Желаю Вам здоровья, семейного благополучия и жизнелюбия!

С уважением Борис МАЛЬЦЕВ, Председатель Государственной думы Томской области.

СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении высшей квалификации

Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 19 марта 1998 года председателю Томского областного суда Миронову Виктору Андреевичу присвоен высший квалификационный класс.

Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации В. Кузнецов.

Фотографии из личного архива семьи Мироновых.



Заседает комиссия по подготовке празднования юбилея областного суда. Повестка заседания - выпуск памятной книги о деятельности судов Томской области. Главным вдохновителем и редактором этого издания является В. А. Миронов. На снимке слева направо: ветераны областного суда Т. Г. Корецкая и М. В. Усков; член Союза журналистов России, народный заседатель областного суда В. И. Сомов; председатель областного суда В.А. Миронов; член Союза журналистов России, народный заседатель областного суда В. И. Федоров.



Прием госэкзамена в юридическом институте ТГУ. Председатель экзаменационной комиссии - В.А. Миронов



Чтобы тот или иной документ имел юридическую силу, необходима подпись председателя областного суда. Но Виктор Андреевич знает, что от его подписи нередко зависит и дальнейшая судьба человека.



Вайвод Антон Норбертович, Исаева Лариса Григорьевна и Миронов Виктор Андреевич – «Заслуженные Юристы Российской Федерации».



Добрými помощниками в нелегкой работе председателя облсуда являются его первые заместители: Н.И.Настас и А.А.Кайгородов (справа).



1998 г. Губернатор Томской области В.М.Кресс поздравляет и вручает награду В.А.Миронову в связи с 60-летием со дня рождения.



Председатель Томского Областного Суда Виктор Андреевич Миров.





Ловись рыбка и мала и велика!!!



Перед выходом на озеро



«Хорошо после морозного денька выпить горяченького чайка!»

Виктор Сомов и Виктор Миронов в таежной избушке лесника.



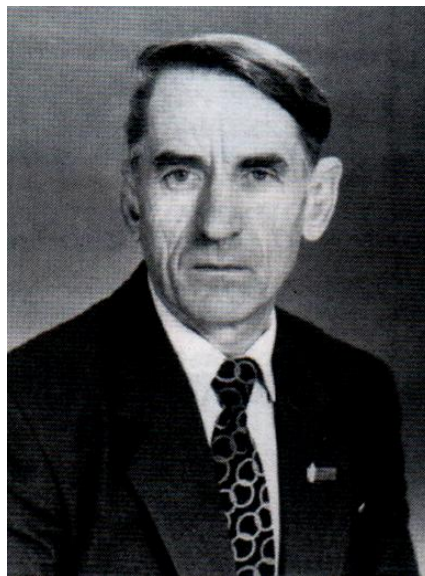
Виктор и Татьяна Мироновы – более 50 лет по жизни вместе!



Здание Томского Областного Суда.



Посвящение в судьи



**Виктор Сомов, лауреат премии Союза журналистов России,
народный заседатель Томского областного суда. 2004г.**

Татьяна Шелест, журналист

**Использованы материалы из книги «Томскому областному суду
200 лет». Томск, 2004г.**

Испытание сиротством

О нем нужно писать не газетный материал – книгу. Большую и серьезную книгу, в которой сойдутся разные литературные жанры и виды – роман, детектив, мелодрама, ода, потому что в его судьбе есть и эпичность, и интрига, и лирика, и пафос. По его биографии можно изучать историю страны – настолько зеркально она отражает глобальные события, происходившие в обществе. У всякого, кто с ним знакомится, возникает желание взять с него пример, ибо его жизнь – блестящий образец становления Личности. Настоящей, многогранной, интересной Личности. Все это – о Викторе Миронове, председателе Томского областного суда в почетной отставке.

Официально:

Виктор Андреевич Миронов, председатель Томского областного суда в отставке, член квалификационной коллегии судей области и заместитель председателя совета ветеранов судей области. Родился 20 апреля 1938 года на Смоленщине. В три месяца потерял мать. В три года – отца. Жил в детском доме. Воспитывался старшим братом и сестрой. Работал в колхозе и на заводе. Служил в Военно-морском флоте. После демобилизации работал на Томском приборном заводе, учился в школе рабочей молодежи, затем – на вечернем отделении юридического факультета ТГУ. Служил стажером следователя, следователем, старшим следователем в прокуратуре Томской области, прокурором Томского района, заместителем председателя областного суда по уголовным делам. В 1994 году был назначен председателем областного суда. В 2004-м ушел в почетную отставку.

Женат. Супруга Татьяна Сергеевна на заслуженном отдыхе. Трое взрослых сыновей: Максим – настоятель храма в Зоркальцеве, Алексей – помощник мирового судьи, Сергей – следователь по особо важным делам. Семь внуков, два правнука.

Неофициально:

Литература – книги по истории России.

Любимое место в Томске – весь старый деревянный Томск.

Кулинарные пристрастия – уха, солянка, чахохбили собственного

приготовления.

Не нравится в людях – наглость, хамство, «яканье».

Не нравится в себе – стеснительность («С детства: знаю ответ, а руку поднять неудобно»). Хобби – охота, рыбалка, мичуринский участок.

Сума

В народе говорят, от сумы да от тюрьмы не зарекайся. В жизни Виктора было и то, и другое. Первое – в прямом смысле: ходил с котомкой через плечо по разрушенным войной деревням и просил милостыню. Второе – в переносном: отправлял за решетку тех, кто преступил закон. Но об этом позже. А пока Виктор Андреевич рассказывает мне о своем беспризорном детстве. Не раз и не два за время нашего общения у него увлажняются глаза, у меня – каплют слезы. Потому что нельзя, невозможно спокойно слушать про четырех-пятилетних мальчишек, собиравших кости на помойках, варивших их на костре и высасывавших съедобную жижу, чтобы не протянуть ноги от голода. Не лучше было и в детском доме, где пацаны примерзали к мокрым матрасам. Тяжело, невыносимо тяжело жилось. Но самое страшное – одиночество. Родителей нет. Мама умерла, надорвавшись на деревенской работе, отец в 41-м ушел на фронт, в 43-м пропал без вести – у Виктора до сих пор не заживает душевная рана: ни фотографии, ни могилы, ни вещественной памяти. Ни о матери. Ни об отце. Старший брат в блокадном Ленинграде, сестра, угнанная фашистами в Германию и освобожденная партизанами, где-то в боевом отряде, еще одна сестра, как и Виктор, в детском доме. Но мальчишки и девчонки военного времени не распускали нюни, они умели сопротивляться невзгодам - жизнь быстро делала их взрослыми.

Провидение

Брат Михаил после войны обосновался в Подмосковье и забрал к себе Виктора и младшую сестренку. Подростка устроил на завод фрезеровщиком и отправил учиться в школу рабочей молодежи. Возможно, биография Миронова так бы и развивалась в заводском русле, если бы не армия и не связанная с ней судьбоносная встреча. Окончив с отличием курсы морских специалистов в Анапе, курсант отдельного пограничного отряда Виктор Миронов из нескольких предложенных на распределении мест выбрал Дальневосточный

пограничный округ. Вот там, на Чукотке, в бухте Провидение, которую они называли Привидением за пугающе-пустые скалы, он познакомился и сдружился с двумя Юриями из Томска, Скворцовым и Киселевым. Парни дали друг другу слово не расставаться и сдержали его. Впрочем, обстоятельства, благодаря которым Виктор стал томичом, кажутся абсолютно случайными. Киселев демобилизовался раньше товарищей, потому что поступил в ТГУ, а Скворцов по окончании службы предложил Миронову заехать в Томск навестить друга. Теплая встреча, разговоры, воспоминания... Несколько дней промелькнули незаметно, и вот уже мама Юры Скворцова приготовила Виктору узелок с провизией в дорогу до Москвы. Сели втроем в поезд на Томске-2, и, пока ехали до Томска-1, друзья уговорили Миронова остаться. Он спустился с подножки вагона, сам себе удивляясь: куда? зачем? кому он здесь нужен? Это был спонтанный шаг в неизвестность. Однако за случайностью как будто скрывалось провидение: казалось, какая-то сила сознательно вела его к счастью.

Таня и ТГУ

Юра Киселев сказал: «Жить будешь у нас». Юрина мама, Мария Григорьевна, не возражала: «Ну что ж, будет восьмой член семьи». Отец, Сергей Иосифович, помог устроиться на строящийся приборный завод, посоветовал продолжить образование. Виктору эти люди заменили родителей, он стал называть их маманя и папаня и впервые почувствовал тепло настоящего родного дома. Хотя... Было стыдно, что обременял своим присутствием друга. Иногда возникало желание бросить все и уехать. Но удерживали два обстоятельства. Два важных и тоже судьбоносных обстоятельства. Любовь и университет. В дочь Киселевых Таню Виктор влюбился безоглядно и поначалу, увы, безответно. Страдал, писал ей записки с признанием, дарил цветы, и, наконец, она дала согласие стать его женой: в 67-м, в день рождения города, сыграли свадьбу. С тех пор Татьяна и Виктор неразлучны.

А университет? Университет был запредельной мечтой, Миронов и не надеялся, что когда-нибудь переступит его порог в качестве студента. Даже сегодня Виктор Андреевич не может без волнения вспоминать тот день, когда он в бушлате и тельняшке зашел в третий корпус ТГУ, где располагался деканат юридического факультета, и увидел в списке студентов-вечерников свою фамилию. Судьба, будто компенсируя

детские страдания, продолжала ему благоволить.

Работа

Стажер, следователь, районный прокурор, заместитель председателя и председатель областного суда – последовательно сменялись вехи трудовой биографии Виктора Миронова.

- Виктор Андреевич, - интересуюсь я у своего собеседника, - вы служили Фемиде в те времена, когда еще не было моратория на смертную казнь. Трудно было произносить: «Именем Российской Федерации приговариваетесь к высшей мере?». Не приходили ли в противоречие ваш профессиональный долг и ваша душа?

- Каждый раз, когда я произносил такие слова – а случалось это более десяти раз, моя душа спрашивала: кто дал тебе право отнимать у человека жизнь? Принимать подобное решение мучительно тяжело. Успокаивало лишь то, что осужденные на смерть были настоящими подонками. Мои приговоры, кстати, всегда поддерживал Верховный суд. Я хорошо помню все дела, помню фамилии, помню, как проходили судебные заседания. Самое первое дело мы слушали в Тогуре. Обвиняемый Комаров изнасиловал и убил восьмилетнюю племянницу, а до этого так же изуверски разделался с двумя 80-летними старушками. Это был не человек – изверг. Односельчане готовы были его растерзать. По странному стечению обстоятельств, дело слушалось первого июня – в День защиты детей. Когда я вернулся в Томск, жена обнаружила у меня первые седые волосы.

Если пропускать человеческие судьбы через собственное сердце – это обязательно аукнется. Преждевременной сединой. Подорванным здоровьем. Такова невидимая сторона судейской работы. А если еще взвалить на себя хлопоты по возвращению и реконструкции здания областного суда, празднованию 200-летия Томского губернского правосудия, подготовке к этой дате книги и присовокупить нервотрепку, связанную с тяжкими 1990-ми годами. Когда у судей элементарных канцелярских принадлежностей не было и по этой причине заседания откладывались, тогда станет понятно, почему у Миронова случился инсульт, затем - второй...

Но, уйдя по собственному желанию в почетную отставку, он не теряет связи с коллегами. Для многих из них их бывший учитель Виктор Миронов останется авторитетным наставником и мудрым советчиком.

Природа

Снимать напряжение Миронову всегда помогала природа. Вместе с журналистом и народным заседателем Виктором Сомовым они облазили все водоемы и исходили все охотничьи тропы области, изнемогали от испепеляющей жары и замерзали в стужу. Для них был важен не результат рыбалки или охоты (хотя без трофеев не возвращались), а сам процесс. Сидишь над речкой с удочкой и растворяешься в окружающем мире: тишина, покой, благодать. Умиротворение приходит к нему и на даче в районе Старой Оби, где он вместе с сыновьями построил дом. Цветочки, листочки, зверушки – Виктор с Татьяной могут часами любоваться деревенской идиллией. А в последнее время у Виктора Андреевича появилась еще одна страсть – погружение в российскую историю, он запоем читает труды Карамзина, Соловьева, Льва Гумилева, других отечественных авторов и задумал составить хронологию жизнедеятельности великих князей, царей и императоров. Ему очень хочется, чтобы люди тоже узнали драматическую историю своей Родины: тогда они, возможно, станут добрее. Своей же судьбой, неразрывно связанной с жизнью страны, Виктор Миронов доволен.



10.01.1950 - 26.08.2015 г.г.

Татьяна П. Винарская 26.04.2008г. "Томский вестник"

Нарымская хроника. Макшеев В.Н.

Фрагменты из книги

...В 1943 году в детские дома Нарымского округа привезли более 500 осиротевших ребятишек из Ленинграда и Смоленской области, и общее число сирот в одиннадцати детдомах округа превысило 2300 человек. За 1930-1940-е годы через детдома Нарыма прошло более 10000 ребят. Как бы плохо ни было в детских домах, они спасли жизнь тысячам сирот.

Чтобы разгрузить переполненные детские дома, подросших ребят трудоустраивали, отправляли к бравшим их в свои семьи дальним родственникам. Но, после войны, пришло указание вернуть их в места поселения. Спецпереселенцы должны находиться там, где власть определила им жить. «Социально опасный элемент» должен знать свое место. Тех, кого разыскали, отправили по этапу обратно. Под конвоем, по той же дороге, только теперь уже одних, без матерей...

Из докладной записки инспектора окроно Чубаровой
в Нарымский окружком ВКП(б) 20 октября 1943г.

О состоянии Айполовского детского дома

Постройки детдома в настоящее время находятся в запущенном состоянии, окна застеклены не все, не отремонтированы печи... В корпусах грязь, сорно и царит полная антисанитария. Умывальников нет, поэтому дети не умывались от бани до бани. Дисциплина неудовлетворительная. До 20 сентября дети не посещали школу по двадцать и более человек совершенно без причины. Вместо того чтобы дети работали на уборке своего огорода, они прислуживают жителям поселка и сотрудникам. У тов. Устиновой (директор детдома) живет в домработницах воспитанница Тугова 16 лет. У завуча Сухушиной живет воспитанница Легичева 14 лет, у воспитательницы Ардашовой живет воспитанница Ворошилова 17 лет, у воспитательницы Власовой живут две воспитанницы. Воспитанницы используются как домработницы, которых одевает и кормит государство. В детдоме применяются запрещенные методы воспитания НКП (наказание пищей). Есть случаи,

что воспитанники продают свои пайки хлеба на деньги, которые расходуют по своим нуждам, как-то: выкуп доплатных писем и т.п.

Большинство детей ходят босые, а поэтому не хотят идти на работу и в школу. Кожаной обуви, пригодной к носке, но требующей ремонта, всего пар около сорока. Не хватает верхнего и нижнего белья. Питание никак не соответствует и не выдерживает нормы. В течение двух последних месяцев дети совершенно не получали жиров. В августе и сентябре не было ни грамма масла. Утром чай, в обед суп и второе, в ужин суп. Все постное... ЦДНИ ТО. ф. 206. оп1. д. 740. л. 35

В результате подобных проверок снабжение детдомов несколько улучшалось. Сверху давали указание что-то выделить дополнительно, увеличивались лимиты... Конечно же начинали искать виновных, как правило, в первую очередь среди «классово чуждых»...

Из докладной записки зам. Начальника окротдела НКГБ капитана госбезопасности С.Карпова секретарю Нарымского окружкома ВКП(б) Брызгалову 25 марта 1944 года.

За январь 1944 года через Колпашевский пункт военной цензуры прошло 199 писем, исходящих от воспитанников детских домов, с жалобами на плохое питание и обмундирование. Ниже приводятся выдержки о содержании жалоб.

Айполовский детдом. *Орехов пишет:* «Я живу плохо. Хлеба в день дают 500 грамм(ов), в завтрак дают чай сладкий по два стакана, в обед суп с капустой, а в ужин по три рыбки и мундир 8 картошек. Одевают плохо. Если можно, то возьмите меня к себе, а то меня тут бьют».

Парабельский детдом. *Каштанова Маня:* «Дядя Авера, в детдоме плохо нас одевают, также и плохо кормят. Дядя Авера, я хожу в третий класс, учусь ничего. Ходим зимой в школу в летних пальто, мы отмораживаем руки и ноги. *Бурмистрова Маня:* «Одевают нас в летние халатики, а мороз доходит до 60 градусов. Варят тухлую капусту, и то не вволю. Хлеба дают 400 грамм[ов] в день. Няня, нас дразнят, вы сами знаете как. Будем слушаться, только возьми нас. Нас там никто ненавидит, обзывают, бьют, нет возможности жить в детдоме. *Апец Зина:* «Лучше дома есть траву, чем жить здесь.. В завтрак надо по 150 гр[аммов], а нам дают по 100 грамм[ов]. И так все повара съедают наше.

Тетя, прямо так плохо жить, и издеваются над нами, бьют нас»

Васюганский детдом. *Мамонтов Леонид:* «Живу неважно, к вашему известию, главное из-за питания. Утром дают чай. тарелочку супу с одной почти зеленой капустой и 150 гр(аммов) хлеба. В обед тоже тарелочку супу с какой-нибудь крупой, а на второе соленые червивые негодные для еды грибы. В ужин чай с молоком. Молоко отпускают так: в котел на 200 человек опускают один литр молока и крошки хлеба. На голодный, можно сказать, желудок ложишься спать. Теперь вы. наверное, ясно представляете мою скитающуюся жизнь».

ЦДНИ ТО. ф 206. оп1. д. 840, л. 2

С каждым годом остается все меньше переживших то страшное время. Казалось что, к их воспоминаниям не нужны комментарии. Сегодня не нужно никого убеждать в дикой бесчеловечности того, что творилось под призывавшими к светлому будущему лозунгами. Но увы, и сегодня бытует представление, что «так было надо»...

Вот что написала в Томское общество «Мемориал» Антонина Николаевна (фамилии своей она не указала) из Чаинского района: «Кто был сослан, те были кулаки, которые все время везде вредили. Тот же кулак пишет, чтобы его оправдали сейчас. Тот же враг народа...» Строки из другого письма без обратного адреса. «Нас гораздо больше, чем тех. кто так яростно ратует за воспоминания. Кто произвел тот шквал из середины 30-х годов? Зная дурную привычку кидаться на все новое, словно голодный волк, кто-то в определенных кругах специально завел нас далеко назад, чтобы отвлечь народ от действительности... На постройку памятника жертвам репрессий собирают деньги и указывают счет, куда их вносить. А это уже похоже на нищего, протягивающего руку...» И еще одна выдержка из письма от Т.К.Кривенко из Томска: «Я тоже за Сталина. Я не считаю себя должником деревни, и нечего оплакивать деревни Сталинского времени, что их обижали. История рассудит». Как хотелось бы сказать, что она уже рассудила, но, слыша истощный клич «Я за Сталина!», убеждаешься, что точку в споре ставить рано. За семь десятилетий людей отучали сопереживать чужой боли...

Свидетельства тех, кто с малых лет был спецпереселенцем, кто хоронил в братских могилах матерей, сестер, братьев...

Из Фонда Музея социально-политической истории г.Томска

Из воспоминаний Вениамина Макаровича Курченкова, сосланного в Нарымский округ из Алтайского края в 1931 г.

«...Весной 1931 года по берегам таежной необжитой Кети было расселено, точнее, обречено на гибель или самовыживание около двадцати тысяч раскулаченных крестьян, сосланных из хлебородных мест Алтая и Барабинских степей. Очутившись в заболоченной тайге без крыши над головой, при огромном скопище гнуса, люди оказались в каторжных условиях. Питались болтушкой с малой толикой муки, травой, молодыми побегами кустарника, и при этом надо было корчевать лес, строить избенки. Началась массовая смертность. В большинстве своем семьи были многодетные, в первую очередь страшные муки терпели дети.

Не менее мучительно было их матерям, которые не в силах были своих детей спасти. Вымирали целиком семьи. В поселках Городецк, Палочка, Суйга, Проточка из семи тысяч восьмисот высланных туда людей через два года в живых осталось около двух тысяч. В поселке Восточка, куда были привезены люди с Горного Алтая, не приспособленные к нарымскому климату, вымерли все поголовно. Из одиннадцати человек кашей семьи за полтора года умерло семеро. В детском доме, где я, осиротев, воспитывался, было около двухсот ребятишек, и все это были осиротевшие дети «кулаков». В каждой комнате детского дома висел лозунг: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство». Немногие чудом оставшиеся в живых ребятишки должны были благодарить вождя за то, что он «осчастливил их», оставив без отцов и матерей...»

Из воспоминаний Дайны Шмулдере-Геркис

«...Помню один морозный вечер Я шла от Кошелевых, которые мне одолжили пилу. За горизонт заходило солнце, красное- красное. Снег скрипел под ногами. Вдруг я поняла, что мама умирает и мы останемся

одни. До того вечера я и о мыслях не допускала такую возможность. Я шла и плакала. Слезы замерзали на щеках. Вечером мама нам сказала, что чувствует себя лучше. Мы все вместе порадовались этому. А утром следующего дня я проснулась от того, что у мамы началась агония. На улице было еще темно. Вилма затопила плиту и куда-то ушла. Избушка освещалась от топящейся плиты. Мама лежала на топчане, тяжело дышала и смотрела мне в глаза. Я и сегодня помню этот взгляд — будто она все понимает, но говорить уже нет смысла. Я кричала от горя, от растерянности, от бессилия братик лежал рядом с мамой. Я его посадила на печь к сестре. Братику было два с половиной года, но он не ходил и не разговаривал. Но то, что он был живой, — было великое чудо. В тот день сестренке было десять с половиной лет, а мне тринадцать с половиной. Умершую маму я сама одела и по полу вытащила в сени. Там на скамейках была широкая доска, на которой двадцать дней назад лежала мама Дагмары. Теперь на доске лежала наша мама — холодная и безразличная к нам. Надо было ждать, пока в мерзлой, как камень, земле выдолбят могилу.

Могилу копал колхозный кузнец Снегирев — светлый человек. отец пятерых детей. Могилу он вырыл на совесть, глубокую и с нишей. В эту могилу постелил солому. Мы с сестрой на санках отвезли нашу маму на кладбище. Снегирев маму уложил в нишу и прикрыл нишу доской, чтобы мерзлые комья не падали на маму. Через пару недель в мамину могилу хоронили маму маленького Андрейки, умершего еще осенью 1941 года. Зинаиду Генгерис. Последнее время она была бездомной. За квартиру платить ей было нечем, и она ночевала где придется, кто пожалеет и пустит ее. В ту ночь она ночевала у порога на полу у ссыльных из Черновиц. Как она на корточках сидела, так ее холодную уже утром и нашли. Из маминой могилы выбрали часть мерзлых комьев земли и уложили там Зинаиду. На ней были белые, теплые бурки. Хоронившие ее решили, что бурки Зинаиде больше не нужны, и стали их с нее снимать. Когда они увидели, что с застывших ног бурки не снимаются, они их разрезали и сняли. Это было последнее, что можно было у нее отнять...

Фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея.



В таких бараках ютились спецпереселенцы.



Один из детских домов в Нарымском округе.



Детский сад в Средне-Васюганской комендатуре.



Осиротевшие дети спецпереселенцев возле одного из детских домов в Нарымском округе. Комендант - на лошади.



Средне-Васюганский детский дом. Обслуживающий персонал. 1935 г.



с. Новь Васюган, 1947. Дети Айполовского детского дома.

1947 г. Дети из Айполовского детского дома, члены концертной бригады вместе с руководством детского дома и районным комендантом. с. Новый Васюган. Воспитатель детдома Обоскалова Евдокия Григорьевна.



Воспитанники детского дома и воспитатель Тулинская А.А. 1950-х гг.



Тулинская Мария - жена расстрелянного Тулинского в 1937г. и дочь Люба.

Мы с сестрой на кладбище шли с наивным желанием еще раз увидеть маму... Когда нас весной увозили в детский дом, мы ходили попрощаться с мамой. Земля под деревьями еще не совсем оттаяла, и вместо могилки было углубление. Наша мама осталась там, в той дальней глухой деревне, но я всю жизнь чувствую ее рядом с нами. Сорок шесть зим прошло с тех пор, но я и теперь часто плачу по ней. Я не плачу о нашей сиротской доле. Я плачу о доле матери, которая своей жизнью должна была заплатить за жизнь своих детей»...

Из воспоминаний Бируты Мильберг, сослана из Латвии в 1941 г.

« ...Те, у кого было что-то из вещей, меняли их на продукты. Часто ради этого приходилось идти за несколько десятков километров в соседние деревни. Когда уже ничего не осталось, начался голод. В первую же зиму в деревне, куда мы были поселены, умерло несколько человек, привезенных из Латвии. Моя мама тоже ходила менять вещи на продукты и однажды по дороге обморозила ноги. Ни обувь, ни одежда у нас не были пригодны для суровых морозов. Помню, летом в колхозе сдохла овца. Ее облили керосином и закопали, но мама выкопала ее, сварила, и мы все ели это мясо. Чего только мы не ели — разную траву, полевой хвощ, гнилую картошку, картофельные очистки и даже лягушек.

Мы ютились по разным избам, вместе с нами жили такие же, как и наша, сосланные семьи. Одна за другой женщины умирали. Первой умерла Фрейволд. Пошла к проруби за водой, упала и уже не поднялась. С нами осталась ее восьмилетняя дочь. Затем умерла другая женщина, оставив троих детей. Моя мама была самая молодая среди остальных мам, ей было только 32 года. Она хотела спасти меня и мою сестренку, а тут у нее на руках оказалось четверо сирот. И мама начала воровать. Она делала это преднамеренно, хотела попасть в лагерь, чтобы получать там паек (нам хлеба не давали), и надеялась, что нас и оставшихся с нами сирот возьмут в детский дом. Сначала мама заманивала к нам деревенских собак, которых мы съедали. Съели мы собаку, принадлежащую коменданту. Как он, угрожая наганом, кричал на маму.¹

Весной четверых сирот увезли в Средне-Васюганский детдом, а мы уже жили в дегтекурне, где, кроме нас, помещались еще две

латышские семьи. Отсюда маму и отправили в концлагерь, она добилась того, что задумала. Но нас с сестренкой сразу не увезли в детдом, мы ходили по избам и побирались. Так прошло недели две, и вот однажды паузок, на котором увезли от нас маму, опять причалил к берегу, и нам удалось с ним еще раз увидеться... Оказалось, что этот паузок сначала отбуксировали в верховье Васюгана, чтобы собрать там по деревням всех арестованных, и теперь речной катер тянул его на буксире уже к Оби, откуда арестантов должны были этапировать дальше в концлагерь. За это время мама накопила нам кусочков хлеба и даже бутылочку молока, которую кто-то из осужденных отдал ей. Отрывая от себя, мама спасала нас...

А через какое-то время меня и сестренку увезли на пароходе в детский дом. Сердобольные женщины, видя, какие мы истощенные, кормили нас по дороге. В каком-то поле нас высадили с парохода и там в комендатуре отобрали альбом с семейными фотографиями, которые мы, несмотря на все, сберегли. Как жестоко это было! Мы плакали, это было последнее, что оставалось в памяти о прошлой жизни...»

Из воспоминаний Пеэпа Варью, сослан из Эстонии в 1941 г.

«...Очень ясно помню, как на железнодорожной станции солдаты увели от нас отца. Почему-то все эстонские дети, попавшие потом в детдома, забыв многое из того, что было до этого в детстве, навсегда запомнили, как уводили их отцов, которых им не суждено было больше увидеть.

Сохранилась в моей памяти шеренга солдат с винтовками, оцепившая товарные вагоны, в которые нас погружали. Сам долгий путь по железной дороге в Сибирь забылся, но помню, как затем нас везли на барже по огромной реке. Помню, как подчалились к какой-то пристани и длинная вереница ссыльных женщин города давала по цепочке из рук в руки на баржу буханки хлеба.

Помню ливень, когда после долгого пути нас высадили в Айполово на берегу Васюгана. Проливной дождь, измученные, промокшие до нитки люди, узлы и чемоданы на раскисшей от дождя глине... Последнее видение, когда все еще были живы, — мама и нас четверо, малолетних ребятишек.



Пеэпа Варью, сослан из Эстонии в 1941 г.



1944-45 г.г. с.Тогур, детский дом, фото Пеэпа Варью.

Следующее воспоминание — клуб в Айполово, где тесно от расположившихся на полу женщин с детьми. Уже нет нашего маленького двухлетнего брата Пеара, он умер и зарыт в глинистой земле за поселком. Длинные дни, короткие северные ночи, плачут маленькие дети, гудят налетевшие с улицы комары... Дальше в памяти провал. ..

Помню уже поселок со странным названием Медвежий Чвор, куда нас привезли на поселение, и постоянное чувство голода. Мама уходила выменивать на продукты немногие привезенные из дома вещи, а мы тоскливо ждали ее в остывшей избе. Но скоро менять стало нечего, один за другим

стали уходить из жизни те, кто меня окружал. Сначала умер от голода мой брат Энн, затем мама. В последний вечер, когда она еще была с нами, к ней пришли такие же, как она, обессиленные от голода эстонки. Не знаю, о чем она разговаривала с ними, никогда не узнаю, что думала в свои последние часы, оставляя трех сирот...

А через какое-то время умерла моя сестра Элль. Это было утром, мы спали все рядом на полу, она пыталась встать, но не могла, приподнялась через силу, глубоко вздохнула и скончалась. Последним умер родившийся уже в Сибири мой крохотный братик. Много лет спустя я узнал, что еще в декабре сорок первого в концлагере на Урале погиб наш отец. Так меньше чем за год из нашей семьи остался в живых только я.

Весной меня увезли в Тогурский детский дом. Там я надолго заболел и только осенью стал понимать, что происходит вокруг. В детдоме были еще и другие осиротевшие ребятишки из Эстонии, с которыми я мог общаться на родном языке. Но однажды я обнаружил, что забыл свой язык. Много позже узнал, что нам запрещали разговаривать между собой по-эстонски...»

Из воспоминаний Ауне Круземент, сослана из Эстонии в 1941 г.

«...Мне было два года и семь месяцев, когда меня с матерью и шестилетней сестрой отправили в Сибирь. Помню избу, где мы вначале обитались на квартире. большую печку, которую надо было топить, но все равно было холодно. У сестры там было свое отдельное место, где она спала, а мы с мамой слали вместе. Моя сестра там долго, долго болела, и мне запретили к ней подходить. Потом жили где-то в другом

месте, там было уже намного хуже и голодней.

Еще помню, как обитались в каком-то сарае около большой дороги и ждали маму, которая ходила просить разрешения переехать в другой поселок. Это было весной, рядом было какое-то поле, и мы с сестрой ходили по нему искать прошлогоднюю картошку.

В поселке, куда перебрались, когда маме дали на это разрешение. поселились у молодой местной женщины, которая жила одна и ждала ребенка Муж ее был на фронте Мама ходила на работу, а в уплату за проживание должна была помогать хозяйке. Когда родился ребенок, мне разрешили качать колыбель. Но вскоре приходившая к хозяйке ее теща заметила, что наша мама становится все слабей и не справляется со всеми работами Она заставила ее пойти в медпункт к фельдшеру. Мама вернулась подавленной,..

Хорошо помню тот день Мне было уже пять лет, и я самостоятельно бродила по деревне, ища контакта с детьми Но местные дети меня не признавали своей и называли фашистом. От голода я выпила молоко из бутылочки, которую оставил кто-то из местных ребятишек. Меня окружила враждебная ватага... Старшая сестра спасла меня от них, плачущую увела домой и рассказала о болезни матери. Сказала, что нам придется покинуть эту квартиру.

На следующий день со своими сумками мы ушли из этой деревни. Сестра была грустной, она опять не смогла закончить свой класс в школе... В пути мы часто отдыхали. Я думала, что останавливаемся из-за меня, и хотела идти быстрее, но сестра, умница, хотя и была еще ребенком, дала мне понять, что мама смертельно больна и не может быстро идти.

Последнее место, где мы жили с мамой. — какой-то сарай у большого дома. Вместо кровати была широкая дверь, на которой мы слали втроем. Там рядом с нами мама и умерла. Сейчас знаю, что это было летом 1944 года.

Такие же, как мы, высланные эстонцы похоронили маму. До кладбища было далеко и нас туда не взяли. В день похорон одна русская женщина дала нам кусок хлеба и огурец. Это запомнилось мне на всю жизнь. Вскоре нас отправили в детский дом. Помню — покидая деревню, мы беспокоились, что станет с капустой, которую посадили еще вместо с мамой.

В детдоме сестра находилась в старшей группе и ходила в школу. Я была в группе дошкольников, и сестра иногда приходила меня

навещать. Сейчас я знаю, что она тогда уже болела и сил у нее было мало. Как-то раз, собирая в лесу ягоды, она отстала от других детдомовцев и осталась в лесу. Поздно вечером ее нашли там спящей. Зимы были очень холодные, нас, дошкольников не выпускали на улицу — не было теплой одежды и обуви. Все пять лет, которые я провела в Сибири, зимой мне не удавалось выходить. Сестра моя переписывалась с тетями, которые оставались в Эстонии. Когда она приходила ко мне, то всегда говорила, что мы вернемся домой, и мы обе ждали этого дня.

Наконец осенью 1946 года нас привезли на пароходе в город, где были деревянные тротуары, а потом по железной дороге повезли в родную сторону. В вагоне было много эстонских детей и наша тетья, которая приехала в Томск за нами. В пути она много рассказывала о нашем родном доме, и мы все сильнее хотели туда.

Особенно стремилась домой сестра, которая хорошо помнила все. По прибытии в Таллин нас помыли в бане. Затем вызвали врача, и он сразу отправил сестру в больницу. Я увидела ее только через месяц у нас дома в амбаре, где она лежала в гробу, и не могла отвести взгляд от ее маленькой, такой знакомой мне и дорогой руки. Хотела взять ее, хотя бы дотронуться до нее. Подошла, прикоснулась и поняла, что у меня нет больше сестренки. Через месяц мне исполнилось восемь лет...»

...В Колпашево с 15 ноября 1930 г. развернута окружная поликлиника на 8 специальных приемов, открыт зуботехнический кабинет, санитарно-гигиеническая лаборатория, пастеровский кабинет, закуплено полное оборудование рентгенотехники...

«Значительные результаты» здравоохранения могла ощутить лишь местная номенклатура. Помимо медицинской помощи на месте причисленные к «партактиву» имели еще возможность укреплять свое здоровье в санаториях и на курортах. Что же касается спецпереселенцев, то именно в те годы их смертность была громадной. Людей косили голод, сыпной и брюшной тиф, цинга, дизентерия, малярия... Братские могилы в спецпоселках копали «впрок» с осени, ибо обессилевшие люди не в состоянии были долбить зимой мерзлую землю...

ЦДНИ ТО. д 17. л. 203

Вадим Н. Макшеев

«Зачислен учеником в бухгалтерию Васюганского рыбозавода» — эта первая запись в моей трудовой книжке сделана 24 ноября 1942 года. Однако работать я начал раньше — в деревне Волкове, куда меня с мамой и пятилетней сестренкой привезли в ссылку из Эстонии в сорок первом. Там, в колхозе «Путь социализма», неумело пилил дрова, колол сосновые пни на смолье, выжигал древесный уголь. Жили мы на квартире, а когда умерли от голода мама и сестренка, оставшись без последней опоры в жизни, я стал обитать по баням, иногда ночевал в смолокурке. Потерянный среди обездоленных войной и придавленных собственным горем людей, осенью сорок второго наивно решил учиться в школе и ушел в райцентр — Новый Васюган. Вспомнилась сейчас дорога туда — хвойный лес и рдеющие осины по обочинам, соломенная крыша гумна у чвора, вдоль которого тянется тележная колея, запахи багульника, пихты, сопровождающий меня резкий крик кедровки. Самая тяжкая в моей жизни осень...

В Новом Васюгане меня приютила сердобольная бабка Потешиха, а через какое-то время пустила на квартиру школьная уборщица Степаниха. Тетя Нюра, как я стал звать ее потом, может, и не бы решилась, уговорила Потешиха.

«Прими. Аннушка, — парнишка смиренный, а у меня и так на фатере трое...» Хлебного пайка мне в райцентре не дали, ведавшая списками на хлеб чернявая тетка строго сказала, что я должен вернуться в колхоз. Но возвращаться было некуда и не к кому, я настырно продолжал учиться в восьмом классе, голодный, плохо запоминал, о чем говорили на уроках. Два раза в день хлебал в столовке пустой суп, иногда в школе ученики получали по сухому копченому чебаку, я отдал этого чебака Степанихе, и за это она оставляла мне на дне чугунка немного похлебки. Потом мне все же стали выдавать по четыреста граммов хлеба в день, но предупредили, что только на месяц, в декабре в Спискине включат — паек я должен зарабатывать в деревне, откуда пришел. Трудодней у меня и умершей мамы было немного, но и то, что по ним причиталось, я мог получить лишь в феврале. Денег за последние проданные вещи оставалось меньше ста рублей, а тридцатку надо было каждый месяц отдавать за квартиру Степанихе. Она меня жалела, но опасалась, как бы я не стал воровать у нее картошку, и запирала лаз в подпол висячим замочком. Спал я,

укрывшись маминым пальто, на голом полу возле остывающей к утру печки, иногда мне снилось что-то светлое, довоенное, иногда — сестренка, и я просыпался с мокрым от слез лицом.

Учение мое продлилось недолго. В школе начался медосмотр. Врач, еще не старая, но уже седая женщина, эвакуированная откуда-то с Черного моря, глянула на мое покрытое коростой тело и дала направление в больницу. Однако долго держать меня там не стали — недели через две после очередного обхода главный врач велел сварить для меня и еще такого же, как я, изможденного ссыльного мальчишки чугунок картошки в мундирах и выписать. Помню, как мы очищали ногтями мелкие вареные картофелины, как торопливо опорожнили чугунок...

А на другое утро в пропахшей хлоркой кладовке я отдал хмурой санитарке больничное белье и получил обратно свои выжаренные в вошебойке вещи — отцовский рабочий комбинезон, шапку и мамино осеннее пальто.

Рубахи у меня не имелось, а обувался я в солдатские ботинки, которые выменял на два последних платья умершей сестренки. Уже легла зима, улица была заснежена, отчужденно белели крыши домов, и все источало холод. Продрогший, я пришел к Степанихе и прислонился к истопленной печке...

По соседству со Степанихой квартировала эвакуированная из Ленинграда учительница. Увидев в посеченное морозом окошко, как я, возвращаясь из больницы, прошел, пряча в рукава озябшие руки, она наведальась к Степанихе и невесело поинтересовалась, как я думаю жить дальше. Я не знал...

В одной из своих повестей я рассказывал, как эта учительница помогла мне выжить, уговорив на следующий день директора рыбозавода взять меня учеником в бухгалтерию. Наверное, поручилась за меня. Хоть и несовершеннолетний, все равно я был изгоем, спецпереселенцем из «нового контингента», а таких в ту пору работать в конторы не брали. Работа в тепле под крышей была спасением. Мне стали давать паек...

Некоторых ребятишек спасал детский дом, мне минуло шестнадцать, в детдом меня бы уже не взяли, но, наверное, раньше можно было отвести туда сестренку. Я не отвел, надеялся, что вместе выживем. Пек на пережженной сковороде лепешки из жмыха и

надеялся... Сколько книг о сильных и смелых людях перечитал я в детстве, думал — буду сильным, храбрым, но оказался беспомощным и слабым, не смог отвести от смерти ни маму, ни сестренку...

В сельповском магазине с пустыми лавками я купил алюминиевую расческу и завалывшееся с довоенного времени круглое карманное зеркальце. Увидел в нем запавшие глаза, тонкую шею и с болью вспомнил отцовский взгляд, когда, обернувшись, он в последний раз посмотрел на меня. Бледный, пытаюсь ободряюще улыбнуться, с такой тоской в глазах... Как я скажу ему, что мама и Светлана умерли? Я боялся думать, что отца тоже нет, что я остался один. Один из всей нашей семьи...

Пишу, стараясь передать свое ощущение того времени. Кажется, все было совсем недавно, но как долго длилось... Сровнялись с землей могильные холмики возле исчезнувших спецпоселков по берегам таежного Васюгана, не стало поселений, заросли поля и погосты...

И кладбище на окраине Нового Васюгана, когда-то именовавшегося Могильным Яром, где похоронены тысячи умерших в 1930-х и 1940-х годах спецпереселенцев, занято постройками и огородами. Уцелел лишь небольшой поросший сосняком островок земли...

В 1989 году, приехавшие сюда из Эстонии два бывших выпускника детского дома Уно Уйлк и Кальё Тулик, матери и брата которых зарыты навасюганской земле, поставили здесь деревянный крест с табличкой: «Memento!» - «Помни!». А в 1996 году по инициативе бывших ссыльных на этом скорбном месте установлен небольшой памятник — единственный всем погибшим на Васюгане...



ИСТОКИ

Валентина Михайловна Зарубина, с. Каргасок, 2009 г.

Память активна. Она не оставляет человека равнодушным, бездеятельным. Она владеет умом и сердцем человека. Память противостоит уничтожающей силе времени...

Д. С. Лихачёв

С детских лет меня манила история загадочной «родины» моих бабушки Марфы Фёдоровны Лукиной (Дорофеевой) и дедушки Якова Васильевича Лукина, проживавших в посёлке Мыльджино. Спустя годы узнала, что их «родина» - Алтай. В 1990 г. в архиве Каргасокского РОВД, где я была с моими учениками Староюгинской средней школы, случилось подержать в руках документ, из которого я узнала, что мои родные были раскулачены и высланы в Каргасокский район вместе с детьми: дочерью Александрой (10 лет) и сыном Михаилом (3,5 года).

Лукин Михаил Яковлевич, мой папа, ребёнок-«кулак», заслуживший наказание высылкой и прошедший весь ад Сиблага с сотнями земляков. Детские воспоминания папы об этом периоде переносят меня то в Сосновку, в 1937 год, где он с мальчишками, крадучись, с берега наблюдает, как к деревне подходит катер, который в народе называли «чёрный ворон». Боятся попасться на глаза, точно знают, что после ухода «чёрного ворона» мужиков в деревне станет меньше. То в Средневасюганскую школу, где он учился во время войны. Там вездесущие мальчишки обнаружили еврейское захоронение. То в Мыльджино, где переселенцы-подростки чуть было не спровоцировали межнациональный конфликт, разорив культовое место хантов.

Маленькая, пожелтевшая от времени бумажка перевернула мою душу. Пережитое потрясение требовало выхода, как учитель, поняла: надо фиксировать воспоминания тех, кто мог ещё рассказать о том, как это было. Я благодарна моим ученикам единомышленникам из Староюгинской школы: **Шашель Евгению, Валдаевой Татьяне, Трубчанину Николаю, Тарасовой Ольге, Сулейманову Алику, Типсиной Наталье, Тарасенко Ирине,**

Грабовской Анне, Емельяновой Наташе, Терре Оксане, Бакину Виктору, Лобастовой Татьяне, Конышевой Ирине, Клепиковой Виктории, Самойловой Ирине, Тюриной Елене и другим неравнодушным помощникам доброго дела.

14 февраля 1990 г. Староюгино. Школа. Встреча с писателем-земляком В. Н.Макшеевым, который поделился своей болью о Васюганье, о беспамятстве, высказал мысль, что надо хотя бы обозначить спецпереселенческие посёлки поминальными крестами. Выпускники - 2002 Староюгинской школы на старом кладбище поставили деревянный крест, вскоре он был сожжён. В 2006 г. во время экспедиции «Прощение и память» вновь был установлен поминальный железный крест, освящённый о.Феодором (Каргасок). Тема репрессий возникала и в рассказах мамы, Лукиной (Новосельцевой) Клавдии Никитичны. Особенно хорошо запомнился рассказ о том, как однажды её отец, Новосельцев Никита Николаевич, вернувшись с рыбалки, привёл домой женщину с мальчиком.

Это было в 1940 году, в с. Новосельцево Парабельского района. Вот как она об этом вспоминает: «Проверив сети, папа причалил к берегу, где увидел, как женщина руками копала землю. Рядом лежал её мёртвый сын, второй был едва жив. Предав земле тело мальчика, погибшего от голода отец с дочерью (В. М. Зарубиной) привёл Клементьевну, так звали эту женщину, и её сына к нам. Какое-то время они жили у нас, позже я встретила с ними в Томске. Узнав, чья я дочь, она опустилась передо мной на колени. Это был знак благодарности за их спасённые жизни моим родителям: Новосельцевым Никите Николаевичу и Клавдии Феоктистовне... Новосельцевы из русских старожилов, их не ссылали, они приехали и поселились на парабельской земле добровольно, но и их коснулись репрессии. Так, отец Никиты Николаевича, дедушка Николай, был расстрелян в Колпашеве...

Двоюродная сестра Тамара Петровна Петраченко (Назаренко) вспоминает эпизод из детства: «... немцев из Германии, после войны к нам, в Мыльджино, ссылали. Это были: Э. А. Бриш, Меркуль, Сакс, Келлер. Около 10 семей. Мы, ребяташки, дружили все вместе, независимо от национальности.

РФ
Администрация Алтайского края
**КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ
АРХИВОВ**
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656049, г. Барнаул, ул. Анатолия, 72
т. 24-68-22

05.X.95 Л-269

заявление от 17.09.95 г
На №.....

630705 Томская область
Катановский район,
п. Степачино
Зябухиной В.М.

Архивная справка

По документам исполнительного комитета Косихинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов установлено, что житель с. Верх-Бобровка Лукин Яков Васильевич за эксплуатацию наёмного труда был лишен избирательных прав (карточка лишения избирательных прав Лукина Я.В., от 4 марта 1930 г.), признан кулаком (выписка из протокола заседания группы бедноты при Верх-Бобровском сельсовете, от 22 июля 1930 г) и выселен с семьей (список выселенных из села Верх-Бобровка кулацких хозяйств за 1931 г).

В хозяйстве имелись: молочная 1, лошади 3 г, молодяк крупнорогатого скота 3 г, овцы 6 г; посева 10,79 дес., покоса 0,50 дес. (карточка облегования хозяйства Лукина Я.В. за 1929-1930 гг).

Хозяйство раскулачено (анкета учета кулачества на Лукина Я.В. от 23 июля 1931 г).

Состав семьи: Лукин Я.В. (возраст не указан), жена Марфа Федоровна 26 л, дочь Александра 8 л, сын Василий 5 л, сын Михаил 3 г, сын Иван 4 месяца (карточка облегования хозяйства Лукина Я.В. за 1929-1930 гг).

Сведения о другом имуществе и опись имущества отсутствуют.

Основание: Фр.603, оп.2, д.342, лл.2,5,6, оп.5, д.13, лл.2,63.

Директор госархива

Зав.отделом

Данилова
4.10.95 г



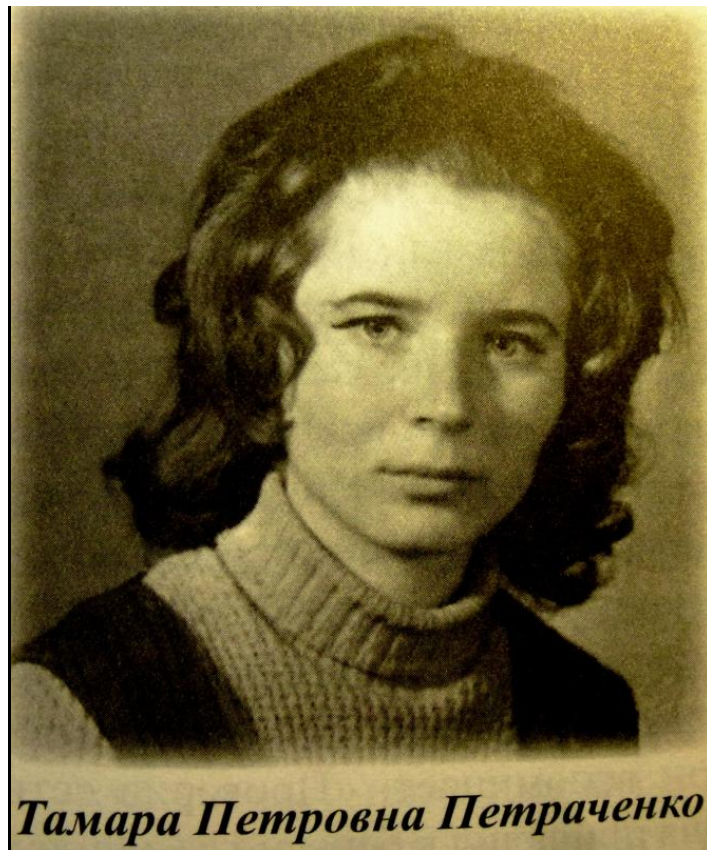
Н.И. Данилова

Е.С. Плехина

Архивная справка о раскулачивании семьи Лукиных...



Марфа Фёдоровна (1905 г.р.) и Яков Васильевич (1902 г.р.) Лукины.



Тамара Петровна Петраченко



Клавдия Никитична Лукина с дочерью (В.М. Зарубиной).



Поминальный крест Новоюгино

Бриш Эльвира Адольфовна собирала детей на рождественские вечера, на ряжала ёлку, устраивала чаепитие. Ёлка у неё всегда была наряжена красивыми игрушками. Ей перед Рождеством приходили посылки с игрушками и конфетами. У неё была огромная коллекция пластинок, и иногда нам позволяли послушать музыку. Это были прекрасные произведения Баха, Бетховена. Бывали моменты, что мы слушали эту музыку тайком, когда Эльвиры Адольфовны не было дома. Наша подруга, которую она «подтягивала» по немецкому языку, приглашала нас, и мы крутили патефон и наслаждались мелодиями. И ещё я помню ссыльного Давидовича, он прекрасно играл на скрипке, бабушка меня иногда брала в клуб, и когда он играл, в зале стояла тишина....»

Эти и другие эпизоды сформировали мой интерес к теме периода репрессий, который потом стал профессиональным.

Ярким моментом в моей жизни можно считать участие в работе гуманитарной экспедиции «Прощение и память» в 2006-2008 годах. Знакомясь с историями многих семей невольных поселенцев Васюганья, я не могла не обратиться и к своей родословной. В ноябре 2008 года вместе с младшим братом Славой и племянником Виталиком мы побывали в Верхбобровке, на родине бабушки и дедушки по папе. Там мы познакомились с прекрасным человеком, сельским библиотекарем Галиной Николаевной Измалковой.

Она мне много рассказала при встрече, а также написала в письмах позже. Мы узнали, что Лукины «ходаками» пришли из России, из Курской губернии на Алтай. Это были три брата: Тихон, Василий, Иван. Поселились в Верхбобровке, став одними из её первых жителей. Укоренились, построились, у прадеда Василя был добротный дом, позже в нём обосновалась школа. Приблизительно в это же время появились там Дорофеевы, родственники по бабушкиной линии. Разрослись на благодатной алтайской земле семьи Лукиных и Дорофеевых, но трагические события российской истории «прокатились» тяжёлым катком по ним.

Первая мировая война, коллективизация и раскулачивание, Великая Отечественная война разбросали по всей стране: Нарымский край, Беломорканал, Украина, Курская, Калининская и Ленинградская области и, конечно же, Алтай. В Верхбобровке только на стелах с именами участников Великой Отечественной войны четверо Дорофеевых и пятеро Лукиных. Очень большая родня. Галина

Николаевна с большой теплотой рассказала о наших незнакомых нам родственниках, о том, что трудолюбие остаётся главной чертой, несмотря ни на какие испытания, она передаётся генетически, в какой бы сфере они теперь ни трудились. Уже по тому, как быстро собралась родословная информация, могу сделать вывод: «Иваны, не помнящие родства» - это не о нас. **Что даёт мне это знание? Духовную силу, осознание ответственности и понимание смысла жизни и хода истории, уважение к предкам, к стране, к миру и, самое главное, обретение себя.**

Жизнь во время войны.

Лукина Клавдия Никитична (урожд.Новосельцева) 2012 г.

Мне было 10 лет и 3 месяца, когда началась война. В 1940 году наша семья переехала из Парабельского района с. Новосельцева в Александровский район пос. Зимнее-Киевский, что в 9 километрах от с. Новоникольское. Вначале мы жили на квартире у маминой сестры, но отец на скорую руку в конце посёлка построил небольшую хату и мы к началу зимы перешли жить в неё. Началась война, посёлок наш был затоплен водой, в 1941 году на реке Оби было сильное наводнение.

В первые дни войны отца взяли на фронт, несмотря, на то, что он был очень болен. Доехал он до Новосибирска и по состоянию здоровья его сняли с поезда. Там он был определён на временное лечение, болезнь была запущена, на фронт его не взяли, он вернулся домой. Когда он вернулся, то наш посёлок, был ещё затоплен. Мама работала дояркой в колхозе, который назывался «Дзержинский».

Однажды утром рано маму забрали на утреннюю дойку коров. Когда мама вернулась, отца дома не оказалось. Предположение было одно – садясь в обласок, перевернулся и утонул. Сразу же председатель отправил людей, чтобы поставили завесы, которые бы задержали тело на третий день, когда оно всплывет, и чтобы не вынесло стрежью в Обь. Дежурили днём и ночью, но не обнаружилось тело нашего отца, течение воды было сильное, видимо всплыло где-то в другом месте, где не было завесы.

Мы с сестрой Юлей, которая на два года старше меня были в то время отправлены в посёлок Чкалово, на большую гору, где

разрабатывалась пашня для посева ржи, пшеницы, там также сажали турнепс. Гора эта была очень высокая. Когда получили там известие, что отец наш утонул, нас отправили домой. Повёз нас дедушка Ефим, который был полеводом. Под горой вода была ещё в полном разливе, и очень сильный был ветер, на горе этого не ощущалось. Дедушка сестру посадил так, чтобы гребла веслом, а меня в нос усадил и дал черпак, если будет вода заливать, чтобы я отчерпывала. Поехали пока от берега ещё можно было ехать, но как проехали подальше вода почти каждой волной захлёстывала наш обласок. Дедушка только просил меня, чтобы я быстро отчерпывала воду. Но где там, я один черпак вылью, а два захлестнёт в обласок. Я заплакала, видя погибель, и стала просить его вернуться. Он сказал, что сейчас повернуть нельзя, можем потонуть.

Недалеко от берега по левую сторону был затоплен мелкач, видны были только верхушки. Я со слезами просила дедушку подъехать к этим верхушкам. Он сказал, что они не удержат нас. Но ветер был такой сильный и вскоре нас прибил к этим верхушкам. Мы с сестрой полезли на эти верхушки, но ветер с такой силой их из стороны в сторону кидал, что у нас уже не было сил держаться. Я не вытерпела и стала сильно плакать и жаловаться Богу, что отец утонул, сейчас мы две сестры погибнем, а как мама переживёт всё это.

И вскоре как-то совсем неожиданно ветер стал затихать. Дедушка говорит: «Девчонки, помаленьку, по одной спускайтесь в обласок, пока ветер немного стих, может, успеем ливу переехать. Сели в обласок, ветер стих, мы благополучно подъехали к берегу. Дальнейшего пути не помню. Дедушка видимо знал дорогу дальше и привёз нас домой. Отца так и не нашли. Для нас колхоз нашёл другую работу, сестру отправили на рыбалку, ловить рыбу для фронта, а меня и моих младших братьев (Кеша, Коля и Миша) драть дуб. корьё для военного завода в Новосибирске. Дуб.корьё шло для окраски и дубления оружейных прикладов. Моего возраста было человек 3-5, остальные все были меньше нас. Нас как сильных всегда садили в гребни, когда мы переезжали Обь, потом младшие гребли. Хорошо было, по течению, загруженные пучками дуб.корья обратно с трудом против течения двигали лодку с верхом нагруженную. Потом уже когда вода стала убывать, появились берега, мы этот неводник бечевой таскали. Вода спала, стали образовываться закосы, на берегах появлялся песок.

Закося переезжали на гребнях, где можно опять бечевой двигались. Пока закося объезжали, босоногие выбегали на песок и грели свои ноги горячим песком и снова в воду, опять тащили бечевой неводник.

После этого нас, школьников, их соседних хуторов, в которых жили остяки и из Новоникольска и ещё каких-то ссыльных выше Новоникольска увозили в ту же сторону, только на другую гору, более заросшую. На горе было очень много колбы – черемши, взрослые завезли бочки, соль, толкушки, корыта. Мы, с сопровождающим нас дедушкой по фамилии Уфимцев ходили на гору рвать черемшу. Взрослые люди резали её и в бочках толкли и солили. На ночь нам были, где ямки выкопаны, где балаган сделан. Над ямками крыши из прутьев наделаны, чтобы дождь не мочил. Утром опять нас дедушка вёл в тайгу, работали, старались. Висела доска, где мелом писалась фамилия каждого и кто, сколько принёс колбы. Был случай со мной, я несколько дней занимала первое место, и вдруг совсем неожиданно первое место заняла Юля (фамилию не помню) из Новоникольска она была. Я решила не сдаваться, на следующий день более старательно работала, колбы было меньше, но рвать можно было. Я изо всех сил старалась и не заметила, как все отошли. Пока слышны были голоса, я спокойно рвала, потом все отдалились, потом слышу, кричат, а я всё стараюсь больше нарвать.

Когда коленкой набила мешок, еле подняла, давай кричать. Когда мне кричали, я молчала, когда я стала кричать, мне уже не отзывались. Я и на дерево залазила, чтобы определить куда идти. Взяла мешок на плечо со слезами реву-кричу, ответа нет. Но как-то правильно держалась и подошла к краю горы, стало на душе легче, думаю, спущусь, выйду к реке, там определюсь. Стан наш был на берегу, пока спускалась. Слышу голоса, навстречу поднимаются с шумом и криком, я тоже стала кричать. Нашли меня с моим мешком. Дедушка сказал: «Вот видишь, сколько набрала, запишут тебя на красную доску, может, а мы тебя искали!» До меня дошло неправильный мой поступок. Пришли на стан, на засолке и упаковке колбы работала моя тётя Фрося из Новоникольска, обрадовалась, плачет и говорит: «Юле дедушка помогал, потому и у неё больше оказалось. Мы все знаем, что ты старательная, хорошо работала, но нельзя так делать». Позже дедушка опять повёл на гору, а меня оставил резать колбу, помогать старшим. А вечером мне сделали напутствие всем коллективом и в вину мне

поставили, что из-за меня две бочки колбы не додали фронту. Этот укор я на всю жизнь запомнила! Больше за первенством не гналась, но работать старалась на совесть.

Когда заканчивался сезон колбы, нас увозили на полевые работы, дёргали коноплю, косили сено, копали картошку, дёргали турнепс и т.д. В школу нас привозили к 7 ноября, родители смазывали нам голову керосином и с платочком на голове шли в школу днём, вечером трепали шерсть, пряли, вязали с двумя напальчниками рукавицы и носки. Сельский совет собирал и посылки отправлял на фронт.

Ещё помню случай, когда мы ехали домой нагруженные дуб.корьём. подружка Рая Трифонова, моя ровесница рассказывала мне, что они получили письмо от Бога, где были даны святые буквы. Пишут, если эти буквы напишите на нож или на ружьё, то ножом не зарежете, ружьём не прострелить тот предмет, который захотите уничтожить. Ну, мы и решили проверить. Подъехав к берегу, разгрузили неводник, пересчитали пучки, отметили тех, кто выполнил норму, а кто нет, и пошли по домам. Не успела я поесть подружка бежит с письмом, прочитали вместе и решили проверить. У соседского мальчика, хромого Арсентия было ружьё. У него была сильно больная мать, она глазами глядела, а говорить не могла. Мы зашли к ним, Арсентий спал в передней части избы, на стене висело ружьё. Разбудили Арсентия, второпях ему толмачим, показывая на ружьё. Он спросонья ничего понять не может, но одно понял, что нужно ружьё. Снял ружьё, и мы стали выходить, мать Арсентия взглядом нас как бы предупреждала, заметила видно, что мы недоброе дело затеяли, но остановить не могла. Впопыхах мы Арсентию объяснили, в чём дело и вдруг бежит собака. Арсеня схватил её и стал написанное привязывать к ней, я запротестовала, потому что это была собака нашей учительницы, Ольги Филипповны. Если убьем её собаку, нам мало не покажется, порешили, будем стрелять в письмо.

Недалеко, над ручьём рос черёмуховый куст, прикрепили к нему письмо, а Арсеня в Божественное письмо стрелять испугался. А мы ему говорим : «А, как мы сможем проверить, если не стрелять Божественное оно или нет?» Я никогда не держала ружьё в руках, взяла у него, он мне рассказал, что да как, взвёл курок. Я прицелилась и стрельнула в него, клочья бумаги полетели в разные стороны. За

ручьём пасся крупный рогатый скот, молодняк. После выстрела они хвосты подняли и побежали, кто, куда и почти в это же время раздался женский крик: «Ой, ой, кто это?» Арсенька схватил ружье, и убежать, мы за ним. Убежали в лес, благо он рядом был. Когда стемнело, Рая побежала домой и я тоже, но в избу заходить не стала, залезла на крышу. Слышу к нам люди пришли, мама плачет. Утром мама рано уходила на дойку, прибежала Рая. Обговорили мы с ней и решили, что не поедем за дуб.корьём на лодке, а пойдём по этому берегу до заимки, там содержался мелко-рогатый скот и лошади. Нашли место где растёт это дуб. корьё и очень старательно работали весь день. Домой пришли поздно, в посёлке паника. Подстрелили мы, вернее я оказывается т.Шуру, папину двоюродную сестру, узнали, что увезли её в Новоникольск, в больницу. Дело худо, ещё больше напугались и решили, уйдём дальше.

Утром рано мама на дойку ушла, а мы с подружкой решили, пойдём на культстан. (Мы знали это место, знали, что там амбар есть и избушка, там мы тоже работали). Пришли, смотрим амбар, который обычно изнутри приперался жердью, но на этот раз был открытый и пустой. Картошка хранилась в ямах. В избушке ночевать побоялись, решили, будем спать в амбаре, потому что можно изнутри закрыться, а в избушке не было ни замка, ни крючка. Погода стояла очень хорошая, солнце весеннее было ласково к нам. Расположились на житьё, осмотрели поле, решили пора картошку сажать. Раскрыли яму, одно из нескольких и давай вытаскивать картошку на пророст. Спички у нас были, развели костёр, напекли картошки, наелись. Обговорили, что картошку пора сажать, а в колхозе совсем этим заниматься некому. Решили, что это сделаем мы, обошли пашню, осмотрели, определили где были посеяны озимые и что ближний участок оставлен под картошку и турнепс. Навытаскивали картошки много, пусть греется, потом быстрее взойдёт. Работали с большим энтузиазмом (как-то надо было заглаживать свою вину). Земелька была мягкая, рассыпчатая. Работали охотно, быстро, воодушевлёно, утром рано вставали. Спали в амбаре, дверь приперали жердью. Утром разжигали костёр, набрасывали картошек на печёнки. Пока картошка пеклась, быстренько из ямы доставали картошку на семена. Одна в яме набирает, другая вверху доставали, верёвка была с крючком специально для этой работы.



Клавдия Феоктистовна Новосельцева 1899г.р. - ф.1957г.



Клавдия (1946г.-дочь Никиты Новосельцева) Лукина, 18.03.1930 – 27.11.2013г.г.

**„ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 — 1945 гг.“**

АФ № 638547

УДОСТОВЕРЕНИЕ

**За ДОБЛЕСТНЫЙ И САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

Лукина

Клавдия

Никитична


УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР от 6 июня 1945 года
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ

**„ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941 — 1945 гг.“**

От имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР МЕДАЛЬ ВРУЧЕНА

28 марта 1994.

М. П. * (должность и подпись лица,
вручившего медаль)


**ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
государственное учреждение

**УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(государственное учреждение)
В ДИНСКОМ РАЙОНЕ

Ленина ул., 24, ст. Динская, 353200,
телефон (86162)-6-26-53, факс (86162)-6-50-09
ОГРН 1022303617280
ИНН 2330028167 /КПП 233001001
№ 08- 12638 от 15.12.2009
на № _____ от _____

Основание выдачи справки: учетные данные УПФР(ГУ), л/с 028863

Начальник Управления



СПРАВКА

Дана гр. Лукиной Клав-
дии Никитичне
18.03.1930 года рождения
в том, что он(а) состоит на учете в
отделе по назначению, перерасчету и
выплате пенсий, является
получателем пенсии по:
старости РКС
Работал (а) в годы ВОВ
с 01.07.1943
по 01.07.1945
работала в колхозе
им. Дзержинского
д. Зинко-Киевск с/побта

Т.С. Николаева

Награда Лукиной К.Н. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

А в деревне была сильная паника, пропали девчонки. Председатель сначала разгневался сильно на нас, потом видит, что потеряли серьёзно уже время, две недели. Нас нигде нет, а где искать не знают. И вот в один счастливый день колхозный полевод поехал на заимку посмотреть, сохранилась ли картошка на посадку. Ехал верхом на лошади, с которой очень хорошо просматривалась заимка. Видит сильный дым, думает: «Если пыль, то от чего, погода – то ясная». Проехал ещё и видит, бегают люди, как будто работают. Подъезжает поближе и видит, две девчонки на поле работают, и не просто как-нибудь, а бегом! Когда подъехал к избушке узнал нас и очень обрадовался, что нас нашёл и что мы такой большой участок работы выполнили, кстати, и во время. Посадил обоих на лошадь сзади себя и повёз домой. Встретили нас с радостью, особенно, после того как дедушка сказал моей маме, она от горя вся почернела. Когда приехали, нас никто не ругал, и даже не упрекали. У моей родной мамочки была такая радость, какой я никогда не видела. Дали нам на помощь ещё людей, были это подростки и несколько человек взрослых досадили картошку и турнепс и опять взяли на заготовку дуб.корья для дубления прикладов на Новосибирск, военный завод.

И так всю войну работали, на нас подростках, 11-12-летних лежала ответственность за все колхозные дела. Работали и 7 летние и 8, 9, 10-летние. Зимой у кого возможность учиться в 5, 6 классах родители их как-то определяли в Новоникольск. В нашей деревне было только 4-классное обучение. В нашей семье такой возможности не было. Наша хата в начале войны бала затоплена до подоконников, пол выворотило, отец утонул. В 1941 -1942 году зиму мы жили, т.е зимовали в яме. Мама выкопала яму на подручье, закидала её кругом землёй, а мы таскали прутья, ветки, жерди, которые рубили в лесу. Железную печку даже не знаю, где мама взяла. Три брата Кеша, Коля и Миша были младше меня. В 1942 году приехала мамина сестра тётя Фуза, взяла брата колю к себе, увезла его на Камчатку. Я окончила 4 класса, очень хотелось учиться, но не было возможности ехать в другой посёлок. В 1943 году я сильно болела малярией, но только я, многих она перебрала. После 4 класса учиться в 5 классе, даже мечтать не было возможности.

Первые годы, когда мои ровесники в Новоникольске учились, я работала зимой в школе техничкой, вечером поздно и утром рано

топила печь в школе и мыла полы и парты. А когда приходила суббота у меня на окошках, в промёрзших стёклах были сделаны круглые ямки. Когда из Новоникольска ученики шли домой: кто на лыжах, кто пешком я в это отверстия смотрела на них с тоской, больше с обидой, что у меня нет такой возможности. А как хотелось учиться в старших классах! Но, так как учиться было не на что, то меня сделали основной колхозницей. На скотном дворе маме помогала, у неё кроме основной группы коров ещё был и родильный телятник, т.е роды принимала. Я уже и коров помогала ей доить, когда её день работала на молоканке: сепаратор мыла, пол и всё время мечтала о школе, об учёбе в 5 классе. В результате сделали главным работником во всех нуждах колхозных, идти туда куда не могут другие и она везде меня с собой водила, даже на те Чкаловские поля, где мы на раскорчёвке работали, потом там уже стали вырастать рожь и пшеница.

В 1945 году, осенью мне очень хотелось в Новоникольск, в школу, а маму отправили жать хлеб и меня с ней. Мои ровесники поехали в школу, а я с мамой отправилась на жатву. Я так хотела учиться, в младших классах была хорошисткой. Много «5» не было, но и «3» не было. Приехали мы с мамой и ещё несколько человек жать рожь. Нас по договорённости разместили в посёлке Чкалово по квартирам, не помню, чтобы нас кто-то на жатву возил, значит пешком ходили, помню только, что мне в этот раз повезло. Мы приехали, начались дожди, а хлеба жать в платье не годиться. Я видимо заметно переживала и наверное ныла, что мама согласилась, я её убедила, что мне много не надо, главное где спать, и еще может смогу у кого нянкой устроиться. Также убедила тем, что там живут Патраковы (были сосланы из Кемеровской области), которые жили две зимы в нашем доме. Дом или с помощью колхоза или их отец подремонтировал, пол перестелил. Позже каким-то образом им удалось переехать в Новоникольск, где купили небольшой домик.

Я решила, что если они у нас всей семьёй жили, то уж мне одной найдут угол, топчан поставят. И мама согласилась, но как попасть домой, надо было, чтобы кто-нибудь перевёз через речку Паню. И тут зашли наши земляки, которые на жатву приехали, говорят, пойдёмте на кульстан, может дождь перестанет, может, пожнём. Мама им говорит про меня, что прошусь домой, чтобы ехать учиться. Они поддержали моё желание. Велела мама мне идти к речке, где воду

берут, может, кто перевезет на обласке. Обласки лежали на берегу. До обеда никто за водой не пришёл. После обеда мне грустно стало, если до поздна никто не перевезёт, будет поздно, и я до вечера не успею добраться до дома. Эти мысли меня подтолкнули, и я не стала больше никого ждать, сняла с себя верхнюю одежду в одной руке одежда, а другой гребу. Речка небольшая, но очень быстрая, но я всё - таки переплыла и бегом бежать, чтобы до вечера перейти ливу (лива это место постоянной мокроты), а дальше не помню дороги, но всё равно поздно вечером пришла домой. Что собирать, ничего нет, ни денег, ни одежды, ни обуви.

Помню, что было мыло, взяла три пачки, калоши большие, направила завязки, чтобы держались на ногах. Юбка или платьишка, какое может, и было, потому что не ощущала в этом крайность. Из продуктов ржаную крупу, сами рожь крупно мололи, картошки, колбочки масла нашла, сложила всё в небольшой самодельный ящик. Обласок наш был на берегу, утром рано поехала в Новоникольск, девять километров против течения. Перед Новоникольском благополучно переехала Обь это уже к закату дня. Вытащила обласок на берег, сундук под обласок подсунула, пошла Петраковых разыскивать. Нашла, рассказала о причине своего визита, что хочу чтобы они помогли мне насчёт жилья. А мать их, не помню, как её звать наотрез отказала, сказав, что они сами еле помещаются. Так рухнула моя надежда на этих людей, было поздно, но они даже не предложили переночевать у них. Пошла на берег Оби, к своему обласку, всю ночь проплакала, да ещё комары донимали.

Ночи с Сибири в эту пору ещё светлые, не боялась, но очень плакала от безысходности. Утром, слышу, коромысла скрипят, значит, кто-то за водой идёт, устроилась под обласком так чтобы увидеть шедшего за водой, но чтоб меня не было видно. Гляжу, а это Татьяна, нашей учительницы дочь. Я выбралась из под обласка и к ней не вытерпела, заплакала, рассказала, что случилось. Она говорит : «Не уезжай, пойдём к маме». Ольга Филипповна увидев, меня с радостью приняла, и дочь её рассказала, что под обласком на комарах всю ночь сидела. Ольга Фёдоровна говорит «Не уезжай, будешь жить у меня, школа рядом. У меня огород и корова есть, будешь помогать мне и учиться будешь». Радость была великая. Думаю, зимой мама, что-нибудь пришлёт – муку, крупу какую. Но когда стала жить у неё, то всю

хоз. часть взяла на себя, корову доила, в стайке чистила, воду носила, за огородом ухаживала. Спала на кухне, на ящике, не на своём с которым приехала, Ольга Фёдоровна на моём сундуке, к нему табуретку подставляла, получалась койка. 5 и 6 классы закончила в Новоникольском, на лето уезжала к маминному брату Грише, они жили в Каргасокском районе.

Меня очень любили и научили многому, детей у них не было, оба работали в торговле. То чему я у них научилась, стало фундаментом моей последующей жизни. Тётя Капа учила готовить, у них тоже было хозяйство, я многое успевала. Сначала тётя стала учить меня считать на счётах. Потом учила торговать. На их учёте была хлебопекарня, тётя научила меня составлять фактуры и отпускать хлеб. Научила как выписывают акт переработки муки на хлеб, это всё стало потом делом моей жизни. Более 9 лет с половиной в сельском совете отработала, в торговле 13 лет, 5 лет с половиной в колхозе.

Дальше были тоже неприятности, но уже мужественно к ним относилась. Спасибо добрым людям, которые встречались на моём пути, а было их не мало. Вот так с помощью добрых людей прошла моя последующая жизнь. Слава Господу Богу, что давал силу духа и здоровье.

Рига и Нарым

Рута Эдуардовна Грашина.

Была репрессирована 14 июня 1941 года. Детство и юность прошли в Каргасокском районе. Всю жизнь проработала учителем в п. Пудино. В настоящее время на пенсии. (г. Рига)

14 июня 1941 года был страшным днём для жителей города Риги и для всей Латвии. Был тёплый летний вечер, мои родители искупали детей - 3-летнего сына Юру и меня, маленькую девятимесячную Руту. Дети легли спать, а мама стала готовиться к урокам. Она преподавала историю и русский язык в восьмой Рижской школе. Папа, Эдуард Грашиньш, перечитывал записанные в университете лекции. Он был студентом Рижского университета юридического факультета. Была тишина. Ничто не предвещало беду. И вдруг сильный стук в дверь. Вошли три вооружённых человека, которые сказали, что родители мои арестованы, и что им за два часа надо собраться, их вместе с детьми увозят. Куда? За что? Почему? На эти вопросы никто не отвечал.

Стали делать обыск, переписывать все вещи. Родители были в ужасном смятении. Что можно сделать, собрать за два часа? Кое-что сбросали. В основном это были детские вещи. Остальное всё осталось: пианино, посуда, мебель, одежда, книги - осталось всё и навсегда. Всех нас посадили на грузовую машину и увезли на железнодорожный вокзал. Затем сказали, что мужчины поедут сначала, устроят место жительства, после чего подъедут женщины, дети и старики. Но мама с папой, расстроенные, не ожидая такого поворота, перепутали вещи, папа взял чемодан с детскими вещами, а маме досталось всё то, что было положено для него, и два маленьких ребёнка. Мужчин на самом деле увезли совсем в другую сторону. Папу отправили в Кировский район на север Урала. В 1942 году в Вятлаге он умер.

Об этом я узнала только в 1989 году из «Литературной газеты» Латвийской республики. Написал статью врач, которого арестовали прямо у операционного стола, не разрешив даже сделать операцию. Он отбывал свой срок в том же лагере, где был мой отец. Врач, используя бумагу от папирос, тайно составлял список умерших заключённых (писал фамилию, год рождения, место, откуда был

увезён, диагноз и дату смерти). Этот список он вместе с воспоминаниями смог опубликовать только в 1989 году. В нём 409 человек. Среди них под номером 149 - мой папа.

Читать эту статью без слёз невозможно. Вот несколько выдержек: **«Наш эшелон отправился утром 15 июня. По пути хотели выбросить записку, чтобы другие знали, в каком направлении нас увозят. Но охраняли очень строго, охрана ходила даже по крышам. Вагоны были заперты. Вместо туалета в конце вагона находилась деревянная труба. Нас долго не кормили. Только в Смоленске принесли попить воду. А когда дали поесть, то мы не знали, во что положить еду. Подставляли кружки, баночки, черепушки и даже шапки. На станции надо было отдать все вещи: чемоданы, часы, кольца, ручки и т.д. После того как мы сложили вещи, нас построили по шесть человек, кругом была вооружённая охрана с собаками. Нас, восемь тысяч мужчин, разделили по сто человек. Пройти надо было 15 километров до распределительного лагеря Юхново. 24 июня через ворота, которые вели в баню, стали пропускать офицеров. Каждого раздевали догола, просматривали рот и даже задний проход (чтобы никто не пронёс какое-нибудь оружие). Офицеров увезли в Норильск. Часть расстреляли, часть работало на раскопках руды. 27 июня. То, что началась война, из заключённых никто не знал».**

Дедушку Пиегазе Карлиса увезли в Сибирское Усолье. До ссылки он работал в министерстве. Был главным контролёром Латвии. Добился всего честным, добросовестным трудом. Сначала закончил с отличием реальную школу в Великих Луках. Потом поступил в Рижский политехнический институт. После окончания ему предложили 3 места работы: Тверь, Пермская область или Сибирь - город Чита. Дедушка выбрал Читу. Проработал он там 12 лет, с 1908 по 1920 год. Вот выдержка из его автобиографии: «Эти 12 лет были годами очень продуктивной работы. Трудился по своей специальности: проектировал, строил мосты, дороги, различные здания - больницы, школы, курорты, казармы; проводил всякого рода испытания, был членом комиссии по решению различных вопросов и по приёмке работ. Всё шло хорошо и гладко, без всяких недоразумений.

Очень много путешествовал по широким просторам. Пересёк Забайкалье вдоль и поперёк на лошадях, на поезде, пароходе, пешком. Поэтому очень хорошо познакомился с Забайкальем, с его красивой и богатой природой, с его жителями и с их жизнью». В 1920 году он с

семьёй (двумя дочерьми, сыном и женой) вернулся на Родину в Латвию. За добросовестную работу в Министерстве главным контролёром получил два ордена. Один из них орден трёх звёзд. А 14 июня 1941 года его везут опять на Байкал, которому он отдал столько лет жизни, который так любил, для которого так много сделал. Но везут уже не на работу, а в ссылку, где от невыносимых условий, болезни и непосильного труда через год дедушка умер.

Моя мама была его старшей дочерью. В Чите она жила с двух лет. В Латвию приехала в 14-летнем возрасте. В эти годы она уже прочитала много книг великих писателей: А. Дюма, Драйзера, Мопассана, чувствовала себя взрослой и самостоятельной. В 1936 году закончила философский факультет Рижского университета. После его окончания работала преподавателем русского языка в женской гимназии в городе Резекне. Потом вела историю и русский язык в восьмой Рижской школе. В молодости, будучи студенткой, она очень много ездила по городам Европы. Много читала, научилась вязать, вышивать, играть на пианино, хорошо пела, была участницей Рижского университетского хора. Этот хор ездил с выступлениями по всем городам Европы: Осло, Вильнюс, Таллин, Стокгольм и другие. Была чудесная студенческая жизнь, затем интересная работа, муж, дети.

И вдруг всё рухнуло. Едем в одном направлении в разных составах. Опять Сибирь. Но поездка не добровольная, а ссылка. За что за одну ночь со всей Латвии увезли в грузовых вагонах четырнадцать тысяч человек? Это была вся «верхушка» Латвии: врачи, юристы, инженеры, министры, учителя, профессора, все люди, занимающие руководящие посты. А с ними старики, жёны, дети, младенцы. Мужчин и женщин разделили по разным вагонам. И никто не знал, что мы - дедушка, папа, мама с двумя маленькими детьми - едем в одном составе, но в разных вагонах, которые потом отправят совсем по разным путям: в Киров - в Вятлаг, в Томск - на Васюган и в Сибирское Усолёе.

За одну ночь мама потеряла всё: Родину, отца, мужа, работу, имущество, а позже, уже в ссылке, шестилетнего сына. За что? Почему? Никто из находившихся в грузовом, душном, переполненном людьми вагоне на этот вопрос ответить не мог. Так началось второе мамино путешествие в Сибирь.

Ехали в поезде месяц. Только перед Уралом узнали, что началась война. Было очень жарко. В вагонах невыносимая духота. Люди кричали, просили хотя бы глоток свежего воздуха, но никого не выпускали.

Вагоны переполнены. Стали умирать старики, дети. Для того чтобы похоронить людей, состав не останавливали. Приходилось умерших на коротких остановках просто выбрасывать. Из еды давали только солёную рыбу, чёрный хлеб и немного воды. Некоторые женщины от безвыходного положения, от того, что никак не могут помочь детям, стали сходить с ума.

И даже был случай убийства своих детей. Так доехали до Новосибирска, затем был Томск. Из Томска ехали на барже. Набитый битком трюм. Опять духота, жара, голод. Повезли по реке Васюган. Мою маму с сыном трёх лет и со мной, девятимесячной (пока ехали исполнилось уже десять месяцев), высадили в деревне Волчиха, которая находилась на притоке Васюгана - реке Нюрольке. Началась кошмарная жизнь. Нас поселили в холодные тёмные амбары, а некоторых подселили к местным жителям. Летом мы жили просто в вырытой в крутом берегу яме, которую прикрывали еловыми веточками. Позже одним из мест моего жилья был угол в интернате. А потом хозяйственная каморка, где хранились тряпки для мытья пола, вёдра и керосиновые лампы.

То, что жизнь была такой трудной, я, конечно, не понимала, потому что была ещё маленькой и другой жизни не знала. Но очень тяжело было маме, потому что на руках у неё два маленьких ребёнка. А чем их кормить? За просто так никто ничего не давал. Я очень болела. До трёх лет не могла ходить, соседи маме сочувствовали и говорили: «Да уж лучше бы она у тебя умерла и не мучилась». Но мама не могла себе даже представить, как это она когда-нибудь вернётся в Латвию без дочери. Братик уже тоже всё понимал и успокаивал маму: «Нет, она у нас вырастет и будет красивая-красивая». Казалось, что уже нет никакой надежды на то, что я когда-нибудь встану. Но я чудом выжила.

Чтобы нас как-то прокормить, маме приходилось очень много работать на полях, на заготовке дров - везде, куда только ни посылали. Но этого было недостаточно, колхоз мало что давал, тогда она стала обменивать на кое-какие продукты свои вещи. Иногда зимой приходилось идти за картошкой в соседнюю деревню. Ходила в резиновых сапогах и на саночках привозила совсем замёрзшую картошку. Пригодилось маме умение вязать. Она вязала кружочки, потом их соединяла, и получались скатёрочки, которые она могла на что-нибудь выменять.

Ещё зарабатывала мама ворожбой на картах. На самом деле

ворожить она не умела и даже не любила карты. Но так как у неё было высшее философское образование, хорошее знание русского языка и всех в деревне знала, знала их беды, надежды, у кого кто ушёл на фронт, то мама старалась их успокоить, вселить какую-то хоть маленькую надежду. Женщины были ей благодарны и всегда чем-нибудь угощали.

Из-за лютых морозов, постоянного недостатка одежды, обуви у мамы очень болели руки и ноги. Болели так, что на многих пальцах выпали первые косточки. Она месяцами ходила с перевязанными руками. Сна и покоя не было ни днём, ни ночью. А потом она очень переживала, боялась, что уже никогда не сможет играть на пианино. К счастью, мама дожила до того момента, когда играть смогла и на пианино, и на аккордеоне.

Проще с питанием было летом. Кормила тайга - ягоды, грибы, колба (черемша). В деревне была крапива - это самая главная наша спасительница. Но на всех жителей деревни её не хватало, поэтому приходилось территорию делить. Можно было поймать рыбу. А брат спрашивал у мамы, можно ли есть лягушек. Вспомнив, что во Франции их едят, она ответила: «А почему бы и нет, конечно же, можно». Нашли баночку и сварили. Иногда мама с поля в карманах приносила горох. Но за этот горох, если бы обнаружили, могли посадить в тюрьму. Из крапивы и лебеды варили похлёбку, пекли прямо на плите лепёшки. С наступлением лета стало жить легче, но тут нагрянула очередная беда.

Мама была на полевых работах. Меня она где-то пристроила, а брат Юра был один. Пошёл с другими детьми на речку. Залезли в лодку. Наверное, раскачивали, и он с этой лодки упал, пока бегали за взрослыми, братик уже утонул. Достал его шестнадцатилетний мальчик. Чтобы похоронить, сколотить гробик, не могли найти досточки. Тогда мама со своей подругой Эльзой Албатс содрали доски с сарая и сами, так как мужчин не было, сколотили гробик. Похоронили, положили на могилку багульник - это были единственные в то время цветы. Теперь багульник всегда напоминает мне деревню Волчиху и тот печальный незабываемый день.

Итак, я осталась у мамы одна. С шести лет начала ей помогать. Чтобы получить хлеб и суп, мне приходилось нянчиться с годовалым ребёнком. Каждую весну собирала на полях оставшуюся, очень часто сгнившую, но зато крахмалистую картошку. Вязала веники, собирала ромашку, драла с тальников так называемое «дубкорьё». Ходила

всегда с мамой за ягодами, грибами. Вместе охраняли в течение всего лета от коров картофельные огороды, помогали людям собирать урожай, за что нас кормили обедом. Через некоторое время мама раскорчевала в конце деревни клочок земли, и мы посадили свою картошку. Перетаскивали в деревню её в мешках, на мою долю мешочек доставался тоже.

В 1948 году мама стала работать техничкой в интернате. В нём от каникул до каникул жили дети селькупов из соседних деревень. Работа была довольно трудная - стирка белья, побелка, топка печей, мытьё полов. Но зато в тепле, появились какие-то деньги, а для меня - уголок в коридоре.

В 1949 году должна была из ГОРОНО приехать комиссия. Мама решила навести идеальный порядок. Всю ночь добела скоблила пол. Утром у неё заплыло всё лицо, глаз не видно. Члены комиссии спрашивают: «Что случилось с этой женщиной?» Учителя всё им рассказали: кто она, откуда, что у неё высшее педагогическое образование. Заведующий ГОРОНО Курдюмов сказал собрать все необходимые документы и устраиваться учителем немецкого языка в школу посёлка Рабочий. Так мама стала работать в школе.

Наша жизнь начала налаживаться. В комнатке с вёдрами, тряпками для мытья полов, керосиновыми лампами мы впервые спали не на полу, а на кровати. А потом завхоз Рабочинской школы Трапан Гарри построил для нас на самом краю деревни рядом со школой маленький домик, а в нём печка, кровать, стол, полка для книг и столик для меня. Это было такое счастье! Ятам каждый день наводила порядок. С порога смотрела, все ли вещи лежат на своих местах. Маме было некогда. Она, как всегда, очень много работала, поэтому я часто варила и даже умудрялась стирать. Один раз применила для смягчения воды золу. Можно представить, что там получилось, раствор я не процеживала, а выливала его прямо на бельё.

Ещё расскажу об одной очень интересной моей мечте. Мечтаниям не было конца. Хотелось, чтобы у мамы было много денег, почему-то 59 рублей, чтобы можно было купить на лето сандалии и платье. Хотелось увидеть Ригу, о которой много рассказывала мама. И мечтала, оказывается, даже о телевизоре. В 1949 году телевизор никто ещё не видел даже во сне. Привозили в клуб раз в месяц, а может быть, в два, кино. Так как это было великим событием, то обязательно надо было идти. Идти в любую погоду, будь то мороз, снег или дождь. И вот один

раз, когда привезли кино, была гроза. Как не хотелось мокнуть, и я подумала: «Как было бы хорошо, лёжа на кровати, только нажать на кнопку и смотреть на противоположной стене кино». Мечта сбылась!

Прожили мы в этом домике до 1952 года. Мама продолжала работать в школе. Был в ней очень хороший, молодой и дружный коллектив. Нравилось всё. Появились хорошие друзья, которые во всём друг другу помогали. Все ссыльные стояли ещё на учёте. Однажды приехало из НКВД начальство.

Вызвали маму и говорят: «Вы умная, образованная женщина, поэтому мы обращаемся к Вам с таким заданием. Вы должны прислушиваться ко всем разговорам ссыльных, запоминать, о чём они говорят, о ком, кто говорит, а затем рассказывать нам». Мама ответила: «Нет, этого я делать не буду никогда». «Ну, если не будете, тогда мы Вас вышлем опять» «Делайте что хотите. Только вы меня уже ничем не напугаете. Я видела столько хорошего и столько плохого, что уже ничего не боюсь». «Хорошо. Тогда идите, пишите свою биографию». Вечером мама писала, зачёркивала, переписывала. Всю ночь очень переживала. Утром пошла со своей биографией к начальству.

В результате в 1952 году сослали её в другую деревню - в Киндал. Но это место оказалось гораздо лучше, чем посёлок Рабочий. Деревня Киндал находится ближе к Каргаску. Хорошая школа, земля, отличная природа. Нам дали квартиру с огородом и банькой. Под горой протекает маленькая речка. Поэтому мама купила даже обласок. У нас появились кошка и собака, которая пела под аккордеон. Всё это было для нас большим богатством. В школе мама вела пение, немецкий язык и биологию, заведовала пришкольным участком, вела юннатский кружок. На участке всё очень хорошо росло. Подсолнухи, кукуруза были выше нашего роста. Очень много накапывали картошки - с трёх кустов целое ведро. А чудесные большие помидоры мы могли даже продавать.

В 1956 году маму перевели в Старо-Югино. Восьмого класса там ещё не было, поэтому мне пришлось учиться в Каргаске. Опять мама попала в хороший, дружный коллектив. Директором школы был Борис Григорьевич Кокорин. Он замечательно играл на баяне, а моя мама - на аккордеоне. Под их руководством ученики и учителя готовили очень хорошие концерты. Я это очень хорошо помню, потому что тоже принимала в них участие.



Мирдза Карловна Грашина



Юра Грашинъш



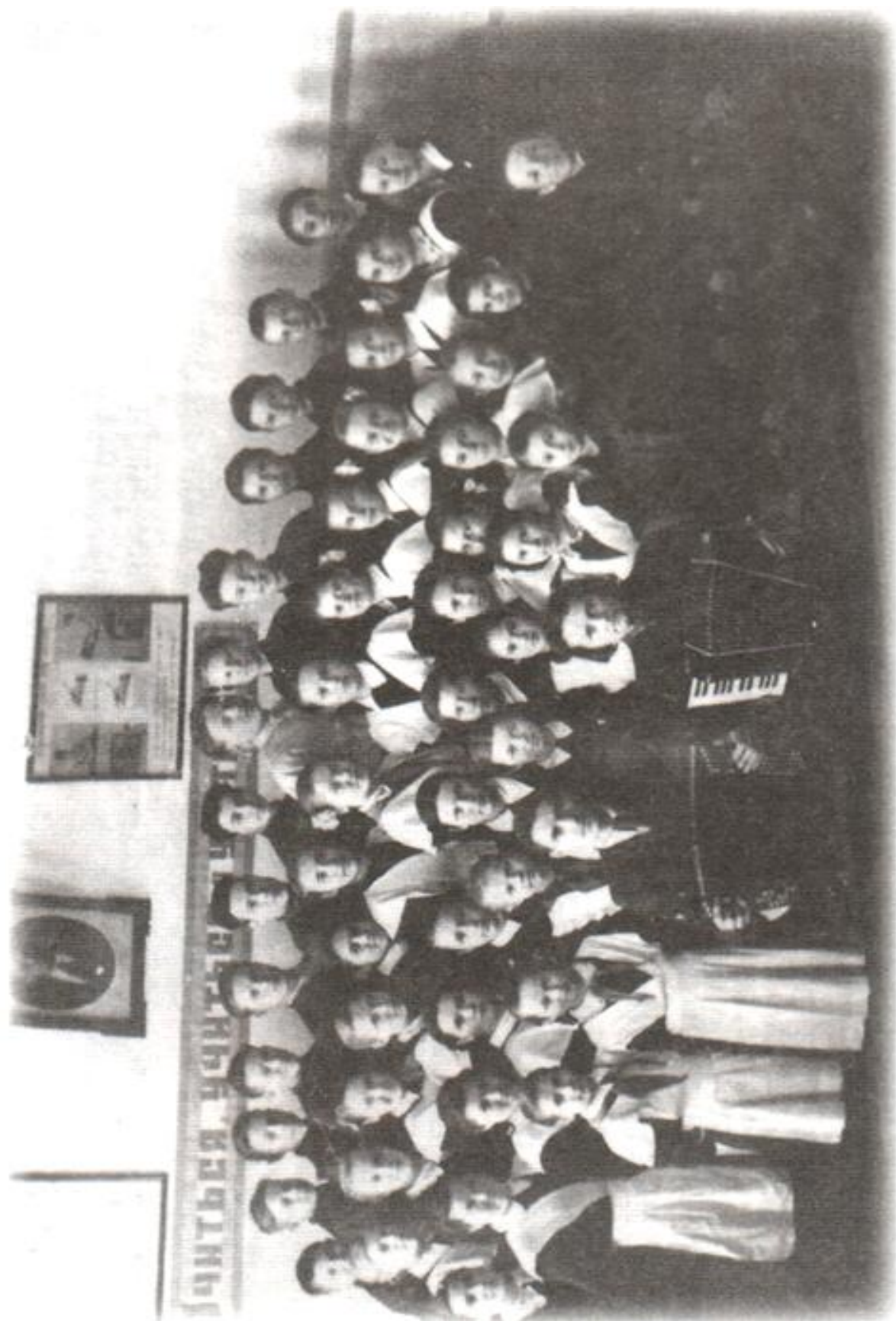
Эдуард Грашиньш



Карлис Пиегазе



Один из классов школы посёлка Рабочий



Самодельный коллектив Староюгинской школы



Обитель Руты Эдуардовны Грашиной и Николая Владимировича
Симаганова, 15.03.2017г.

Чудесные танцы готовили Галина Михайловна Федотова и Нина Николаевна Калясьева. Красивые танцы «Зима», «Берёзка» исполняли девушки. И особенно мне запомнился танец в исполнении Георгия Николаевича Калясьева под сопровождение песни «Чёрное море моё».

Был хороший не только учительский коллектив, но и очень серьёзные, умные, целеустремлённые дети. Лично я их знала мало кого, потому что там не училась, но об этом говорит их переписка с моей мамой Мирдзой Карловной Грашиной. Она получала от бывших учеников очень много писем и всегда старалась на них ответить. Письма её были очень содержательные и интересные.

Вот выдержки из них:

«Я в своей жизни видела много красивых городов и жила в них. Но никогда я не забывала о лесе, цветущих пахучих травах, о пленительном одиночестве среди природы. Это даже нельзя назвать одиночеством, потому что оно не угнетает, а наоборот, чувствуешь какое-то единство, неразрывное со всем окружающим. Чувствуешь, что ты маленькая, незначительная точка, которой дана возможность трепетать перед величием и гармонией вселенной, и на какой-то короткий миг проникаешь в её тайны».

«В Сибири мне нравятся снег и морозы. Хрустящие морозы, когда всё, как заколдованное, боится даже шелохнуться. Кругом туман, в котором светится много солнц-огоньков, а наверху тёмное небо, сплошь усыпанное звёздами. Потом люблю выходить в снежные просторы и слушать тишину. Но больше всего меня чаруют мерцающие снежные дали, насквозь пронизанные и объятые лучами мартовского солнца».

«...от лётчика настоящего требуется в большей мере отрешимость от всего земного, исключительная собранность нервов и в то же время азартность, упоение риском, трудными ситуациями, железная дисциплина. Нигде не имеешь право показывать своё «Я», ты во власти долга».

В 1959 году мы переехали в село Пудино. До 1973 года мама преподавала в школе. Потом воспитывала двух внуков и внучку.

В 1983 году 8 февраля на 76 году жизни мамы не стало.

Невыносимо жалко терять такую добрую, умную, чуткую маму, которая, несмотря на исковерканную судьбу, несмотря на то, что было потеряно, пережито, не обозлилась на всех и всё, а приняла жизнь такой, какая она есть. Она сделала много доброго, хорошего

для односельчан, учеников, своих внуков и для меня. Она вкладывала в нас всю душу, учила доброте, учила быть трудолюбивыми, целеустремлёнными, чтобы мы стали хорошими специалистами и просто хорошими людьми, большинство такими становились: врачами, учителями, писателями, инженерами. А в их сердцах осталось чувство благодарности и незабываемая память об учительнице Мирдзе Карловне Грашиной.

22.03.2009 г.

Мирдза Карловна

Василий Александрович Демешкин.

27.03.2009г.

Ближе к весне 1959 года во дворе Пудинского райкома партии выросли строительные леса. Сначала не очень было понятно, что там строится. Но вскоре стало ясно, что это судостроительная верфь, и на ней заложили паузок. Большую речную посудину для перевозки различных грузов. Деревенской детворе они были не в диковинку. По первой воде тянулись они вереницами к пристани с. Пудино и несли в своих чревах годовой запас продовольствия и мануфактуры для всего населения района. Это повторялось из года в год, но никогда паузок не строили в центре села. Для взрослого населения уже не было секретом, что район к лету будет закрыт, и вся районная чиновничья рать вынуждена будет искать работу в других местах. Где-то в апреле судно просмолили и вывезли на Чузик, где оно приняло имущество основных районных организаций - райкома партии, райисполкома, милиции, комендатуры и др.

Центральная улица села сразу обезлюдела. Опустевшие здания стали занимать другие хозяева. В ходе переселения начальная школа переместилась в здание райисполкома, совхозное руководство унаследовало помещение райкома партии. Был закрыт районный Дом пионеров, и школьники, которые туда ходили, очень жалели, что не стало хора, танцевального кружка и многого другого. С родителями уехали дети, и в сентябре многие не встретили в школе товарищей. Но появилось много и незнакомых ребят. Это были в основном дети из семей, которые переехали из окрестных спецпосёлков в бывший райцентр. Классы пополнились детьми, но не настолько, чтобы

восполнить урон, нанесённый закрытием района.

Уехали и многие учителя-предметники: учитель иностранного языка Г. Фляйшер, преподаватели математики Г.И. Щербатов, Н.И. Лосев, А.В. Аксёнова и др. Преподавательский состав в школе основательно обновился. Именно в этот сложный период в Пудинскую среднюю школу приехал учитель иностранного языка. **Это была Мирдза Карловна Грашина.**

Первая встреча с ней запомнилась навсегда. В наш 6 «а» класс вошла учительница, которая совсем не была похожа на других учителей. Внимание приковывали удивительно молодые глаза, которые всегда дружески, а иногда вопросительно были обращены к собеседнику. Глаза были поразительно синего или голубого цвета. Восприятие зависело от того, насколько ярко светило солнце или было пасмурно. В класс она вошла с улыбкой и никогда в дальнейшем не изменяла своей манере общения с окружающим миром. Это было удивительно!

Но ещё большее удивление вызвало её умение общения с нами, школьниками. Особенно это ярко проявлялось на уроках. Создавалось впечатление, что она обращалась только к тебе, хотя класс был полон. Многие учителя не любили отходить от стола и классной доски и редко передвигались по классу. Возможно, у кого-то были резоны не оставлять за спиной школьников. Но Мирдза Карловна сразу же прошла в центр класса и начала с нами знакомиться.

Очень кратко сообщила о том, что она не сибирячка, родилась в Прибалтике, поэтому у неё трудное для правильного произношения имя - Мирдза. Она объяснила, что есть искушение при произношении сочетаний звуков рдз сократить (редуцировать) согласную «д». Для того чтобы этого не происходило при обращении к ней, она попросила вспомнить, как произносится фамилия Дзержинский. Мы все хором произнесли эту фамилию, а затем и её имя - Мирдза. Так вошла в нашу жизнь Мирдза Карловна. Мало кто из школьных учителей не имеет псевдонимов. Школьники во все времена всегда давали клички своим учителям. Они были иногда весьма обидными, но это та сфера, где запреты не действуют и языковые средства точно характеризуют личность педагога. У нового учителя немецкого языка в Пудинской школе не было прозвища. Между собой мы её называли по имени. Прошли годы, за спиной остались школа, вуз и многое другое... Выпускники с уважением и добрым словом вспоминают нашего учителя Мирдзу Карловну!

Ей всё было интересно! Не замыкаясь рамками школы, она вскоре стала узнаваемой и необходимой многим сельчанам. Очень часто можно было увидеть на улице Мирдзу Карловну, беседующую то с мамой ученика, то с участником клубной самодеятельности. Это был искренний интерес к людским судьбам. Постоянное стремление без крика и шума помочь словом и делом тем, кому было трудно. По-другому она не представляла своей жизни.

Как-то незаметно наши одноклассницы стали прислушиваться к её советам и мнению по многим вопросам. Её манера общения, одежда ненавязчиво формировали чувство вкуса. Своей внешностью она демонстрировала, что красота может быть не яркой и вызывающей. Её характеризовало стремление гармонизировать окружающий мир не с позиции силы, а путём мудрого, кропотливого, иногда очень длительного общения с воспитанниками. Лишь по прошествии времени многие осознали, как, оказывается, много она значила для школы и нравственной атмосферы в селе.

В Пудинской средней школе Мирдза Карловна начала работать в сложный и тяжёлый период (1958 г.) Исчезали спецпосёлки комендатуры, что привело к уменьшению числа учащихся в школе. Общественное сознание медленно, но неотвратимо накапливало потенциал для осмысления своего прошлого. Оттепель 60-х годов не могла не отразиться на школе. В старших классах всё острее возникало стремление узнать историю не вообще, а историю родного края. Кто и когда основал в глухой тайге село? Почему в классных журналах школы такое разнообразие фамилий - Леус, Махно, Теус, Стразман, Гурзо, Узварик, Манжак и тут же Иванова, Фёдоров, Зыкова, Морозов? Откуда такое вселенское смешение? Публично наши педагоги, конечно, не могли в то время это объяснить и дать ответы на острые вопросы.

Мирдза Карловна за чашкой чая как-то взвешенно и спокойно сообщила, что в Сибирь она попала не по доброй воле. Впрочем, для основной массы школьников давно уже не было тайной то, что их деды и родители корчевали тайгу и обживали эти места не по своему желанию. Во многих семьях моих одноклассников история рода зачастую вообще не обсуждалась. Старшее поколение очень хорошо знало цену «детских» разговоров на улице и старалось не слишком подробно вспоминать о своих предках. Конечно, все мы знали, что родные края наших отцов и матерей где-то «за болотом». За болотом - это для одних Алтай, станицы сибирского казачества в Омской области,

а для других степи Барабы и Кулунды, далёкой Прибалтики.

А для нас эти таёжные края были уже нашей родной стороной. Её мы любили и любим, но историю в то время почти не знали. Весь этот мир, где мы выросли - деревни, поля, дороги, мосты, - был создан трудом. Зачастую трудом непосильным, крестьян спецпереселенцев в 1930—1940 гг., и люди, депортированные из Прибалтики, Молдавии, Западной Украины, созидали его.

Совершенно очевидно, что Мирдза Карловна очень остро ощущала потребности своего времени и свою миссию. Возвращение к своим культурно-историческим корням, к истории семьи, рода она считала важнейшей задачей. Она сумела в рамках программы «Народного университета культуры» подготовить и провести праздник народной песни. Деликатность в общении, высокая общая и музыкальная культура позволили ей найти исполнителей и убедить их выступить.

На сцену Дома культуры вышли женщины и исполнили песни своей молодости - звучали и казачьи напевы, и девичьи страдания, и многое другое. Музыковедческий комментарий к прозвучавшим песням был безупречен. Этот памятный вечер надолго запомнили жители с. Пудино. Обратившись к народной песне, к её исполнителям, Мирдза Карловна растревожила память старшего поколения. Стало очевидно, что прошлое - не проклятое время, оно достойно памяти и передачи её своим детям и внукам.

Мне кажется, что именно после этого вечера моя мама Т. Р. Демешкина (в девичестве Дорохова), которая исполняла казачьи песни, стала больше и подробнее вспоминать и рассказывать о жизни «за болотом» и при комендатуре. Именно тогда многие впечатления детства получили объяснение: вопросы получения паспорта в комендатуре, снятия с учёта и др. Прогнозировала ли Мирдза Карловна такие результаты? Вряд ли! Но она просто не могла жить вне атмосферы созидания культуры, толерантности. Она очень любила жизнь. Эта любовь была направлена на детей, школу.

От районного Дома пионеров в наследство школе досталось старое, разбитое пианино. Играть на нём было некому, и оно окончательно приходило в негодность. Мало кто из младшекласников, да и старшекласников не чурался ударить раз-другой по клавишам... Что говорить, было, к сожалению, и такое! Мирдза Карловна смогла настроить инструмент, кое-что подладила, и в её руках он зазвучал! Правда, не в спортзале, а в её маленькой уютной квартире, которая

располагалась в 5 минутах ходьбы от школы. Для школьников, желающих освоить азы нотной грамоты и игры на пианино, она открыла двери своего дома. Многие приходили не более 2-3 раз и всегда были напоены чаем, там проходили интересные беседы... Впервые слушали в её исполнении на пианино музыку Шопена, романсы русских композиторов и др.

Именно в домашней обстановке она подготавливала и репетировала с учениками классные вечера и диспуты. Диспуты всегда были интересными. Много сил было отдано подготовке и проведению обсуждения фильма «Кто Вы, доктор Зорге?» Рихарду Зорге посмертно в 1964 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. Приоткрылась новая страница истории, и Мирдза Карловна спешила донести всё это до нашего выпускного класса. С интересом обсуждали сюжет фильма и реальную судьбу разведчика Р. Зорге. Мирдза Карловна деликатно и достаточно твёрдо направляла диспут. Ход и итоги обсуждения заставляли размышлять, задуматься о трагической и героической судьбе реального Р. Зорге, погибшего на чужбине в борьбе с нацизмом. По сути, в диспуте были поставлены для осмысления вечные вопросы. Что такое Родина? Должны ли мы её любить? Ответственность перед собой и обществом? Что значит быть гражданином? Эти вопросы Мирдзу Карловну волновали, и мы вместе с ней искали на них ответы. Ко времени окончания школы нам уже было по 18 лет, а кое-кто и все 20 имел! Взрослые люди. Серьёзные и важные вопросы для размышления искала и находила педагог М. К. Грашина.

Навсегда запомнился последний день, проведённый нами в Пудинской школе 22 мая 1965 г. На торжественной школьной линейке первоклассница на плече В. Радченко отзвонила для нас последний школьный звонок! Последний школьный урок провела Мирдза Карловна. Именно ей доверили учителя напутствовать в жизнь 20-й выпуск Пудинской средней школы Парабельского района.

Кабинет физики утопал в цветах черёмухи, за школьными столами последний раз сидели все вместе и с грустью глядели друг на друга. Мирдза Карловна поступила очень мудро - не стала говорить о том, что на нас надеются, а мы должны. Она хорошо понимала, что эти казённые слова-лозунги не тронут душу. Она просто открыла томик чудесного волшебника слова, романтика Константина Паустовского и сообщила нам, что прочитает сказку «Стальное колечко». Многие из

нас переглянулись и улыбнулись. Это нам-то сказку?! Жизнь впереди - настоящая! Спутники летают! Космонавты живут на земле!

Спокойно, не напрягая голоса, Мирдза Карловна стала читать про обыкновенную девочку Варюшу, дедушку Кузьму и их простую жизнь в Моховом. Почти в конце чтения сказки Мирдза Карловна сделала паузу... Варюша в сказке собиралась, надев перстенёк, повидать белый свет со всеми его чудесами, но передумала... Она не захотела расставаться со своей родной стороной, о которой дед Кузьма говорил, что наша земля - истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете... Как-то все подумали о том, что мы почти все покидаем свой родной край. Кто с надеждой вернуться вновь, а кто и нет...

И действительно, прошли годы, ушли из жизни одноклассники В.Щадрин и В.Палинова. Нет с нами и Мирдзы Карловны...

Но помнится это удивительное мудрое напутствие. В памяти и она - щедрый, душевный человек! Низкий поклон Вам, Мирдза Карловна!

Родился 06.05.1947г. в с. Пудино Парабельского района Томской области в семье спецпереселенцев. Выпускник Пудинской средней школы 1965г., кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ТГУ.



Демешкин В.А.



Назаренко П.А.

Алтай и Нарым

- Мой дед Назаренко Андрей Ефимович и отец Афанасий Андреевич в 1909 году по реформе А.П. Столыпина выехали с Украины в Сибирь. Пётр Афанасьевич вспоминает, что сначала они отправили ходоков посмотреть земли по Оби, но земли там им не приглянулись. Мягкий климат Алтая и степные просторы привлекли хлеборобов. И они переехали на Алтай, в то время это была Томская губерния. Факт переселения подтверждают документы Государственного архива г. Барнаула Алтайского края. По переписи 1917 года получили следующую информацию:

«Назаренко Андрей Ефимович - глава семьи, жена, два сына, сноха. Всего поголовья скота - 13 голов. Землевладения - 4,5 десятины.

Назаренко Афанасий Андреевич - глава семьи, жена - Марья Федосеевна, дочь - Елена, четверо сыновей: Кузьма, Филипп, Григорий, Иван.

Хозяйство: 5 лошадей, 12 крупного рогатого скота, 5 свиней, всего 22 головы. Земельное владение - 8 десятин».

Уже на Алтае родились Владимир, Пётр, Николай.

Семья большая, дружная и трудолюбивая. Отец занимался хлебопашеством. После революции для крестьян наступили неспокойные времена: сначала ввели продразвёрстку, в 21-м её заменили продналогом.

«Ленин, - говорит Пётр Афанасьевич, - проводил коллективизацию на добровольных началах, но после его смерти Сталин стал насильно загонять в колхозы. Беднякам нечего терять, у них сроду ничего не было, а крепкие крестьяне, своим горбом наживавшие добро, идти в колхоз не хотели. Отца арестовывали несколько раз, но отпускали - нет вины за ним.

Скот, сельскохозяйственный инвентарь забрали в колхоз, через год скотина передохла, некому смотреть было за ней, работать-то голытьба не хотела. В 1931 году нас сослали с Алтайского края, Ключевского района, с. Златополь, Лукиных - в мае того же года с Алтайского края, Косихинского района, с. Верхбобровка».

Александра Яковлевна Лукина (Назаренко) позже станет женой Петра Афанасьевича. «Нас погрузили на поезд в Кулунде и повезли в Омск, - продолжает дядя Петя. - На трёх баржах везли вниз по Иртышу до устья. Так как везти три баржи было очень трудно, то другие нас обгоняли. Потом - вверх по Оби, дошли до Васюгана и опять вверх по Васюгану».

Даже проследив по карте этот путь, трудно представить, как могли пережить это расстояние люди в битком набитых баржах.

«Голод и смерть - спутники спецпереселенцев. Сколько умерло в дороге, сказать не могу, не знаю, - вспоминает Пётр Афанасьевич. - Сначала оплакивали умерших, а потом молча провожали взглядом до последнего пристанища тех, кого хоронили или просто выгружали на берег. Только дойдя до устья Нюрольки, начали разгружать людей на необжитых местах, где потом образовались посёлки: Тюкалинка, Рабочий, Уралка, на Нюрольке – Волчиха и Славгородка. Примерно 10-11 тысяч привезли людей. Нас, 3 тысячи человек, высадили на Волчихе. Очень много вымерло в первый год, около 70%: от голода, болезней, тонули в реке, задирали зверь в лесу, шли в тайгу за пропитанием и там гибли. Для степных людей, не знающих тайги, очень трудно было выжить. Многие жили в балаганах до глубокой осени, кое-кто и до Нового года, а это - верная смерть. Паёк выдавали 300 г муки на едока, за ним ездил сельский совет, там старшие на весах, на палке взвешивали муку, а потом делили её кружками, стаканами. Муку добавляли в болтанку из опилок, гнилушек, траву - крапиву да лебеду, пекли также хлеб из опилок, гнилушек и муки, если можно назвать это хлебом. Спасала колба, остяки показали, где её рвать, но не было соли. Больше всего страдали от дизентерии. Заболевших дизентерией переселили на другую сторону Нюрольки, но люди пытались вернуться к своим родным через реку вплавь и при этом тонули.

Много зависело от местной власти, от коменданта. Издевались над народом, как могли. Любое слово против - заставляли за это долбить мёрзлую землю 1 куб. м за день, а потом заваливали эту яму. На другой день задание увеличивали до 1,5 куб. м и опять заваливали. Начали разработку полей. Нужно было свалить лес, выкорчевать пни. Лес был очень крупный, а для работы - топор, лопата, вага да верёвки. Очень много людей погибло на этом лесоповале, наравне с мужчинами работали и женщины, а какие они работники, когда еле ноги переставляли от голода?

И никто за смерть людей не отвечал, закапывали, как мусор. В 1932 году вымерло ещё примерно 15-20%, у нас от голода умер Володя, хотя был самым крупным из нас. Потомумирало всё меньше и меньше, выжили самые сильные. В Волчихе осталось дворов 150-200. На родине не вступили и колхоз, так здесь образовали колхоз «Рассвет». Семена колхозу выдавало государство, а в землю попадало 15-20%, люди съедали его от голода, и уследить за ними не было никакой возможности. Очень бедно жили в колхозе. Рабочим варили болтанку: 5 литров воды, 30г. муки, травы, литр молока. За эту еду ещё и высчитывали из трудодней. Такая жизнь тянулась до 1938 года...»

Воспоминания Петра Афанасьевича Назаренко записаны с его слов ребятами краеведческого кружка «Поиск» ООШ им. Ляшенко п. Мыльджино.



Тамара и Саша. Кочева В.А.

... В 1947 году проводил детский дом №9 из Томска в Москву Сашу Хохлова для продолжения учебы в Институте международных отношений. Саша - первый выпускник, кому посчастливилось окончить 10 классов. Он же еще художник и музыкант, а позже дипломатический работник. С того памятного 1947 года мне так и не довелось увидеть Сашу, хотя он как-то приезжал в Томск, был на даче детского дома, в нашей Куташовке.

И вдруг через 50 лет в 1997 году зимой почтальон приносит денежный перевод от Саши. Адрес мой он узнал от Миши Черепанова, с которым я была связана через письма. Не знаю уж, что написал Миша Саше обо мне (жила я тогда в Новосибирской области), но лелеяла надежду выпустить в свет свои записки о друзьях-товарищах моих по детдому. Черновик записок был готов уже 10 лет назад... Но корешок денежного перевода от Саши с коротким сообщением "для письма" растрогал меня до глубины души. Это ж надо! Через всю жизнь пронести и сохранить верность нашему детдомовскому братству!...

Там, в Москве (1950г.), Тамара Цаунит встретила бывшего воспитанника детского дома №9 Сашу Хохлова. Саша учился в Институте международных отношений. Их симпатии, еще со времен детдома, переросли в настоящую любовь. Саша тоже был очень талантливым мальчиком. Он прекрасно рисовал, отлично владел игрой на фортепьяно, стремился к знаниям, серьезно учился. С собой он был очень хорош. Высокий, стройный, кудрявая светлая шевелюра, выразительные глаза, к тому же скромный, интеллигентный.

Очень они подходили друг к другу. Учились, работали, встречались, мечтали о том, как они будут жить, когда поженятся. Все между ними было оговорено и решено на будущее. Только бы скорей закончить учиться, получить высшее образование.



Военного времени дети... 1943 г.



1942 г. Саша Хохлов, 12 лет.



1946 г. Тамара Цаунит (слева).



1947 г. Старшеклассники детского дома № 9 г.Томска: Саша Хохлов – в 3 ряду, Миша Черепанов – в 4 ряду.



КОЧЕВА Валентина Александровна. 1933 г.р.

1952 год - время защиты диплома Саши, год осуществления планов на будущее. Саша должен был ехать за границу по окончании института, а потом должен был жениться. Анкета будущей жены проверялась в КГБ. Он с радостью сообщил своей невесте Тамаре об этом. Но анкета будущей жены Саши “не прошла” в КГБ. А сроки уходили. Сашу ждала работа в посольстве, за границей. Но прежде он обязан был жениться, оставляя на Родине “в залог” жену.

Таковы были правила для тех, кто уезжал на работу за границу. Саше пришлось срочно искать невесту и оформлять брак с той, чья анкета подойдет в КГБ. Так и случилось, что рухнули планы и надежды на большую любовь с Тамарой. Еще один страшный удар уготовила им судьба. Как только выдержала Тамара?!

Она приехала в Томск, на малую Родину, покинув столицу, где так безжалостно и жестоко наказала её судьба. Не согнулась гордая Тамара под ударами судьбы! Выстояла, пережила. Помогла детдомовская закалка. Вышла замуж, родила 2 детей, прекрасных дочек. Выучила их. Её девочки получили высшее образование. Ирина (старшая) закончила мединститут в Томске. Людмила - университет. Но это было уже позже...

Март, 2000 год, Томский район. п. Мирный, Мира 5 кв 2.

Дети интерната.

Вероника Алексеевна Назаренко , 1934 г.р.

Время идет и все забывается, пишу только то, что хорошо запомнилось...Фамилии и имена детей не упоминаю. Наша школа №195 была коррекционная. Не всем нравится, когда об этом становится широко известно. У нас в школе воспитывалась одна девочка – мастер спорта. Объехала, можно сказать, весь мир, выступала с лучшими спортсменами. Вот решили про нее написать в газете, и упомянули, где она училась. Это было шоком для нее.

Но многие дети вспоминают о школе тепло. Большинство моих детей работает в школах и столовых, в больницах и парикмахерских, на стройке и даже на телевидении. Побывали в разных странах. Еще играет большую роль то, в какой коллектив попадет наш выпускник. С болью вспоминаю то, что есть среди наших и спившиеся люди. Даже от кого не ожидала этого... Но обо всем по порядку.

Школу – интернат № 195 в Северске открыли в 1960 году. Это заведение предназначалось для умственно отсталых детей. В школе в том числе обучались дети, у которых либо не было родителей, либо они были лишены родительских прав.

Первым директором школы была Екатерина Николаевна Краснова, умный и серьезный человек. Она с ответственностью взялась за это дело воспитания и обучения детей. Сиротам она уделяла особое внимание. Очень грамотно подбирала коллектив воспитателей и педагогов. Ведь в задачу этой школы входила подготовка человека к дальнейшей жизни.

В свое время в газете Диалог была опубликована статья бывшего сотрудника школы, специалиста – дефектолога Людмилы Боровской. Она рассказала о первых днях школы и там подробно перечислила педагогов и врачей, которые работали с детьми. Преподаватель производственного обучения не только работал с детьми, но и «доводил до ума новостройку» С девочками работали Лидия Васильевна Абрамовская и Лидия Федоровна Потехина. Первые педагоги: Екатерина Григорьевна Кручинина, Алевтина Арсентьевна

Троегубова, Марина Галиевна Девяшина, Любовь Григорьевна Александрова. Даже если потом педагоги из этой школы переходили в другие, «массовые» – все были отличные учителя – сказалась хорошая выучка, опыт, приобретенный в работе с трудными в педагогическом плане детьми.

Из воспитателей помнится Зоя Алексеевна Арыштаева. Здоровье было в руках медперсонала: медсестер Марины Никифоровны Хомяковой, Галины Николаевны Агеевой, Флюры Вильдановны Жданова. Разумеется – очень многое зависит от директора. Дольше всех я работала с Чепрасовым Иваном Назаровичем, вспоминаю добрым словом и Мартемьянова Юрия Мефодьевича.

Много, конечно, можно написать, кое-что забылось. Вот, например, появился у нас новый трудовик Сапожников Владимир Павлович. Он столько сделал для детей доброго, что его долго будут помнить. Занимался с ними спортом и добился определенных успехов – даже ездил с ними в Москву и другие города, где занимали призовые места на соревнованиях. Развел свиней. И даже дети с ним построили свинарник. Дети чистили хрюшек, кормили.

Да, о каждом работнике нашей школы можно написать много доброго. Спасибо нянечкам Марии Викторовне и Полине Андреевне, поварам Марии и Галине Николаевне, учителю Владимиру Павловичу.

Попала я в эту школу так. Летом того года мне пришлось работать в пионерлагере «40-лет Октября». Все три сезона мои группы занимали первое место. Но пошла я работать в пионерлагерь с условием, что секретарь комсомольской организации подыщет мне место вне школы.

Почему не хотела идти в школу? До этого я работала в Горьковской области, г. Лукоянов, в качестве воспитателя в детском доме. Выполняла обязанности с ответственностью. Полюбила доверенных мне детей. И дети отвечали мне тем же. Скажу прямо, что мне было нелегко. За день выматывалась так, что еле ноги тащила домой. Потом детдом закрыли, так как здание находилось в аварийном состоянии. И директор посоветовала меня взять в только что открывшуюся школу-интернат, где должны были обучаться дети со всей Казанской железнодорожной ветки. Дети из не очень благополучных семей, но не от родителей, лишенных родительских прав. Взяли меня в качестве

пионервожатой. Для меня это было столько слез и горя. Все это надо было пропустить через себя. Я столько пережила за это время, что где-то стала надеяться, что такая работа у меня будет не навсегда.

Вышла замуж. Муж, Назаренко Юрий Александрович, окончил Горьковский университет и был направлен в Сибирь, в Северск. Директор моего интерната предложил моему мужу преподавать химию, и меня перевести в воспитатели, но я воспротивилась, и мы поехали в Сибирь – это было в 1958 году. Муж был согласен, что я в школе больше работать не буду, а чтобы я родила как можно больше детей.

А когда я пришла в горком комсомола, вставать на учет, то секретарь Рапп так постарался со мной поговорить, что уговорил поработать в пионерлагере три месяца. Дал слово найти мне работу. А когда я приехала из пионерлагеря и пошла к нему, то он сказал, что у них не хватает кадров на должность пионервожатых и отправил меня в школу № 86. Директором там была Екатерина Николаевна Краснова. И я несколько лет работала под ее началом.

Потом я после рождения ребенка заболела. Директор уговаривала меня подлечиться и снова в школу прийти, но я под предлогом болезни, уволилась, с надеждой, что где-то устроюсь вне школы. И вдруг я получаю письмо от директора 195-й школы Красновой Е.П., чтобы я их выручила, только на два месяца, пока пионервожатая в отпуске. На два месяца, я согласилась и работала в этой школе... 32 года!

Долго я была пионервожатой и решила, что я уже старая для этой должности, поэтому написала заявление об увольнении с мыслью о новой, внешкольной, работе. Но директор решил иначе – предложил мне работу с сиротами, что буду работать в неделю два дня (субботу и воскресенье), что за неделю успею отдохнуть, уделять буду внимание своим детям, и если надо, подлечиться. И ряд других благ и выгод. Дома на меня рассердились, что я остаюсь опять в школе, но доводы директора были сильнее, и я решила продолжить работу.

Какая была красивая школа! Чистота удивительная – врач все время ходила с ваточкой и проверяла чистоту. Требовала, чтобы дети были опрятные, хорошо подстрижены и никаких грязных ногтей. А какая

была столовая! Мария Тимофеевна Кропочко, да и другие повара, так вкусно варили и стряпали. Оформлено было все с таким вкусом.

Интересные мероприятия проводили мы с детьми. Я посещала все и просто училась, да и многое использовала в работе. Когда дети заканчивали нашу школу, их к этому долго готовили. Упор в образовании делался на трудовое воспитание, чтобы дети могли по окончании школы жить самостоятельно, зарабатывать, заботиться о себе. Ведь эти ребята оказались еще более беззащитны перед миром, их легче обмануть, обидеть. Ребята умели делать многое, благодаря учителям и воспитателям. У нас были классы по труду. Сапожники, слесари, столяры, швейное дело, домоводство, теплица. Большое спасибо этим наставникам, которые прививали любовь к тому, чему учили детей. Ведь для многих это обучение стало путевкой в жизнь. Дети любили этих преподавателей. Василия Павловича Колесова считали отцом. Он даже детей стриг иногда, и так мастерски. По швейному делу няня занималась, Потехина Лидия Федоровна. Она однажды на педсовете даже похвалила моих детей за то, что приучены к порядку в отношении иголок, ножниц и т.д., что знают многое лучше других.

Старались помочь сделать им первые шаги. Определяли в общежитие, а некоторых возвращали родителям. Устраивали детей по специальности, которую они изучали, да практику там проходили. И наши воспитанники зарекомендовали себя с лучшей стороны. Их охотно принимали швейная мастерская, ДОК, слесарями в ЖЭК, в сапожной мастерской, на стройки. Многие побывали в на службе в Армии. Потом женились. Связь с ними я не порывала. И в горе и в радости принимала участие. Сначала с квартирами было плохо, так вот двум молодоженам достали квартиру.

Я очень жалела детей сирот. Старалась создать им спокойную домашнюю обстановку. У всех судьбы были ужасные. Среди моих детей большинство не были настоящими сиротами. Родители их жили в том же городе. Но они были лишены родительских прав. Недаром государство взяло их под свою опеку. Еще раз скажу, что и помощники мои – нянечки попадались на редкость добрые люди. Мы вместе мыли детей, учили стирать свои вещи, зашивать, гладить и, наконец, украшать свое место обитания.

Несмотря на наши заботы, большинство детей помнили о своих родителях, надеялись в конце концов воссоединиться с ними. А некоторые дети даже не знали своих родителей, но... Но какие бы плохие не были родные мамы и папы – дети их любили. Они всегда о них отзывались тепло и с любовью. Было у нас два брата. Вот у младшего день рождения. Когда дети засыпали, я ему подарок под подушку положила. Утром он находит этот подарок. И говорит брату: «Гляди! У меня день рождения! Вот подарок!» Посмотрели на подарок и старший брат говорит: «У нас дома тоже отмечали это. Папа приносил целый кулек стеклянных конфет (леденцов). А уж мама какая красивая была, похожа на В.А. Только ходила она всегда в железной короне. Папа-то кузнец был, он ее и сковал». А на самом деле семья пила. Отец бил смертельно жену, от чего она вскоре умерла. И что ни ребенок, то целая история. И мы старались, чтобы у детей было все хорошо.

Что представляла из себя «воскресная» группа при интернате? Дети – сироты жили в этой же школе, но в отдельной квартире с другим входом. Квартира состояла из пяти комнат. В одном крыле жили девочки, в другом – мальчики. Возраст детей был от 1 до 8 класса. В этом была основная трудность. Число детей доходило до 28 человек. Если бы детей было 30 человек, то дали бы второго воспитателя... Радовало то, что на разницу возраста в коллективе не было ни драк и ни ругани. Некоторые дети дружили друг с другом, но в основном были все вместе. Я принимала детей из школы в пятницу и была с ними в субботу – воскресенье. На ночь могла уйти домой, но сил на это не хватало. И семья моя решила, чтобы я ночевала с детьми. Как мать я принимала участие во всех мероприятиях: ходила на родительские собрания, посещала школьные мероприятия. У нас был очень сильный коллектив, так что было чему поучиться у своих коллег. Со слабыми учениками я занималась, так что учителя это отмечали, что ребенок стал лучше учиться.

Кроме двух больших спален, было еще две маленькие комнаты и одна побольше – общая. Еще была небольшая коморка для воспитателя или няни. Ванная комната была одна. В ней мы должны были что-то постирать (носки, трусы, рубашки и т.п.) и помыться.

Пятницу мы начинали так. В обед я принимала детей. Часть детей начинали чистить подход к нашему крыльцу, подметать или прорывать

ход среди снега, и по очереди гладить, приводить в порядок школьную форму. И делали это так, чтобы форма всегда выглядела праздничной. У нас была девочка, которая умела это отлично делать и учила других. Когда дети в понедельник входили в школу, то директор встречала их и с радостью отмечала: «А наши-то не хуже домашних!»

С одеждой вначале было плоховато. Носки, трусы, рубашки выдадут на определенный срок, а они рвутся, как на огне горят. Вот, дети стирают одежду, и мы невольно учимся зашивать и штопать. И с игрушками как-то не очень хорошо было. А что выдадут – надо следить, чтобы не изломали, не растеряли. А детям ведь надо посмотреть, что внутри игрушек. Хитрили: пойдут будто в ванну мыться, прихватят какую-либо игрушку и там без помех с ней разбираются. У меня было двое своих детей, игрушек полно, так что к каждому дежурству я прихватывала что-нибудь для любопытства детей. Иногда ломали, иногда чинили, и теряли бывало.

Всю неделю я искала, чем бы занять детей эти два дня, чтобы они не завидовали городским детям, которые приходили в школу и рассказывали, как у них было хорошо, куда они ходили и т.д.

Решила я детей научить вышивать, всех – от малых до больших. Начали мы с полотенец, а когда дело пошло – вышил каждый себе наволочку. Кастелянша, Надежда Егоровна, раздобыла белых пикейных покрывал для заправки кроватей и наши спальни до того красивые стали, что какая бы комиссия, какая бы проверка ни была – отмечали, как один директор другого интерната сказал «Как в украинской хате!» В спальнях дети только спали и порядок был образцовый. Короче говоря, дело пошло споро, но ниток было не достать.

Потом Надежда Егоровна достала где-то несколько мотков шерсти болотного цвета. Стала я учить детей вязанию. Мне помогала наша техничка, Дербенева Полина Андреевна. Вязали дети все, каждый связал себе варежки, носки, а взрослые девочки связали себе кофточки. Одна девочка связала себе пальто и берет! Среди связанных вещей были шарфы, безрукавки и т.п. В общем, к выставке в школе мы были готовы во всеоружии. За вышивки мы получили первое место, а за вязание - второе. Я решила возмутиться, так как вещи связаны были на высшем уровне, но шерсть была непрочной. Меня пристыдила завуч Астахова Любовь Михайловна за нескромность. (Между прочим,

замечательный педагог была, умная, выдержанная, могла дать дельный совет по работе с детьми. В общем-то, у нас не было плохих работников). Впоследствии, вся школа стала вышивать, а мне пришлось вести этот кружок.

Надо сказать, что моя семья очень помогала мне. Мой муж – инженер Сибирского химкомбината - был очень спортивен и занимался тяжелой атлетикой. Когда я прибаливала, то он приходил, будто невзначай, и с детьми катался на лыжах по лесу и с горок. А тут он договорился, что нас будут пускать в бассейн «Дельфин». Достала я справки на детей и вечером в воскресенье повела их в «Дельфин» пешком, а там встречал их мой Юра. Он для детей был дядя Юра. Он коллекционировал спортивные значки. Иногда приходил с ними к нам и рассказывал о каждом значке, призывал детей заниматься спортом серьезно, чтобы быть здоровым. Для этого не надо увлекаться куревом, вином и т.д. Все это было в такой простой обстановке, дети стояли кругом него, трогали, примеряли, садились к нему на руки. А он раздавал им значки о спорте.

Позже приходил к нам и мой сын - студент Томского университета. Он иногда занимался с ними в спортзале. Но в основном рассказывал им что-то интересное. Он сочинял неплохие стихи. Вот и рассказывал, о чем пишет, как слагает стихи. Дети его считали своим товарищем. Дочка тоже принимала участие в игре с детьми, ее дети любили, играли с ней. Мы готовили сказки, где и она принимала участие. Сыграла Снегурочку, Золушку, а когда подросла – играла Принца в том же спектакле. Дважды я брала ее в пионерлагерь в качестве пионервожатой и оба раза мы занимали первое место.

Сын и дочка знали, что это несчастье - быть сиротой при живых родителях. Не удивлялись тому, что дети зовут меня мамой. И когда мои дети приходили к нам, то меня звали по имени отчеству, чтобы не расстраивать моих воспитанников. При этом ребяташки из группы называли меня «мама».

Водила я детей интерната в кино и в театр. И везде пешком, чтобы они посмотрели вокруг, и если кого знакомых встречали- то с ними поговорили. Ходили не строем, а рядом. Бегут около меня и говорят все «мам» да «мама», а люди удивляются этому: «Молодая вроде, а когда успела столько нарожать?» И прежде куда-то идти, говорила детям, как

надо вести себя там. Нас очень любили в театре. Нашу группу просто узнавали.

Хотелось детям, чтобы у нас были животные – собаки, кошки. Бывало, как поедут в пионерлагерь, так у каждого появлялась кошка, а то и собака. А у нас строго с этим – нельзя и все. Чистота ослепительная, это все отмечали, кто нас посещали. И делай тут, что хочешь. Слезы, истерики. Водила я детей в зоопарк.

Хотелось им и велосипеды иметь. Однажды на прогулке нашли раму от велосипеда и притащили к школе. И пошло после этого. На всех прогулках чего-нибудь да найдут. В результате собрали три велосипеда. Вот они их смажут, наладят и, наконец сели и поехали вокруг школы. Опять разберут, снимают колеса, ведь ставить велосипеды некуда. Тащат в квартиру. Грязь несут, и сами не чище. Врач ругается. Вот и выделили им за теплицей чулан. А «техника» прибывает. Завхоз костерит меня. Однажды я заболела. И вот прибегает ко мне вся группа, плачут. Завхоз вызвал милицию, и все велосипеды увезли куда-то. Говорят, мол, происходят кражи велосипедов и наши взяли на экспертизу, на опознание. Дочь моя была еще маленькая. Так я посадила ее на плечи, и в милицию пошла. Там я рассказала все и нам пошли навстречу: вместо трех велосипедов дали каждому из неопознанных. Сели мои дети на велосипеды и поехали в школу, а я осталась на краю города с дочкой одна.

Наладила я связь с военной частью, что была рядом с нами. Ходили мы с детьми туда с концертами и постановками. Нас привечали хорошо, пускали бесплатно в кино, но самое главное, пускали нас мыться в баню, которая находилась прямо у ворот нашей школы. Иногда дети привозили из пионерлагеря вшей. За дустом бегала тоже в военную часть. Со стрижкой волос были проблемы. Так вот, договорились с двумя парикмахерами, чтобы они бесплатно детей стригли.. Наладила контакты с детдомом и со школой-интернатом на Чекисте. Это было тоже учреждение для сирот, но только без задержки педагогического развития или умственной отсталости. Там у многих моих детей были сестры и братья. В детдом ходили с подарками, сделанными своими руками и, конечно, с концертом или постановкой. Те отвечали нам тем же.

Если ребенок заболел, то бегала в больницу. Однажды приняла ребенка и не заметила, что он прихрамывает. К вечеру нога распухла, и у ребенка поднялась температура. Вызвала скорую помощь и поехала с ним в больницу. Наложили на ногу гипс и отпустили нас домой. Довезти нас до школы машин не оказалось. Так я этого пятиклассника полночи несла на себе. (Это как пример привела). Плохо было, когда добавляли новенького, особенно взрослого ребенка. Который, как говорится, прошел огни и воду и медные трубы. Был случай, когда один ребенок увел в лес двух своих сверстников. Я всю ночь бегала по лесу и искала их до утра.

Дали мне новую нянечку - молоджавую и красивую. Вот эта «помощница» стала убеждать детей, что я им никакая не «мама», а тружусь за зарплату и т.д. Многие дети остались при своем мнении, но две восьмиклассницы мне устроили такую жизнь до окончания учебы, что и теперь мне не хочется вспоминать это. Причины: им хочется влюбляться, свободно бродить и т.д. И под конец был такой случай. Мне исполнилось 60 лет. Вот одни из тех девочек мне заявила «Мы вам скоро справим такой юбилей, что запомните надолго!» Кто из персонала был в школе – заперлись, а я осталась с детьми. Как всегда занялись домашними делами. Гляжу, собираются ученики всех моих выпускников. Идут даже те, кто уже замужем и женаты, их дети по домам. Ну, думаю, порвут!.. Пришли, сразу столы и стулья сдвигать стали, принесли фруктов, всякой выпечки, конфет. Побежали на кухню за посудой. Все расставили на столах. Я сама делала все, что принесли бывшие дети. Всех прощала я, но обносила тех двух девочек. Такого юбилея у меня, конечно, раньше не было. Надарили и посуды. В понедельник я все снесла это начальству, но и они решили, что дети уже работают и имеют право дарить. Так что посуду отправили мне домой. Девочки и няня попросили у меня прощения. Девочек простила, а с няней не разговаривала полгода. Вот, где бы она не работала, всегда так поступала. С последней ее работы обзвонили все школы, а нашу забыли. Оказывается у нее такой характер.

Скажу прямо, что мне было нелегко. Я несколько раз подавала заявление об уходе, но находили ко мне такие нужные слова, и я снова оставалась с детьми. Наконец из Москвы решили, что на такой группе детей можно содержать постоянного воспитателя, а не дежурить даже по два человека в день. Коллектив собрал совещание без меня.



1984 г. На фото среди педагогов есть тогдашний директор Мартемьянов Юрий Мефодьевич. Назаренко В.А. - первая слева в 1 ряду.



1975 г. Встреча детей с участниками войны: Герой Советского Союза Илья Дмитриевич Лимонов и директор интерната Чепрасов Иван Назарович.



1975 г. Встреча детей с участниками войны: директор интерната Чепрасов Иван Назарович и капитан ВМФ Петров Андрей Иванович. В центре Назаренко В.А. организатор встречи.

Решили сбрасываться на мое содержание и собирали деньги весь год. Я об этом узнала только тогда, когда из Москвы пришло решение, что не эффективно дежурство, что снова нужно брать постоянного воспитателя.

И вот, собираюсь я на работу и так вздыхаю, что семье ясно, каково сейчас мне. Подхожу к школе, а дети стоят у ворот и ждут меня. С криками радости бегут на встречу мне. В голове проносится: «Вот дурра-то я! Они меня ждут, мне рады!» С радостью бегу им на встречу, обнимаемся, целуемся. Дети делятся своими радостями и горестями, ну и я им за неделю приготовила много сюрпризов...

Пока пишу, переволновалась от воспоминаний. Мне всегда было очень тяжело на работе и в жизни. Но теперь я думаю, и где бы я еще пригодиться и могла работать?

Медсестра из благородных

Лев Ефимович Устинов, 1938 г.р. г. Томск, апрель 2015 г.

Тогурский детский дом организован был в 1933 году при Колпашевской комендатуре «для приема малолетних детей-сирот спецпоселенцев». Расположен в восьми километрах от города Колпашево. ... В медпункте детдома часто делали детям прививки. Мы ужасно боялись уколов и всячески пытались увильнуть от них. Но бдительная медсестра Надежда Семеновна Бычкова всегда была начеку и, если требовалось, помещала в изолятор детей из-за расстройства желудка или простуды.

В бане за санитарным состоянием детей следила Надежда Семеновна. Она осматривала всех нас, чтобы выявить у детей лишай и чесотку, цыпки на ногах и руках, татуировки и вшей с блохами. В те суровые годы этой напасти было много и белье осматривали тщательно, а потом «прожаривали во вшивобойке». И самым радостным для нас было то, что после бани нам выдавали новенькое белье и одежду! Ведь старое белье и одежду мы донашивали до такого предела, что оно уже было совершенно непригодным даже для мытья полов!

В походы дети ходили только в ясную, солнечную и тихую погоду, чтобы у них была возможность хорошо отдохнуть, купаться и позагорать. Чаще всего мы ходили на речку Тарасовку. Здесь река была неглубокая, вода чистая, берег ровный и песчаный, а повыше была лужайка с мягкой травой. Вдоль берега рос лес, среди которого мы собирали хворост для костра. Пока дети были в походе, на кухне и в столовой детдома проводили санитарную обработку. За всеми работами строго следила Надежда Семеновна. Н. С. Бычкова была одной из воспитанниц института благородных девиц г. Санкт-Петербурга. Когда началась война 1914 года, она медсестрой ухаживала за ранеными фронтовиками в госпитале города.

После революции 1917 года она работала в одном из медицинских учреждений Питера. Погиб революционер С.М. Киров (1 дек. 1934г.) и ее, вместе с другими медицинскими работниками столицы «как врагов народа», сослали в Нарымский край. Привезли в Колпашево. Поскольку в детдоме Тогура не было медицинского персонала, то

Надежду Семеновну приняли здесь на работу медсестрой. В 1937 году ей припомнили прошлое «благородное воспитание» и уволили с работы. Однако после осуждения «ежовщины» ее восстановили в должности медсестры детдома...

Мы - из Дунаево

Родился я в 1938 году в семье крестьянина в деревне Дунаево, Колпашевского района, Томской области. 12 июня 1941 года наша мать Анна Ивановна умерла, оставив отца Устинова Ефима Алексеевича одного с пятью малолетними детьми.



1958 г. Директор Нина Михайловна Ильясова и педагоги с выпускниками Тогурского детского дома.

На фронт отца отправили в октябре 1942 года. Он погиб в бою под Новгородом 3 февраля 1943 года. После мобилизации отца вся забота о семье легла на детские плечи моего старшего брата Дмитрия, которому тогда было всего 13 лет. По каким-то неизвестным законам его уже считали колхозником, а потому с него требовали ежегодно военный налог - 40 кг мяса, 13 кг масла. Помощи ждать было неоткуда, все родные бабушки и дедушки умерли. Пришлось отвезти на

заготовку единственную надежду и кормилицу - корову, а пять детей остались без молока. Питались только картошкой да скудными довоенными запасами.

В нашей избе стояла большая русская печь, расходовавшая зимой много дров, которых малолетним сиротам было ни приготовить, ни купить. Поэтому мы пользовались железной печуркой, быстро и хорошо нагревавшей комнату. Хворост мы собирали по окрестным перелескам и привозили домой на санках. Старшие дети вспоминают, как в долгие зимние вечера мы все грудились возле горячей печурки. Младшие носили короткие штанишки, поэтому наши коленки всегда были обожжены. Мы резали сырую картошку на тонкие кружочки и клали их прямо на ярко-красную от огня стенку печурки, поджаривали и тут же съедали. Это была самая доступная и вкусная пища.

После получения «похоронки» на отца ни райвоенкомат, ни райсобес, ни сельсовет и ни колхоз никакой помощи не оказывали сиротам. Наконец нужда так одолела, что брат стал обменивать домашнее имущество на продукты. Наступили полуголодные дни, и тогда не выдержало сердце одной солдатской вдовы: 22 ноября 1943 года посадила она нас четверых в сани, укрыла тулупом и отвезла в Тогурский детский дом, сказала: «Принимайте» и уехала. Из детдома сирот, конечно, не выгнали: нас обмыли, переодели. Накормили и уложили спать в теплых комнатах. Так началась наша долгая детдомовская жизнь, но не для всех. Оставшийся дома брат Дмитрий в школу не ходил, работал в колхозе наравне со взрослыми: зимой возил на лошадях сено, дрова, зерно; летом - в поле. А дом был без хозяйки, вот и пришлось ему вскоре забрать 12-летнюю сестру Лиду из детдома, вести все домашние дела.

Годы шли, и надо было жить, надеясь только на себя. Повзрослевший старший брат окончил курсы трактористов, пахал колхозные поля. Затем, отслужив три года в армии, он окончил курсы комбайнеров, работал в МТС. Эта специальность позволяла ему хорошо зарабатывать и обустроить свою личную жизнь: он женился и вырастил сына и дочь.

Старшая сестра Лида тоже рано стала трудиться. Сначала работала в колхозе, потом получила паспорт, устроилась санитаркой в Колпашевской поликлинике; вышла замуж, окончила курсы ткачих и вместе с мужем до пенсии работала на заводе «Металлист». Они вырастили двоих детей.

Итак, перенеся тяготы войны, все трудности голодного и холодного

детства и отрочества, наши старшие Лида и Дмитрий, как говорится, сами встали на ноги, жили добропорядочно, благочестиво, воспитав своих детей в том же духе.

А какова же судьба остальных детей, живших в детдоме? Конечно, нам было лучше, государство в какой-то мере заботилось о нас. Мы были одеты, обуты, накормлены, учились. Правда, одежду носили старенькую, но чистую, заштопанную и глаженую; питание тоже не очень обильное и разнообразное: хлеб, картошка, щи, каша, ягодный кисель, молоко, иногда мясо, рыба. Еды не хватало, но она была ежедневно. Ну, а пацаны ходили по окрестным убраным огородам, собирали оставшуюся картошку и жарили на костре; делали вылазки на колхозные поля, где росло много турнепса, собирали в лесу ягоды, шишки кедровые, колбу (черемшу). Сытнее стало после появления в детдоме огородов.

Детдомовских легко отличали в школе: они все были худенькие, бедно одеты и обуты, отставали в росте от своих деревенских сверстников. Зато их крепила вера в светлое будущее: поскорее выучиться, получить специальность и работать. Об этой поре я написал позднее в своих стихах:

«...Мы когда-то в детдоме лесном,
Над широкой сибирской рекой
У ночного костра перед сном
Все мечтали о жизни другой.

О победе, о новых вещах,
Об уютном домашнем тепле
И, конечно, о праздничных щах
С хлебом вволю и с мясом в котле.

Ах, вы, долгие ночи и дни,
Средь бедовых военных сирот!..
Уходили, взрослея, одни,
Оставались другие на год...»

Дети всех возрастов помогали сотрудникам детдома на хозяйственных работах летом и зимой. Не только Дмитрию и Лиде досталась тяжелая доля, но и нам, младшим, тоже жилось в детдоме нелегко, особенно после нашей разлуки. Когда Евгения и Петр пошли в школу, их отправили в другие детдома, т.к. в Тогурском оставались одни дошколята. За годы разлуки наши родственные узы ослабли, а чувства остыли. Не будь войны

- не было бы и этой беды. Судьба раскидала нас, исчезла и наша родная деревня.

Евгения окончила 7 классов, потом Томскую агрошколу и всю жизнь работала агрономом в колхозе вместе с мужем-пчеловодом, вырастили двух дочерей. Петр после 7-летки окончил Томское ремесленное училище связи, отслужил в армии и потом до конца своей жизни работал начальником линейного узла связи в Старице, был отличным специалистом, имел правительственные награды. С женой - бухгалтером сельпо - они вырастили сына и дочь: сын - инженер-электронщик на алмазном руднике в г. Мирном, дочь - учитель в школе.

У меня начало самостоятельной жизни тоже было нелегким. После окончания средней школы с хорошим аттестатом я имел верную возможность поступить в институт, но меня пугал срок обучения - 5 лет. Помощи от родных братьев и сестер я не ожидал: все они сами только недавно начали самостоятельную жизнь, у каждого были семьи, дети - в общем, своих забот было полно. Поэтому я решил сначала окончить техникум за 2 года, поработать, обжиться, а уже потом заочно окончить институт. Практически, все так и было. Отработав 10 лет на «великих стройках коммунизма», я 20 лет служил офицером Советской армии в Душанбе, Семипалатинске, Целинограде; после увольнения на пенсию отработал еще 15 лет, теперь занимаюсь краеведением. Издал три книги по истории Нарымского края, готовлю монографию о родословных Нарымских старожил.

Моя жена - зубной техник, дочь - врач, сын - товаровед.

В заключение отмечу: да, сиротам войны досталась тяжелая доля, но государственная система послевоенного периода позволяла каждому человеку устроить свою судьбу. При огромном напряжении сил и возможностей многие сироты стали достойными гражданами страны, жили честно и добросовестно трудились. Произшедшие в России перемены и социальная незащищенность сирот войны превратили ныне многих из них на склоне лет в низший слой общества. Печальный итог, господа.

Память былое тревожит во мне.

Нина Константиновна Былина (Бакисова), 1941 г.р.

Прошу тебя: не меркни, память!

Свети в прошедшее ясней,

***Чтоб можно было в ряд поставить
события тех тяжелых дней.***

Я родилась, когда зарево войны уже полыхало над нашей страной. Жили мы тогда в п.Рыбном, Чаинского района. Сюда в 30-е годы были сосланы мои родители. Поселок был небольшой, дворов 40, состоял из одной улицы, которая тянулась вдоль левого берега реки Бакчар. За рекой, напротив, были поселки Овражный и Крутояр. Все они входили в Гореловский сельский совет.

Родители мои, Бакисовы Константин Федосеевич и Анна Павловна, работали в колхозе имени Ворошилова. Сначала мужчин из спецпереселенческих поселков на фронт не брали, но потом и до них дошла очередь. 13 июня 1942 года возле Гореловского сельсовета собралась огромная толпа: жители окрестных сел провожали на фронт отцов, братьев, сыновей. Немногим, очень немногим из них, суждено было вернуться.

До Гореловки отца мы провожали всей семьей: бабушка, мама, и мы, пятеро детей. Старшему из нас, Николаю, исполнилось 13 лет, Пете - 7, Алеше - 5, Володе - 3, а мне - полгода. Вот такая «лесенка».

На полученные деньги, как вспоминали мои братья, отец закупил им сладостей, особенно запомнилась банка варенья. Прощаясь с нами, отец поцеловал всех по очереди, обнял старушку-мать.

Бабушка была сдержанным человеком, никаких рыданий и причитаний: молча перекрестила сына, собрала в кучу внуков и пошла с ними домой, в Рыбный. Нетрудно было догадаться, что творилось в душе у нее, проводившей на войну единственного сына - отца пятерых детей.

А вот дети еще не понимали, что изменилась их жизнь. Они были счастливы, бережно несли банку варенья, глупенькие... Разве они могли предположить, что это - последняя ласка, последняя забота, последний

гостинец отца. Мы с мамой провожали отца до Подгорного - райцентра Чаинского района. Там он попрощался с нами.

Отца своего я, конечно, не помню. Но по рассказам всех, кто знал его, это был красивый мужчина среднего роста. У него были голубые глаза и смоляные кудри, которые он унаследовал от своей матери, Ефросиньи Фёдоровны.

Отец любил землю, умел трудиться на ней, но война сделала хлеборода солдатом, и вместо того, чтобы хлеб растить, детей поднимать, пришлось воевать.

А воевал отец под Сталинградом, в Белоруссии, в Прибалтике, был несколько раз ранен, но после госпиталя вновь возвращался на передовую. Был сержантом, командиром танка. Погиб 17 мая 1944 года в Эстонии, в Нарвском районе, у деревни Хундинург. Так что «похоронка» не миновала и наш дом.

Горя было много в это лето в нашей семье. Утонул, купаясь в реке, братик Алеша; мне трудно представить, как перенесли все это мама и бабушка. Знаю только одно: обе посидели в это лето.

В колхозе не осталось мужчин. Женщины, старики и дети - вот все работники, которые трудились от темна до темна. Стал равноправным колхозником и мой старший брат. Ему пришлось оставить школу сразу после ухода отца на фронт.

На плечи этих подростков лег непосильный труд, вся мужская работа. Они пахали, сеяли, заготавливали корм, убирали урожай. А зимой этих девчонок и мальчишек отправляли на лесозаготовки. Вот так - сразу, из детства - во взрослую жизнь.

День победы не помню, мне было всего-то три года, а вот послевоенные годы хорошо помню. Хоть и закончилась война, но легче стало ненамного: по-прежнему голод и нищета, нехватка во всем, нечего есть и нечего одеть. Спасла земля-кормилица. Снег сошел, и мы переходим на «подножный корм»: березовый сок, колба, крапива, щавель, лебеда, осот - все шло в пищу. Вот так и выживали.

Поддерживала нас, заморышей войны, взаимовыручка, дружба, умение трудиться. Мы уже с семи лет работали в колхозе, пололи, заготавливали веточный корм, а старшие и вовсе трудились наравне со взрослыми.

В 1950 году я пошла в первый класс Овраженской начальной школы. Учили нас супруги Никитины, Сергей Игнатьевич и Лидия Степановна. Сергей Игнатьевич, бывший фронтовик, к нам, сиротам войны, относился

с какой-то отеческой добротой. Мы, детишки, не знавшие отцовской ласки, всей душой были ему благодарны за это.

Трудным было детство у нас, не дождавшихся с фронта своих отцов. Росли, как трава в поле, воспитывая друг друга. Воспитывала нас и сама жизнь, суровая, трудовая. Рано приобщились к труду, понимая, что в нем - наше спасение, что надеяться надо только на себя.

Трудным был конец сороковых - начало пятидесятых годов. Колхозникам не давали хлеба, так как он «был нужен стране», но только не тем, кто его растил. Правда, иногда выдавали на трудодни немного овса и гороха. Все это молось, пекли лепешки, почти несъедобные, но другого не было. Спасло то, что выросло в огородах.

Трудности детства не воспринимались трагически. У нас были свои радости, свои развлечения. Мы радовались солнышку, травке, реке, дождю, снежку. Природа не только кормила нас, но и оздоравливала. Босоногие, загорелые, мы за лето набирались сил, чтобы пережить долгую зиму. Правда, отдыхать и просто резвиться приходилось мало. Кроме колхозной работы, были на нас все домашние дела.

В 1954 году окончила Овраженскую школу, предстояла учеба в Гореловской семилетней, которая находилась в 7 км от нас. Там учился Володя, а Петр после окончания семилетки был отпущен правлением колхоза на учебу в Томск, где он поступил, выдержав конкурс, в горный техникум. В нашей семье все учились охотно. Любила и я школу. С первого класса поставила перед собой цель - окончить 10 классов. Это было почти нереально в условиях той нищеты и

удаленности школ. Приходилось жить «в людях». Многие наши сверстники, окончив 4-7 классов, шли работать в колхоз. Но у меня, даже в самые трудные минуты, не возникало желание оставить школу.

А трудности были на каждом шагу. Удивляюсь сейчас: откуда в таком щедушном тельце было столько упорства? Объяснение этому, пожалуй, одно: было огромное желание вырваться из нищеты.

Осенью и весной мы ежедневно ходили пешком в Гореловскую школу, только зимой, в сильные морозы, жили «на квартирах», интерната не было.

Учительский коллектив Гореловской семилетней школы был сильный. Здесь работали тогда супруги Зыковы, Василий Иванович, Екатерина Михайловна, супруги Клопытовы, Петр Давыдович и Лидия Васильевна, супруги Юдаковы, Михаил Александрович и Варвара Никитична, Юркова

Раиса Васильевна, Грайф Юрий Максимович - все мастера своего дела.

Петр Давыдович Клопытов был замечательным биологом. Под его неусыпной заботой находился пришкольный участок. Мы много трудились на нем. Ставили опыты, вели наблюдения, записывали все в индивидуальные дневники, отчитывались о проделанной работе. Наша школа была участницей ВДНХ. А мне посчастливилось быть делегатом I Всесоюзного слета юных натуралистов, который состоялся в Москве в 1956 году.

Незабываемые впечатления оставила Москва у меня - девочки из глухой сибирской деревеньки... Это было, как сон... Впервые еду на пароходе, впервые попадаю в город, да какой город! В столицу, в Москву! Вот Красная площадь, Мавзолей, Кремль, ВДНХ - и все это я вижу наяву!

Лето 1957 года. Мы уже подросли, я окончила 7 классов, Володя - 9, Петр после окончания техникума служил в армии. Николай был женат, жил со своей семьей. Мы с Володей, как всегда, на каникулах работаем в колхозе, настоящие помощники маме. Материально жить стало легче, смогли позволить себе такую роскошь, как велосипед.

Все бы хорошо, но беда приходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Трагически погиб Володя. Володя, Володя!!! Я, как сейчас, вижу тебя, стройного и красивого, вижу твои веселые карие глаза, твои черные кудри... У Володи было удивительное чувство юмора: он был великолепным рассказчиком, «душой» любой компании. Дома мы часто с ним устраивали концерты. Он любил петь. Мы дуэтом исполняли патриотические и лирические песни, частушки, читали стихи. Слушателями были мама с бабушкой. Мы с Володей очень много читали, нравилась нам поэзия, мы много знали наизусть. Володя сам пробовал писать стихи.

И вот его не стало. Солнце для нас померкло. Опустел и помертвел наш дом. Боль и печаль поселились в нем. Трагедия эта так потрясла меня, что я навсегда «разучилась петь».

Но жизнь продолжалась. Я училась в Усть-Бакчарской средней школе, а на каникулах работала, куда пошлют: на свинарник, на трактор прицепщицей, доить коров... Теперь я - единственная в семье работница. Мама после смерти Володи сильно болела, работать уже не могла.

В 1960 году я окончила среднюю школу. Цель, поставленная в тот, уже далекий, 1950 год, достигнута. Теперь - задача номер два: поступить в вуз, получить высшее образование. Ведь для этого я и училась 10 лет,

терпя и голод, и лишения!

Мы переехали в Томск. Здесь обосновался после армии Петр. Сразу поступать я не решилась. Во-первых, требовался тогда рабочий стаж, во-вторых, одеться хотелось попримочнее... И в-третьих, еще не решила, куда буду поступать!

Пошла работать сначала на швейную фабрику. Но монотонная, однообразная работа угнетала, и я ушла оттуда. Стала работать секретаршей в горкоме КПСС, затем - в обкоме КПСС. В 1963 году сбылась моя вторая мечта: я - студентка историко-филологического факультета ТГУ.

Студенческие годы пролетели незаметно. Прожить на одну стипендию было трудновато, приходилось подрабатывать. Любая работа была не в тягость. Хорошую школу жизни я прошла уже в детстве.

Вот такие нелегкие судьбы у нас, сирот войны. Но жизнь закалила нас, научила добиваться цели, трудиться честно. И это - главное качество нашего поколения!

Ее судьбы девятый вал

Памяти матери моей Анны Павловны Бакисовой

Ваш муж... — Анна больше уже ничего не слышала. Только предметы в комнате как-то странно задвигались, а потолок давил и давил на нее, она умирала, и надежда, с которой она вошла в кабинет военкома, умирала вместе с ней... Очнулась на диванчике в приемной. Около нее хлопотали незнакомые женщины да соседка, тетка Аксинья, приехавшая вместе с Анной в райцентр. - Попей, попей, родимая, полегчает, — ласково уговаривала она, поднося склянку с какой-то пахучей жидкостью.

Домой выехали после обеда. Лошадь медленно тащила по ухабистой дороге. Стояла жаркая погода, «петровки», пора сенокоса. За всю дорогу Анна не промолвила ни слова. Скорбно молчали и дед-возница, и тетка Аксинья. Да какие тут найдешь слова?! Ими горю не поможешь, скрипят колеса, дремлет старик, ослабив поводья, задумалась о чем-то своем Аксинья.

Забылась Анна, и унесла ее спасительная память в те, уже да- пекие годы юности, в то время, когда она впервые встретила своего суженого.

Увидела и поняла; это судьба. Красивый был парень: глаза карие, веселые и кудри черные, как смоль. Душой прикипела, да и эму по нраву пришлось эта бойкая девушка, свадьбу сыграли. Родители, люди зажиточные, наделили их всем, пожелав жить в любви и согласии, поселили в новый просторный дом. Жить-поживать бы молодым в этом новом доме да детей наживать. Но судьба распорядилась иначе. Грянул год великого перелома. Коллективизация, раскулачивание, ссылка. Нарымский край, безлюдный берег таежной реки. Здесь предстояло либо как-то выживать, либо умереть. Сделали сначала шалаши, потом землянки, так и зимовали в них. Все происходящее Анна не воспринимала слишком трагически. Рядом был он. А с милым и в шалаше рай — недаром так говорят в народе. К следующей зиме хату срубили, Обживались, обвыкались. Оказалось, и здесь жить можно. Земля хорошая, плодородная, только ее надо отвоевать у тайги. На корчевку выходили всем миром, работали вручную, но слаженно, споро. Где трудно - мужчины, а где полегче - женщины и дети. Работает Анна и все поглядывает туда, где трудятся мужчины, видит, как ветер треплет смолистые кудри мужа. Он здесь, он рядом. От этого так хорошо, тепло и радостно на душе, и трудная работа не забота, — Любимый, родной, с тобой мне ничего не страшно.

Счастливой себя считала, такая любовь ей выпала! Любовь, которая с годами только крепла. Рождались один за другим дети. Вот их уже четверо, и все мальчишки. Радостно возился с ними отец, то вечерам такой гвалт стоял дома. «Барашки мои», — ласково называл он сыновей. «Барашки» — потому что кудрявенькие были, в отца 1 бабушку. А когда в семье появилась девочка, радости и ликованию мужской половины не было конца. — Доченька! Сестренка! Каждому

хотелось взять на руки этот писклявый комочек. Жизнь налаживалась помаленьку. А тут эта проклятая война... Как провожала, плохо помнит. Повисла на шее и билась в рыданиях, словно чувствовала...

- Береги себя, родная, береги детей, я вернусь, вернусь, — утешал ее муж.

Но чувствовало ее любящее сердце: не увидятся они больше, не увидятся... Вот и оправдалось ее предчувствие. Как скажет она свекрови, что нет у нее теперь сына, а у детей отца? В этих тяжелых раздумьях Анна не заметила, как въехали в свою деревню.

На берегу реки толпился народ.

- Че такое? Че собрались-то? — встrepенулась Аксинья и соскользнула с повозки.

Действительно, в жаркую сенокосную пору деревня словно вымирает, все, от мала до велика, с темна до темна в поле. А тут... Анна тоже сошла с телеги, люди - молча расступились перед ней.

Она поняла, когда увидела полные ужаса и слез глаза свекрови.

- Кто? — только и могла выговорить.

- Алешенька, — прошептала свекровь.

Уже знакомая боль опять пронзила все тело.

- За что? Господи, за что? — вырвался истошный крик.

Она бросилась к воде, ей хотелось, чтобы река поглотила и ее, погасила эту нестерпимую, жгучую боль. Люди подхватили ее.

- Пустите, не могу, не хочу жить, пустите... — кричала обезумевшая от горя Анна.

На третий день Алешу нашли. Сидя у гроба, окаменевшая Анна уже не плакала, только гладила черные кудряшки сына. До чего похож на отца! Рядом сидела свекровь. Как она состарилась за эти дни! Из-под черного платка выбивались ее непокорные кудри, но только... совсем седые.

- Бедная моя, — подумала Анна. Она еще не знала, что седина посеребрила и ее виски. Похороны, поминки — все как в кошмарном сне. Вот только б проснуться... Совершив печальный обряд, разошлись люди, соседи детей увели к себе. И остались в доме, пустом и гулком, Анна да свекровь. Анна только сейчас вспомнила, что не сказала о «похоронке».

- Мамаша, — начала было она.

- Не надо, — остановила ее свекровь, — я все знаю.

До утра не сомкнули они глаз. Сколько слез было пролито — никто не знает. А утром Анна, как всегда, вышла на работу. Суров крестьянский быт, некогда предаваться горю. Покос. Дороги каждые рабочие руки. Механически делала привычную работу, померк белый свет в ее глазах. Но надо жить, работать, растить детей. И она работала, растила детей. Находились мужчины, сватались. Умом Анна понимала, что легче бы детей-то поднимать, будь в доме мужчина.

Это так, но сердце... Ему не прикажешь... И как прежде, в кругу собравшихся мужчин глаза ее искали того, единственного...



Отец Н.К. Былиной - Бакисов Константин Федосеевич (1909-1944). В 1942 г. был призван на фронт Чаинским РВК, воевал в 934 полку 256 ст. дивизии на Волховском фронте, сержант, командир танка. Погиб 17.03.1944 г. возле деревни Хундунурс Наревского района Эстонии. Мать Н.К. Былиной - Бакисова Анна Павловна (1908-1981). До 1961 г. работала в колхозе.



Брат - Бакисов Николай Константинович (1929-1993). Окончил училище механизации сельского хозяйства, механик. Брат - Бакисов Петр Константинович (1935-2000). Окончил горный техникум, ТПИ, работал на электротехническом заводе, в Институте оптики атмосферы.



Брат - Бакисов Владимир Константинович (1939-1957). Трагически погиб. Бакисова Нина Константиновна, студентка ИФФ ТГУ.



Н.К. Бакисова - Председатель Томской региональной общественной организации "Память сердца. Дети погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны". 2017 г.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
исполнительного комитета
Кемеровского областного Совета
народных депутатов
650620, ГСН, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 17
Телефоны: 297312, 297334
к 10/27 - 17007
23.02.93. г.

СПРАВКА О РЕАБИЛИТАЦИИ

Гр-ка Бакисова Анна Павловна, 22 года /возраст указан на момент выселения/ в 1931 году была административно выселена из д. Соколовка Прокопьевского района, Кемеровской области на основании постановления ЦИК и СМК СССР от 1 февраля 1930 года о "О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством", направлена на спецпоселение в Томскую область.

На основании пункта "в" статьи 3 Закона РСФСР от 18 октября 1991 года "О реабилитации жертв политических репрессий" - реабилитирована.

Начальник УВД -

В. В. Шкурат

Справка о реабилитации Бакисовой Анны Павловны, 1908 г.р.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Кемеровской области
Областной Совет народных
депутатов
650620, ГПС, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 17
Телефоны: 297312, 297334
№10/27 - 17007
23.02.93 г.

СПРАВКА О РЕАБИЛИТАЦИИ

Гражд. Бакисов Константин Федосеевич, 21 год /возраст указан на момент выселения/, в 1931 году был административно выселен из п. Соколовка Прокопьевского района, Кемеровской области в соответствии с постановлением ЦИК и СИК СССР от 1 февраля 1930 года "О мерах по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством" и направлен на спецпоселение в Томскую область.

На основании пункта "в" ст.3 Закона РСФСР от 18 октября 1991 года "О реабилитации жертв политических репрессий" -
г е а б и л и т и р о в а н .

Начальник УВД -

В.В.Шкураг

Справка о реабилитации Бакисова Константина Федосеевича. 1909 г.р.

«У нас и детства не было отдельно»

Н.К.Былина

Дети и война. Страшное это сочетание слов. Что могли понять, увидеть, запомнить дети? Что помнят о матери? Об отце? Только смерть их да старенькие желтые фотокарточки, напоминающие о них.

Мария Филипповна Михнюк (девичья фамилия Куркина) совсем не помнит своих родителей, и у нее даже нет ни одной их фотографии. Рано осиротела она. Было ей 3 годика, когда отца Филиппа Григорьевича Куркина в 1941 г. забрали на фронт. Все тяготы легли на плечи ее мамы, но и ее через некоторое время не стало, умерла в том же страшном для всей страны году.

Жили они в с. Мишутино, Зырянского района. «Я даже помню, где стоял наш домик-двухквартирник; с одной стороны жила бабка, с другой - мы. Нас было трое ребятишек, сестра, я и младший брат-инвалид (он не мог вообще ходить), на себе его таскали. Жили с теткой, маминой сестрой, а через год нас забрали в детдом.

В то время это был Зырянский Ленинградский детдом (так его называли). Нас, детей-сибиряков, было 5 человек, остальные - дети, эвакуированные из Ленинграда, - рассказывает Мария Филипповна. - Там вот и воспитывалась, пошла в школу, окончила 7 классов. Училась хорошо, без троек. Поехала в Томск поступать в медучилище вместе с детдомовскими ребятами, их человек 10 набралось. Сдала экзамены и... поступила».

Оказалось, что из всех ребят поступило всего лишь двое - она и подружка Шура Сливкина.

«Стою, плачу, - продолжает Мария Филипповна, - пошла за документами, не отдают, ревела белугой, жаль было расставаться с остальными». И, что было интересно, те ребята пошли учиться в кулинарное училище. Потом все подкармливали девчонок. Идут с практики - то пирожков, то хлеба, то котлеточек принесут.

После окончания училища направили работать в Тегульдетский район, но, пересмотрев документы, посылают в Молчановский, в д. Тювинку. Два года проработала она там. От Тювинки (в 10-ти км) были деревни Мадуга, Шегаровка, Лаптевка (Б. Сорты) и др. Ходила пешком. То

прививки нужно сделать, то лекарство отнести, то роды принять, да мало ли чего?

«Однажды заболела в Мадуге одна латышка. А на улице мороз страшный! Приехал на лошади ее муж. Осмотрела я больную, оказалось сильное воспаление легких. Ну, не бросать же ее? Прожила там три дня. Это было нечто, - смеется Мария Филипповна. - Он кормил меня салом жареным, нарезанным большими ломтями, и ни вилки, ни хлеба - ничего. Даже воды не было, снег таяли. От такого чая мутило, приехала домой, тетя Нюра-санитарочка причитает: «Ой, Машка, не отпущу тебя, смотри на кого похожая. Доходяга стала!»

Помнит Мария Филипповна до сих пор почти всех детей наперечет в д. Шегаровке, хотя очень их там было много, семьи-то многодетные. Также и в Лаптевке. Семей убитых было несколько, да у каждой по 5 детей. А когда больницу закрыли, ушла работать в детдом воспитателем (2 года проработала), а потом 10 лет медсестрой.

Время от времени вспоминает Мария Филипповна свое детство, свой детский дом, старших наставников. Особенно - повара Западаеву Анну Михайловну. Она привезла детей с Ладуги в Зырянский детский дом. Чудом их баржа с находившимися там ленинградскими детьми-сиротами уцелела.

Помните, в фильме «Великая Отечественная» есть эпизод, который не просто волнует, а потрясает всех. Женщины провожают детей из блокадного Ленинграда. Катер отчаливает от берега. И вот матери видят, как на него пикирует самолет со свастикой, как тонут, гибнут их дочери, сыновья, И лишь белые панамки, платочки плывут по воде...

Чего только не пережила, не увидела Анна Михайловна!

В детдоме женщина привязалась к Маше, уж больно она послушная, смысленная, работающая. Да и девочка увидела в ней заботу, ласку. Часто помогала ей к завтраку намазывать на кусочки хлеба масло (120 штук) ежедневно по утрам. Анна Михайловна была грузной женщиной, поэтому ей трудно было опускаться в глубокий погреб, где хранились скоропортящиеся продукты - мясо, масло и т.д. Утром тихонечко подойдет: «Маруся, проснись, надо в погреб слазить». А вставать неохота, ведь только 6 часов утра, но встает. Потом куда сон уходит.

Будучи еще студенткой, Маша переписывалась с Анной Михайловной (та уехала домой, в Ленинград в конце 40-х годов). Звала к себе жить, но Маша постеснялась. «Интересно, как сложилась бы у меня судьба, если я

б жила в Ленинграде?» - шутит Мария Филипповна. А кто знает?

Говорят, что счастье - не залетная птица. Никто иной, как сам человек, создает свою судьбу, своими руками кует счастье. И если спросить ее, довольна ли она своей жизнью, то думаю, она, не кривя душой, ответит: «Да». Хотя честно сказать, злой рок преследовал ее семью, когда девочке было только 3 года. Круглая сирота. «Да разве я одна такая была во время войны, нас таких было тысячи...» - говорит Мария Филипповна.

Об отце узнала из «Книги Памяти», узнала, что погиб он через 1,5 года, как ушел на фронт. Тяжело было читать эти строки: «...Сержант, погиб в бою 15.09.1942 года, Ленинградская область, д. Сутоки».

Сейчас Мария Филипповна живет одна (несколько лет назад похоронила мужа). Живет в хорошей, полублагоустроенной квартире. Старшая дочь Ирина в Саратовской области работает в военкомате, муж в Доме инвалидов заместителем директора. Растят внуков-близнецов Дениса и Антона, учащихся 9 класса. Совсем недавно, 13 февраля, им исполнилось по 16 лет. Сын Владимир живет с семьей в Томске.

Как былинка в чистом поле

Людмила Андреевна САМОХИНА, п. Белый Яр

Первые годы моего детства прошли рядом с бабушкой. Нам хорошо было с ней вдвоем, я не чувствовала себя ни обиженной, ни обездоленной, хотя у папы была другая семья, в которой подрастали двое детей, меня он не забывал. Навещая, всегда привозил подарки, одевал, обувал, да и судя по всему, помогал нам с бабушкой материально. Что и говорить, жили мы очень даже неплохо, не испытывая ни в чем недостатка. Очень добрым и заботливым был папа.

Но вот началась война. Перед отправкой на фронт, заехал он к нам попрощаться. На всю жизнь запомнила я эту щемящую сцену: сидят они, прижавшись плечом к плечу: папа - молодой, красивый и бабушка - седая, лицо в морщинках, и оба горько плачут. Как чувствовали, что расстаются навсегда.

Папа погиб в сентябре 1942 года под Ленинградом, у деревни Ново-Сосновка, а у бабушки врачи обнаружили страшную болезнь - рак желудка. Что было ей, бедной, делать со мной? Только оформить в

детский дом.

Что можно сказать о годах, проведенных под его крышей? Мы много работали: сажали и выхаживали огород, готовили дрова на зиму, помогали совхозу во всех полевых работах. Но и учились - семилетнее образование было обязательным.

А после окончания седьмого класса выдали каждому из нас по суконному пальто, паре ботинок и две смены белья и отправили в самостоятельную жизнь. Восьмой и девятый классы заканчивала в вечерней школе, после чего уехала в Томск и выучилась на швею.

Рассчитывать могла только на собственные силы, потому что помогать было некому. Помню, как завидовала тем воспитанникам детского дома, у которых вернулись живыми с проклятой войны отцы: их забрали домой. Им же помогало государство и местные власти. Потому эти семьи вскоре прочно встали на ноги и зажили нормальной жизнью. Нас же, безотцовщину, судьба еще долго мотала и била...

Был Неизвестным...

Владимир Федорович ЮСТОВ г. Асино

Детство мое прошло в Тунгусовском детском доме, где я числился под фамилией Неизвестных. Потом из каких-то источников выяснилось, что моя настоящая фамилия Юстус. Но когда пришло время отправлять меня на учебу в ремесленное училище, фамилия претерпела изменения, и стал я Юстовым. Почему? Об этом могу лишь догадываться — стоял 1951 год, и Юстус сюда не вписывался.

Попал я в Асиновское РУ №7, где учились только воспитанники детдомов. С тех пор вся моя жизнь связана с этим городом, не считая лет, проведенных на службе в армии.

Родителей помню смутно и знаю о них совсем немного. Сохранился в памяти облик отца - высокого, подтянутого, в темном кителе. Не забыть и долгую дорогу в вагонах-теплушках, как налетели вдруг самолеты, поезд остановился, люди выскакивали из вагонов и бежали врассыпную, куда глаза глядят. Крики, стоны, мертвые и раненые, и горящий состав на железнодорожном пути.

А еще помню, как меня с мамой высадили с парохода на берег в Молчаново, и милиционер сказал: - Идите, куда хотите, и выживайте, как можете. Документов у нас не было никаких. Мы долго нищенствовали, а потом мама умерла, и я оказался в детском доме. Сначала в Могочино, затем - в Тунгусово. Где схоронили маму, не знаю, даже букетик цветов положить на ее могилку не могу.

К работе привык с детдомовских времен. Зимой собирали сосновые шишки и сдавали их, весной выливали из нор хомяков, выделывали их шкурки и тоже сдавали, собирали березовые почки для аптек, а летом - лекарственные растения, ягоды. Осенью собирали на полях колоски, готовили дрова для себя и для школы. **Мы имели желание учиться, но наше образование оканчивалось на шестом классе. Такая судьба у большинства детей-сирот войны.**



Камень скорби в Мыльджино

Крестьянская сага

Алтайское крестьянство в картинах
художника-самоучки Дмитрия Галанина.

Алла Усанова (кандидат искусствоведения)
"Родина" №315 (3) 18 марта 2015 г.

Дмитрий Александрович Галанин (1915-1990) родился в селе Алтайское, в большой крестьянской семье. Жизнь села в первой четверти XX века - это типичная история хлебопашцев из числа переселенцев, которые своим трудом способствовали росту и процветанию сибирских деревень. "В 1893 г. в селе Алтайском было 519 дворов, 3082 жителя, волостное правление, две церкви (православная и единоверческая), сельское училище, церковно-приходская школа, 9 мельниц, 3 маслобойных и 2 кожевенных завода, винный склад и 7 торговых лавок. В 1926 г. в селе Алтайском насчитывалось 1557 хозяйств и 7595 жителей".

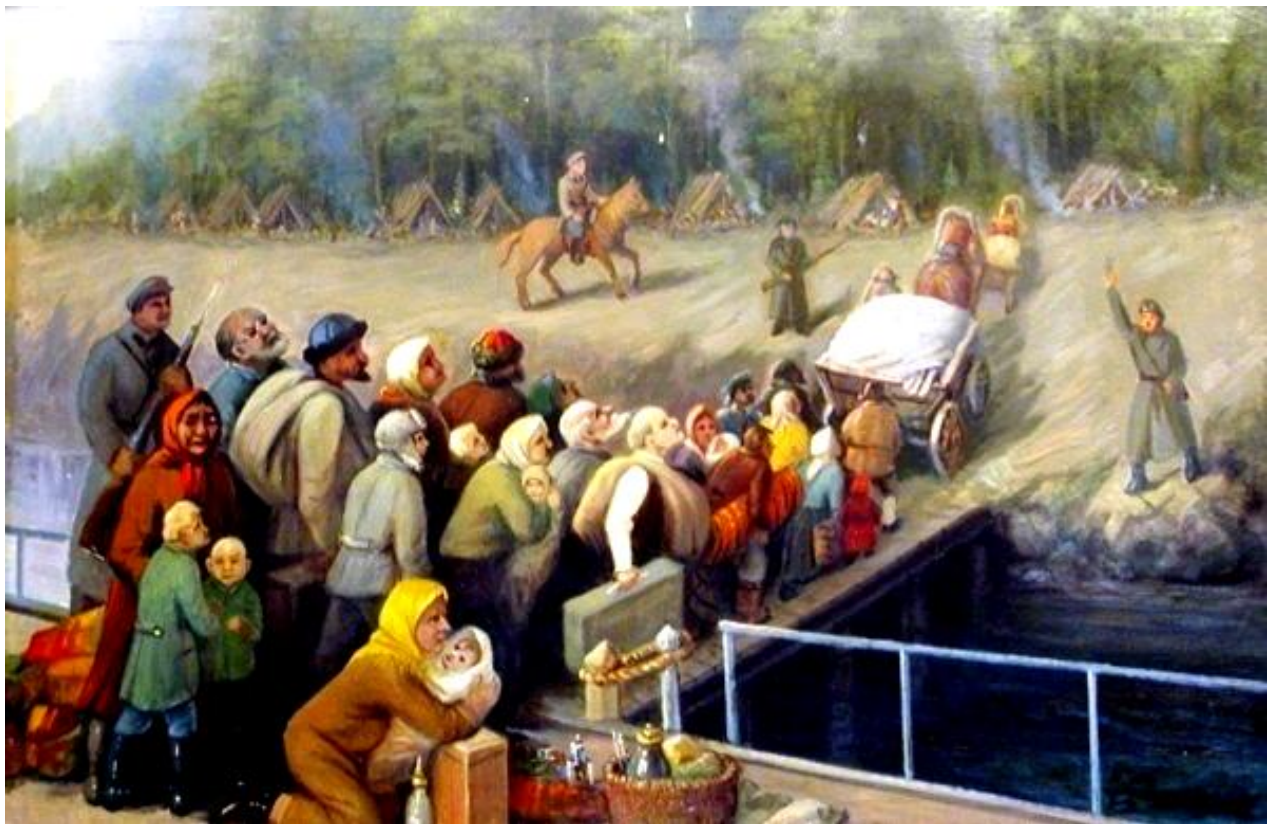
Традиционный уклад жизни зажиточной сибирской деревни, вольно раскинувшейся в живописных предгорьях вдоль старого Чуйского тракта, был разрушен трагическими событиями 1930-х гг. В официальных документах о проведении коллективизации на Алтае особенно страшные цифры приходятся именно на 1930-1932 гг. По "Списку кулаков Алтайского района 1932 года" статистика была следующей: Алтайский сельсовет - 79, Нижне-Каянчинский - 28, Верх-Айский - 3, Сарасинский - 17, Нижнекаменский - 84, Нижне-Комарский - 26, Верх-Устюбинский - 18, Айский - 34, Макарьевский - 1, Казандинский - 10, Лежановский - 7, Куячинский - 12, Куяганский - 15, Никольский - 22, Тоуракский - 21, Россошинский - 59, Старо-Белокурихинский - 116. Среди самых зажиточных сел района было и Алтайское".



1/10 Отправка с Алтая в Нарым.1930год. 84x130 см.. 1988г.



2/10 В лесу. 60x90 см. 1986г.



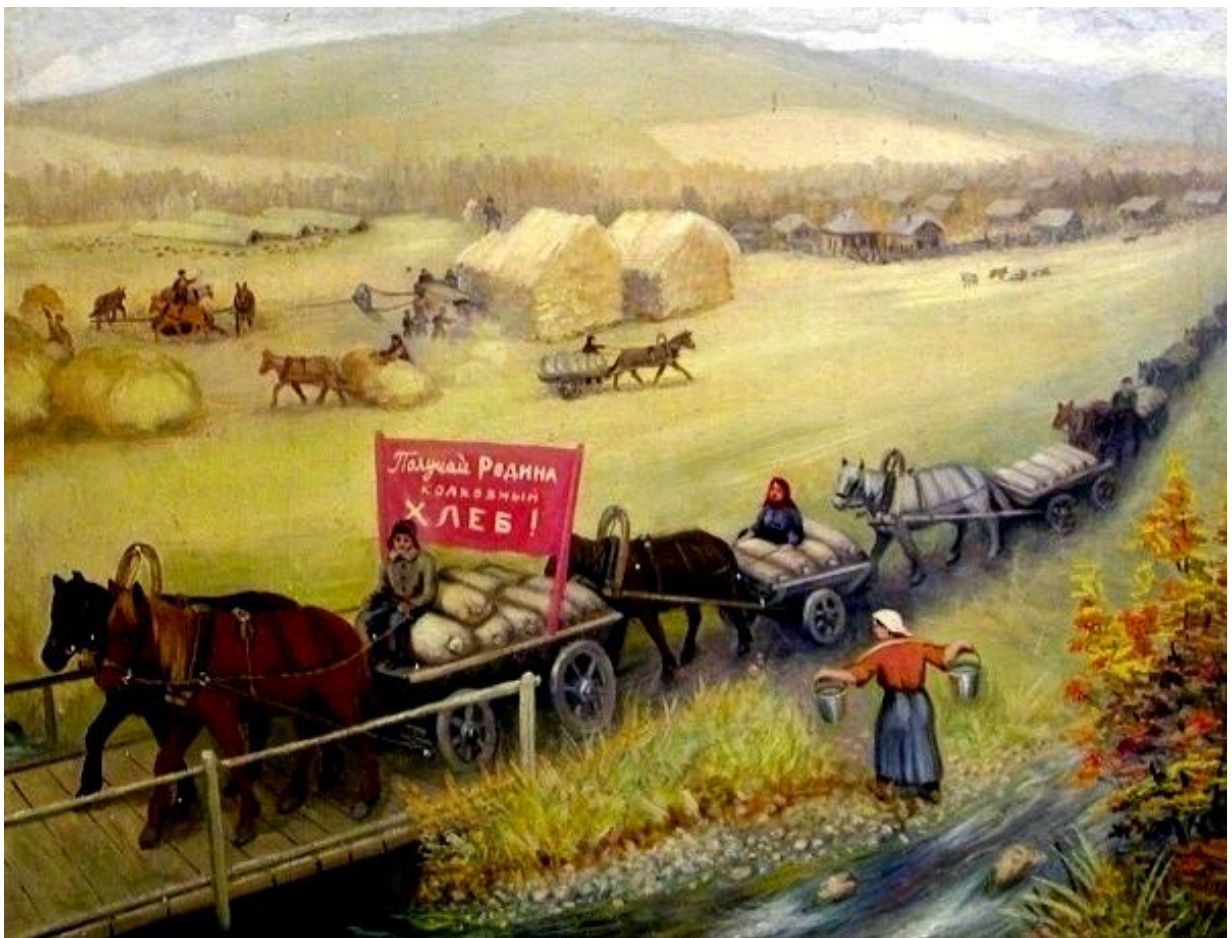
3/10 Первый прокос. 75x100 см. 1987г. 4/10 1930г. Ссылка в Нарым... 60x90 см. 1988г.



5/10 Колоски. 66x98 см. 1988г. 6/10 Как жить дальше? 60x80 см. 1988г.



7/10 Но! Но, Буренка. 65x93 см. 1987г. 8/10 Страда. 75x100 см. 1987г.



9/10 Пахота.1933г. 10/10 Получай Родина колхозный хлеб. Фото Дм Галанин.

Из воспоминаний односельчанки Дмитрия Галанина, Серафимы Михайловны Некрасовой: "Моего отца, Тупикина Михаила Федоровича арестовали в 1930 году. Мне было тогда три года. Срок он отбывал на поселении. Дом и все имущество отца конфисковали. Вернулся он больным, сильно на него подействовало то, что дом его был отдан под поливочный цех. Вскоре после прибытия отца отправили в психическую больницу".

Коллективизация, раскулачивание, арест отца органами НКВД, высылка семьи в еще более суровые края - крепко до мельчайших подробностей врезались в память подростка. В скупых строчках воспоминаний вдовы художника В.Е. Галаниной изложена биография "сына раскулаченного", во многом похожая на судьбы сотен тысяч людей того поколения: невозможность получить образование, вместо действующей армии, куда рвался в годы войны молодой парень, запасная дивизия (не доверяли). Способности к рисованию, проявившиеся еще в детстве ("картинки", нарисованные мальчиком, были единственным украшением родительского дома), позволили Галанину найти работу в родном селе, чтобы прокормить семью. Наглядная агитация - столь необходимые в советское время лозунги, "диаграммы роста производительности труда и благосостояния сельских тружеников" и в маленьких деревенских конторах, клубах, и в столичных учреждениях на долгие годы стали единственной возможностью заработка и доказательством лояльности и человека с "нечистой" анкетой. К 40-й годовщине Октябрьской революции, 7 ноября 1957 г. Галанин по просьбе сельчан создал памятник борцам, павшим за Советскую власть, а в 1961г. по его инициативе был установлен обелиск покорителям космоса...

Размышления о сиротстве



Вера Г. Кузьминых. 7 янв. 2018г. Член Союза журналистов России.

С большим интересом прочитала книгу воспоминаний «Сирота Сибири». Ее без преувеличения можно назвать детдомовской энциклопедией. Для человека, который никогда близко не соприкасался с сиротством и потерей родных людей в раннем детстве, книга рассказывает о той боли, которые испытали эти дети. И одновременно заботе советского государства, которое вырастило, выучило и воспитало целое поколение настоящих порядочных людей.

Читая книгу, мы становимся свидетелями людской доброты, узнаем о воспитателях, которые отдавали свои знания, материнскую или отеческую заботу по сути чужим детям, ставшим для них роднее родных. И что характерно, об этом никогда не забывали и воспитанники, всегда помнили и ценили то тепло, ту доброту и душевную щедрость, которую им в детстве щедро дарили чужие люди. И сейчас они это помнят и ценят.

Вспомнила, как в нашем далеком от столицы городке был всего один детский дом. И, когда однажды я увидела ребятшек, идущих строем в каких-то неприглядно одинаковых клетчатых пальтишках,

стала спрашивать бабушку, кто они? Бабушка мне объяснила, что это особенные дети, сироты. У них нет родителей, бабушек и дедушек, никого из близких. Мне так стало их жалко и потом, при встрече с ними или когда говорили, что этот человек вырос без отца и матери, всегда сердце щемило от жалости. Мы тоже не носили какой-то особенной одежды, случалось, также ходили пионерским строем, но мы были совершенно другие, у нас были родители и близкие люди. И потом по жизни нередко приходилось слышать такое: «Что с него или с нее взять, безотцовщина детдомовская». Или совершенно противоположное: «Человек порядочный, честный, прошел детдомовскую школу».

Эти оба мнения правильные и подтверждены жизнью. Знакома с одной женщиной, которая с горечью говорила мне: «Знаешь, как долго я вытравливала из себя детдомовщину, это вечное раздели между всеми, что имеешь, обязательно говори только правду, какой бы она не была, и будь всегда принципиальной».

Уже сейчас понимаю, что где-то можно было смолчать, не идти напролом, иметь свои индивидуальные вещи, а не раздавать их направо-налево. Столько я наставила себе шишек, скольких людей от себя отвратила».

Да, ей не объяснили, что ситуации бывают разные, иногда можно и промолчать, чтобы не обидеть и не убить человека словом. И делиться своими вещами с тем, у кого и так все есть, не нужно. Из-за того, что ее очень обидел любимый человек, она решила, что он предал ее от того, что она не имеет родных, воспитана в детском доме, по сути, молодая женщина на словах отказалась от хороших нравственных заповедей не лгать, помогать и быть доброй. Хорошо, что только на словах. Зная ее много лет, убеждаюсь в том, она остается принципиальной и честной, своим детям подарила не только ласку и заботу, любовь и радость, но и передала много того, что не смогли дать другие родители, которые не воспитывались в детском доме.

И еще, с большим интересом читала про Сибирь, поскольку сама выросла на берегах Енисея, в Туве, и многое мне знакомо. Сибирь – особое место, которое никогда не забыть, она в крови.

Поэтому отрадно отмечать ее приметы в каждом факте, которые приведены сибиряками. Словом, для меня книга стала открытием того жизненного пласта, который до этого не встречала ни у одного автора в большой литературе.

В книге «Сирота Сибири» так реально и объемно отражено детство стольких детей и подростков, забота и любовь о них, оставшихся без родителей по самым разным причинам. Спасибо.



«Дети войны» в г. Партизанске – 22 июня 2015 г. памятник.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ... Нужные книги... В.С. Высоцкий	3
2. Предисловие. Т. Ю. Назаренко	5
3. Воспитательница. В. Н. Макшеев	7
4. Баржа на Оби. Т. Ст. Никифорова	25
5. Заглянуть в минувшее. О. Дементьева.	114
6. Сага о Никифоровых. Ю. Александрова	118
7. Владимир и Вениамин сыны Анисима К. С.А.Заплавный	126
8. Дикие побеги. Владимир Колыхалов	129
9. Следы. Поэзия. Вениамин Колыхалов	188
10. Выжили вопреки войне. В.А. Миронов	214
11. Там, где цвела деревня Облецы. В.И.Федоров	223
12. «Я верю в добро и человека» В.И.Сомов	230
13. Испытание сиротством. Т.П.Винарская	258
14. Нарымская хроника, фрагменты. В. Н. Макшеев	263
15. Истоки. В.М. Зарубина	281
16. Жизнь во время войны. К.Н. Лукина (Новосельцева).	287
17. Рига и Нарым. Р.Э. Грашина	298
18. Мирдза Карловна. В.А. Демешкин	311
19. Алтай и Нарым. П.А. Назаренко	317
20. Тамара и Саша. В. А. Кочева	320
21. Дети интерната. В. А. Назаренко	324
22. Медсестра из Благородных... Л.Е. Устинов	335
23. Память былое тревожит во мне. Н.К.Былина	340
24. Её судьбы девятый вал. Н.К. Былина	344
25. У нас детства не было отдельно. Н.К.Былина	351
26. Как былинка в чистом поле Л.А.Самохина	353
27. Был Неизвестным... В.Ф.Юстов	354
28. Крестьянская сага Д.А. Галанина. А. Усанова	356
29. Размышление о сиротстве. В.Г. Кузьминых	363
30. Содержание	366

ВАСЮГАНА ДЕТИ

Авторы составители:

Долдин Н.И., Колыхалов Вен.А.

Редакционная коллегия:

**В.Н.Макшеев, С.А.Заплавный, Вен.А.Колыхалов, В.А.Миронов,
Т.Ст.Никифорова, Н.А.Куранова, Т.Ю.Назаренко, Н.К.Былина,
В.Ф.Кузьминых, В.М.Зарубина, Р.Э.Грашина, В.А.Демешкин,
В.Н.Красникова, В.И.Сомов, В.И.Федоров, Л.Е.Устинов,
О.Дементьева, Ю.Александрова, Л.А.Самохина, А.Усанова.**

Компьютерный набор Долдин Дм.Н.

Верстка Светлакова Л.А.

Корректор Пшеничкин А.Я.

Технический редактор Назаренко Т.Ю.

Дизайн обложки Долдин И.Н.

Объем 368 стр. Тираж 1000 экз.

Отпечатано 14.03.2018 г.



